Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

1

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

●

МОСКВА
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1983

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

•

СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ
1926–1933

•

СТИХОТВОРЕНИЯ
1932–1958

•

СТИХОТВОРЕНИЯ
РАЗНЫХ ЛЕТ

•

ПРОЗА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Составление
Е. ЗАБОЛОЦКОЙ, Н. ЗАБОЛОЦКОГО

●

Предисловие
Н. СТЕПАНОВА

Примечания
Е. ЗАБОЛОЦКОЙ, Л. ШУБИНА

Оформление художника
Д. ШИМИЛИСА

З $\frac{4702010200-181}{028(01)-83}$ подписное

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

(1903—1958)

1

Поэт мысли, поэт философских раздумий и классической завершенности стиха — таким вошел Н. А. Заболоцкий в нашу советскую поэзию. Писал он стихи скупо, лишь когда вызревала мысль, и оставил нам томик своих поэтических произведений да несколько книг переводов, единодушно признанных образцовыми.

Всегда спокойный, с немного детским выражением голубых глаз из-за стекол очков, тщательно одетый, аккуратный, не терпящий никакой позы, — таким он навсегда остался в моей памяти. Сознание высокой миссии поэта делало его особенно требовательным как к себе, так и к окружающим. Н. А. Заболоцкий был неизменно сдержан, неохотно говорил о своих творческих планах, не спешил в решениях, высказываниях суждений, остерегаясь какой-либо легковесности в словах и поступках. Прямой, принципиальный, он не делал и не говорил того, в чем не был до конца убежден. Недаром о нем как-то сказал А. Фадеев Н. К. Чуковскому: «Какой твердый и ясный человек» [1]. Вместе с тем Заболоцкий любил шутку, веселую застольную беседу, был неистощим в написании шуточных экспромтов. Помню, когда в 1948 году Заболоцкий поселяется в Москве, его небольшая квартирка на Беговой становится излюбленным местом дружеских встреч.

Заболоцкий гордился своей родословной. Его дед был николаевский солдат, отец — сельский агроном. Детские годы будущего поэта прошли в Вятской губернии, в селе Сернур, неподалеку от города Уржума. Впечатления от тамошней природы, ее девственная

---

[1] Н. Чуковский. Встречи с Заболоцким. — «Нева», 1965, № 9, с. 188.

свежесть на всю жизнь сохранились в душе поэта, сказались в его творчестве, о чем он свидетельствует в автобиографии.

По окончании реального училища в Уржуме Заболоцкий а 1920 году семнадцатилетним юношей едет в Москву продолжать образование и поступает там одновременно на филологический и медицинский факультеты Московского университета.

В Москве начала двадцатых годов литературная и театральная жизнь буквально бурлила. Диспуты, новые постановки, выступления Маяковского, Есенина, футуристов, имажинистов создавали атмосферу обостренных новаторских поисков. Сказалась эта атмосфера и на юноше из Уржума, который начал писать стихи еще на школьной скамье. Он продолжает писать, то следуя примеру Маяковского, то следуя Блоку, Есенину.

Через год он переезжает в Ленинград и поступает в Герценовский педагогический институт, участвует в литературном кружке «Мастерская слова», но, по его признанию, все также еще «собственного голоса не находил».

Однако Заболоцкий в своем стремлении стать писателем, поэтом был настойчив и целеустремлен. «Надо покорять жизнь, — писал он своей будущей жене Е. В. Клыковой в феврале 1928 года. — Надо работать и бороться за самих себя. Сколько неудач еще впереди, сколько разочарований, сомнений! Но если в такие минуты человек поколеблется — его песня спета. Вера и упорство, труд и честность... Моя жизнь навсегда связана с искусством — вы это знаете. Вы знаете — каков путь писателя. Я отрекся от житейского благополучия, от «общественного положения», оторвался от своей семьи — для искусства. Вне его — я ничто...» Эта декларация начинающего поэта свидетельствует об упорстве, с которым Заболоцкий стремился к своей цели, о его непоколебимой преданности искусству.

Около этого времени Заболоцкий сблизился с группой молодых поэтов, называвших себя «обериутами» (то есть «Объединение реального искусства»). Это была одна из последних «школ», во множестве появившихся в двадцатых годах. «Обериуты» (Д. Хармс, А. Введенский и др.) редко и мало печатались, но довольно часто выступали с чтением своих стихов, продолжая в этом традицию футуристов. При всей кратковременности эта связь дала возможность Заболоцкому самоопределиться, способствовала освобождению от подражательности, помогла найти собственный путь, во многом отличный от «обериутов», что ознаменовалось появлением в 1929 году первой книги стихов Заболоцкого «Столбцы».

Следует напомнить, что в это же время Заболоцкий активно сотрудничает в детской литературе. Необходимо также сказать об его участии в журналах для детей «Еж» и «Чиж», о выходе в свет

детских книжек в стихах и прозе («Змеиное яблоко», «Резиновые головы» и др.), обработке для детей таких произведений, как «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера и «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, близких по своему характеру автору «Столбцов».

Таков был путь Заболоцкого в литературу. Все, что он делал, он делал с сознанием важности и весомости дела поэта, продолжая этим великую учительную традицию русской литературы. С годами это учительное начало в поэзии Заболоцкого все более укрепляется. Такие поэмы, как «Торжество Земледелия», «Безумный Волк», «Деревья», развивают философские и моральные положения. Это не дидактическая поучительность, а органическая черта его писательского облика, его таланта. Об этом хорошо сказал в своих воспоминаниях о Заболоцком В. Каверин:

«Я не сразу понял по молодости лет ту главную черту, которая кажется мне для него необычайно характерной: что происходило с ним, вокруг него, при его участии или независимо от него — всегда и неизменно было связано с сознанием того, что он был поэтом...

Это было чертой, которая морально, этически поверяла все, о чем он думал и что он делал. Ощущение высокого призвания было для него эталоном в жизни» [1].

После длительного перерыва («Вторая книга», М.—Л., 1937) в 1948 году вышла книжка новых стихотворений Заболоцкого, в 1957 году — следующая книга. Последнее десятилетие жизни он много работает над переводами. Поэтическим подвигом Заболоцкого явился перевод «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, вышедший в 1957 году. Переводы других грузинских поэтов-классиков (Д. Гурамишвили, Г. Орбелиани, Важа Пшавела и др.) и современников (Г. Абашидзе, Г. Леонидзе, Т. Табидзе, С. Чиковани, К. Каладзе, М. Квливидзе) занимают значительное место в его работе поэта-переводчика. В этот период Заболоцкий часто посещал Грузию, о которой у него написан ряд стихотворений («Башня Греми», «Казбек»). Переводил он и зарубежных поэтов.

Последние два года жизни поэт проводит лето и осень в Тарусе на Оке. К этому времени он перенес инфаркт, тяжело болел. Две комнатки с терраской выходили на заросшую травой улицу. Вокруг сновали гуси, утки, куры, цыплята. Вообще не очень-то любивший длительные прогулки, он вел теперь из-за болезни малоподвижный образ жизни, часто отдыхал на лавочке в саду под огромной грушей. В Тарусе ему как-то особенно хорошо работалось. Там была

---

[1] В. Каверин. Здравствуй, брат. Писать очень трудно. М., «Советский писатель», 1966, с. 70.

написаны многие лирические стихотворения и поэма «Рубрук»[1] —. последнее, что было создано Заболоцким. Он задумывал перевод «Нибелунгов» и уже начал готовиться к нему, изучая материалы об этом литературном памятнике.

В 1957 году Заболоцкий с группой поэтов (А. Прокофьевым, Б. Слуцким и др.) едет в Италию. Эта поездка оставила свой след в творчестве поэта. Под ее впечатлением были написаны стихи «Венеция», «Случай на Большом канале» и др.

Здоровье Заболоцкого ухудшалось, и 14 октября 1958 года он скончался от второго инфаркта. Погребен на Новодевичьем кладбище в Москве. Смерть застала его в расцвете творческой деятельности, в преддверии новых замыслов в работ.

2

В автобиографии Заболоцкий очень точно определил содержание и мотивы своей первой книжки стихов «Столбцы»: «По выходе из армии я попал в обстановку последних лет нэпа. Хищнический быт всякого рода дельцов и предпринимателей был глубоко чужд и враждебен мне. Сатирическое изображение этого быта стало темой моих стихов 1927—1928 годов, которые впоследствии составили книжку «Столбцы».

В «Столбцах» сочетались гнев, презрение, боль, ненависть ко всему, что казалось враждебно и чуждо революции, ее высокой морали. Зоологическая бездуховность мещанина, его жадность к материальным благам, его эгоизм расценивались Заболоцким как угроза революции, торжество собственнического начала.

Окружающий обывателя быт предстает в стихах как чудовищная фантасмагория, собрание уродов, тупых и наглых в своей животной ограниченности. Это мир мещанства, мир вещей, физиологии, страшный своим единообразием, будничной обыденностью, мир стандартности поступков и даже движений, так беспощадно разоблаченный поэтом в стихотворении «Ивановы».

В таких стихах, как «Новый Быт», «Красная Бавария», «Свадьба», «Народный Дом», быт наступает на человека, утверждает свой «бутылочный рай», господство вещей над человеком. В стихотворении «На рынке» животное начало, утрата человечности предстает в страшных гиперболически-гротескных образах калек, рыночных нищих, —это также черта нэповского быта, приобретающая здесь

[1] Н. Заболоцкий называл «Рубрук в Монголии» циклом. (*Примеч. составителей.*)

символическое обобщение старого, уходящего мира. Заболоцкий призывает к борьбе с этим уродливым, «мышиным» мирком во имя торжества новой свободной жизни:

О мир, свернись одним кварталом,
одной разбитой мостовой,
одним проплеванным амбаром,
одной мышиною норой,
но будь к оружию готов:
целует девку — Иванов! [1]

Однако Заболоцкий склонен преувеличивать опасность нэпа, возрождения мещанства и воздействия собственнического начала на человека. Впрочем, эти же настроения характерны для многих поэтов двадцатых годов — Э. Багрицкого, М. Светлова, М. Голодного. В «Клопе» Маяковского нэповское мещанство осмеяно в облике Присыпкина. Но в отличие от сатирического осмеяния у Маяковского, антинэповские настроения у Заболоцкого приобретают мрачный, трагический характер. Мещанин у Заболоцкого всесилен в своем бесчеловечном эгоизме, в своей физиологической сущности, в своем собственническом начале. В стихотворении «Обводный канал» маклак, торгующий на рынке штанами, вырастает чуть ли не в образ владыки мира. Обличая этот мир мещанина с его утратой всего человеческого, несущий опасность для завоевания революции, Заболоцкий ограничивает свой горизонт его тесными рамками, и новые, созидательные силы он видит еще в качестве отвлеченной мечты. В заключающей «Свадьбу» картине торжества мещанской «плоти» противостоит зрелище «полчища заводов»:

А там — молчанья грозный сон,
нагие полчища заводов,
и над становьями народов —
труда и творчества закон.

Новый мир пока не приобрел своего конкретного воплощения. Он лишь «запрограммирован».

Стремление поэта сосредоточено на предельной, порой беспощадной выразительности изображения старого мира собственников. Много лет спустя Н. Заболоцкий отмечал, что «Столбцы» научили его «присматриваться к внешнему миру», пробудили «интерес к вещам», развили в нем «способность пластически изображать явления» [2].

По любви к вещным подробностям, по красочности натюрмортов, по гротескно-гиперболическому изображению людей можно су-

---

[1] Здесь и далее цитаты из «Столбцов» приводятся по изданию 1929 г.

[2] «Литературный Ленинград», 1936, 1 апреля.

дить и об увлеченности поэта живописью. Стихи «Столбцов» напоминают жанровые картины и натюрморты художников — Снейдерса, Тенирса, Брейгеля. В их картинах то же торжество плоти, изобилие пищи, яркость красок, как и в стихотворениях поэта:

...и на огне, как тамада,
сидит орлом сковорода.
Как солнце черное амбаров,
как королева грузных шахт,
она спластала двух омаров,
на постном масле просияв!
Она яичницы кокетство
признала сердцем бытия,
над нею проклинает детство
цыпленок, синий от мытья...

Ведь это натюрморт Снейдерса или другого голландца, тщательно выписанный, передающий разнообразие и красочность обеденного стола. Черная сковорода (больше того — «как солнце черное»!) с красными омарами на ней, желтая яичница, бело-синий цыпленок («синий от мытья»), зеленая капуста и алые томаты — какое пиршество красок! А описание цыпленка словно перенесено с натюрморта, с такой точностью рисует он его зрительный облик. Дело даже не в перенесении самой живописности красок и точности графического рисунка. Самый мир воспринимается поэтом в его зрительной гамме, в его конкретной предметности.

Такова в стихотворении «На рынке» по-фламандски сочная, красочная картина рыночного изобилия. Здесь вызывается чувство невольного любования плотью вещей. В этом изображении земного изобилия даже возникает близкое раблеистскому утверждение материальности мира, его чувственной реальности и радости бытия, мотив, который прозвучит, правда, несколько в иной модуляции, в последующих произведениях. Однако в творчестве поэта «Столбцы» не имели продолжения. Ведь, в сущности, конец нэпа был и концом активизации мещанства, и исторически эта тема стала уже «перевернутой страницей». Иные интересы овладевают Заболоцким, но художественные принципы изображения — резкость красок, живописная природа образа, — во многом изменившись, сохранились и в дальнейшем.

3

Следующим этапным произведением Заболоцкого явилась поэма «Торжество Земледелия», над которой он начал работу в 1929 году. Совсем другая общественно-политическая обстановка сопут-

ствует его творческим замыслам. В 1929—1930 годах — время наибольшей остроты борьбы за коллективизацию, которая стала не теоретическим вопросом, а живым, актуальным делом, — началось широкое, по всему фронту, наступление на столь ненавистный поэту мир собственника, и новая поэма Заболоцкого противостояла душному собственническому миру «Столбцов» всем своим содержанием, открытием широких горизонтов перед страной с устранением частной собственности в сельском хозяйстве и переходом к коллективизации.

В своем увлечении идеей ликвидации класса эксплуататоров поэт шагнул далеко вперед, связывая вопрос коллективизации с утопическими чаяниями о проявлении разума у животных. Поэма была напечатана в 1933 году в журнале «Звезда» и встречена резким осуждением критики, увидевшей в ней чуть ли не насмешку над коллективизацией. Весь тон и стиль поэмы, навеянный манерой утопических поэм Хлебникова, показался критике нарочитым, пародийным. Он же помешал понять самый замысел поэмы, пафос перестройки не только сельского хозяйства, но и всей природы. Ведь поэма явилась прославлением коренной переделки, утверждением нового, нарождающегося порядка, утверждением мира, принесшего освобождение и самой природе. Мечта о мире, в котором, подобно человеку, получит полное развитие разум животных, в поэме объединена с темой перестройки сельского хозяйства на началах коллективизации. Именно это переплетение сказочности утопии и острой злободневной реальности вопросов коллективизации и привело к непониманию критикой этой поэмы, ее своеобразного максимализма, хотя, по существу, главным мотивом в поэме «Торжество Земледелия» слышится отходная старой, нищей деревне, в ней пропет гимн в честь нового социального строя, уничтожившего частную собственность, заложившего основу коллективного воздействия человека на природу, научной организации сельскохозяйственного труда. Словами Тракториста поэт провозглашает здравицу этой новой колхозной деревне:

О крестьянин, раб мотыг...
Ты разрушил дом неволи,
Ныне строишь ты колхоз...
Начинайся, новый век!
Здравствуй, конь и человек!

Эта речь Тракториста прямо утверждает победу нового в жизни деревни: Соха, на брюхе которой «скачет» «частной собственности бог», окончательно побеждена — «полуоткрытая могила ее наставницей была».

Поэма завершается прославлением колхозного строя, торжественными деяниями Солдата, олицетворяющего Советскую власть:

Председатель многополья
И природы коновал,
Он военное дреколье
На серпы перековал.
И тяжелые, как домы,
Разорвав черту межи,
Вышли, трактором ведомы,
Колесницы крепкой ржи.

Следует учитывать и обобщающую силу образов поэмы — Солдата, Тракториста, Сохи, — заставляющих вспоминать одическую поэзию XVIII века со всей ее монументальностью и аллегорической обобщенностью. Кроме того, в поэме большое значение имеет дидактическое начало: в поучающих речах ее персонажей, выражающих авторскую точку зрения, Солдат высказывает положительный идеал, он строитель социализма и все разъясняет на основе науки. Именно ему принадлежит рассказ о Лошадином институте, в котором обучаются животные, где им развивают ум.

Это пробуждение разума у животных передано поэтически выразительно, с милой, чуть заметной иронией — ужи учатся шить перчатки или брюки, волк смотрит в железный микроскоп! Своеобразие поэмы — в сочетании таких разных планов, как отвлеченная дидактика и удивительно точная, наглядная конкретность деталей. Здесь наивная сказочность с ее мифологическими представлениями соединяется с научными домыслами. В этом также слышится близкая перекличка с Хлебниковым, с его утопической поэмой «Ладомир».

Вторая глава «Торжества Земледелия» — «Страдания животных» целиком посвящена теме притеснения животных человеком, развитию в них разума.

Зачинателем освобождения животных, воспитания в них разума выступает тот же Солдат, который является организатором коллективизации, представителем советского, социалистического начала. Именно он призывает:

Воспряньте, умные коровы,
Воспряньте, кони и быки!
Отныне, крепки и здоровы,
Мы здесь для вас построим кровы
С большими чашками муки.
Разрушив царство сох и борон,
Мы старый мир дотла снесем...

Это космическое восприятие революции, философский смысл поэмы заставляет вспомнить вторую часть «Фауста» Гете (на что указывал в своих воспоминаниях В. Каверин), в которой космогонически-философская проблематика также представлена в монологах аллегорических персонажей, символизирующих различные проявления человеческого духа и природы,

4

В ряде стихотворений, написанных в одно время со «Столбцами» и «Торжеством Земледелия» (а некоторые даже раньше их), Заболоцкий обращается к философской проблематике, к вопросам жизни и смерти. В таких стихотворениях, как «Лицо коня» (1926), «В жилищах наших» (1926), «Прогулка» (1929), речь идет о тех вопросах, которые в дальнейшем станут основными для Заболоцкого. Он противопоставляет жизни людей, живущих «умно и некрасиво», нераскрытую мудрость природы, жизнь и красоту деревьев. В мире природы нет разобщения, поэтому деревья могут превращаться в людей, а люди в деревья.

Превращение людей в деревья — чудо, свидетельствующее об единстве всего живого. В стихотворении «Лицо коня» очеловечен и одухотворен облик коня. Здесь сказалось и воздействие живописи И. Филонова, изображавшего на своих картинах «лица» коней, проникнутые мыслью и страданием, переплетающимися в едином жизненном потоке движения природы.

Отходя от «Столбцов» с их страшным миром мещанства, порвавшего все связи человека с природой, Заболоцкий обращается к миру природы, видя в нем высшее, гармоническое бытие. Мир природы прекрасен и чист в своей первозданной разумности. Заболоцкий не обратился к античной мифологии, хотя она внутренне близка его настроениям. Не древние мифы, а научные открытия и прозрения привлекают его внимание. Он обращается в своих поисках новых путей, с одной стороны, к основоположнику научного мировоззрения Ф. Энгельсу, с другой — к таким провидцам-фантастам, как Циолковский.

Заболоцкий внимательно штудирует «Диалектику природы» Ф. Энгельса, проникаясь его строго материалистическим учением о непрестанном изменении мира, форм материи, о вечном возникновении и исчезновении земных тел: «...мы снова вернулись к взгляду великих основателей греческой философии, — писал Энгельс, — о том, что вся природа, начиная от мельчайших частиц ее до величайших тел, начиная от песчинок и кончая солнцами, начи-

ная от протистов и кончая человеком, находится в вечном возникновении и исчезновении, в непрерывном течении, в неустанном движении и изменении» [1].

В тридцатые годы написаны такие стихотворения, как «Подводный город», «Человек в воде», «Школа Жуков» (1931), «Лодейников» (1932), в которых Заболоцкий воплощает в поэтические образы мысль о беспрерывном и бесконечном движении и изменении материи, о многообразии форм жизни. В ходе общей эволюции жизни — по его мнению — растительный и животный мир планеты будет подыматься до уровня все более разумного и сознательного.

В конце 1931 года происходит знакомство Заболоцкого с естественно-космогоническими идеями К. Э. Циолковского, во многом укрепившего его в этих мыслях. Недавно опубликованные письма Заболоцкого к К. Э. Циолковскому раскрывают эту близость идей. Получив от Циолковского собрание его брошюр, Заболоцкий в письме от 18 января 1933 года пишет ученому: «Ваши мысли о будущем Земли, человечества, животных и растений глубоко волнуют меня, и они очень близки мне. В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их» [2]. Мысль Циолковского о том, что зачатки разумной жизни у растений и простейших животных не могут выдержать конкуренции более высоких существ, особенно близка оказалась Заболоцкому. «Не будь их — другое дело, — писал Циолковский. — Зачатки жизни могли бы развиваться, дать многоклеточных и высших существ до человека и далее» [3]. В работах Циолковского («Растение будущего», «Животное космоса», «Самозарождение», «Будущее Земли») Заболоцкий увидел идеи, близкие его собственным, его увлекла мысль о возможности усовершенствования природы, что и призван, по его мнению, сделать человек, являющийся ее венцом.

На этом зиждется научно-фантастическая утопия Заболоцкого, какой являются, как отмечалось выше, его «Школа Жуков», поэмы «Безумный Волк» и «Деревья», а также многие из стихов тридцатых годов. Значение этих произведений в том, что, сохраняя связь с наукой и вместе с тем предопределяя развитие природы в несбыточной, утопической перспективе, они полны поэзии, передают подлинную влюбленность в природу, великолепие ее чистых красок, грандиозность происходящих в ней процессов. Это произведе-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20. М., Госполитиздат, 1961, с. 354.

[2] «Русская литература», 1964, № 3.

[3] К. Циолковский. Растение будущего, Калуга, 1929, с. 31.

ния, написанные поэтом-мыслителем, но прежде всего поэтом, глубоко чувствующим все голоса, все краски природы. Эти мысли о развитии природы, о человеке как ее главном организаторе сказались уже в «Школе Жуков» (1931). Стихотворение необычайно пластично по своей монументальной простоте, по эпической тщательности и расчлененности своих описаний напоминает античный эпос. Культ разума, вера в торжество жизни, в ее развитие пронизывает это произведение о передаче человеком своего мозга животному миру.

В поэме прославляется труд Плотников, Живописцев, Каменщиков как труд, преобразующий самую природу, ставший основой жизни.

Поэма «Безумный Волк» (1931) также развивает тему пробуждения сознания у животных. Безумный Волк мечтает увидеть звезду Чигирь (Венеру), смотреть вверх, как люди. Это поэма о бунтаре-мечтателе, написанная как сказка. Ее образы лишены символики — они конкретны и точно-изобразительны. Волк не символ, не аллегория — он сказочен, но не условен. «Безумный» Волк погибает, пытаясь осуществить мечту своей жизни — полет в небеса. Через множество веков волки вспоминают Безумного и подвиг, им совершенный:

Мечты Безумного нелепы,
Но видит каждый, кто не слеп:
Любой из нас, пекущих хлебы,
Для мира старого нелеп.

Только самоотверженный подвиг ученого, дерзание мысли открывают новое, преобразуют мир, и в образе Безумного Волка явно виден «великий гладиатор мысли», первооткрыватель и реформатор природы, жертвующий собой во имя науки.

К этому циклу поэм о природе принадлежат и поэмы «Деревья» и «Птицы» (1933). Это тоже философские произведения, в основе которых лежат излюбленные натурфилософские идеи Заболоцкого о разумности природы, превращенные в сказочный миф. Но в основе мифа у Заболоцкого всегда лежит рациональная идейная концепция, аналитическая мысль. Это особенно наглядно сказывается в поэме «Птицы», в которой также речь идет о мудрой целесообразности творений природы. Описание анатомического препарирования голубя здесь приобретает характер натурфилософских поэм Гезиода. Сближение с античностью сказалось и в гекзаметрическом характере стиха, в его образной пластике.

В заключительных стихах поэмы ясно выражена ее основная, важная для поэта мысль о человеке как мудром хозяине и организаторе природы:

...Земля моя, мать моя, знаю
Твой непреложный закон. Не насильник, но умный хозяин
Ныне пришел человек, и во имя всеобщего счастья
Жизнь он устроит твою...
...Какой неистленно прекрасной
Станет природа! И мысль, возвращенная сердцу, —
Мысль человека каким торжеством загорится.

Итог, к которому пришел в своей «мифологии» Заболоцкий, — торжество человека как выразителя разума природы. Этот образ человека-творца проходит через полное солнечного света стихотворение «Венчание плодами» (1932), в котором гимн «природы другу» сливается с утверждением знания, науки как основы для переделки природы. Прославляя мудрые силы природы, поэт вместе с тем видит, что природа сама по себе противоречива и наряду с «разумом» и целесообразностью заключает в себе и злые, стихийные силы. И это противоречие, заложенное в природе, может разрешиться творческой деятельностью человека, который организует хаос природы. «Разрозненный мир» сливается «в один согласный хор» с приходом «нового дирижера».

В дальнейшем творчестве Н. Заболоцкого тема человека как организатора природы, ее «дирижера» приобретает все большее значение, особенно в стихотворении «Творцы дорог» (1947).

Оптимистическое утверждение мира и целеустремленной воли человека в его борьбе с природой сказалось и в таких стихотворениях, как «Север» и «Седов». «Север» (1936) явился программным произведением для Заболоцкого, открывавшим новые горизонты его творчества. Об этом говорил в 1936 году сам Заболоцкий, отвечая критикам: «Это стихотворение представляется мне простым, доступным для широкого читателя, и в то же время та пластическая выпуклость, которая была для меня самоцелью в «Столбцах», здесь... лишь средство, лишь иллюстрация, лишь аргумент в пользу завоевания Севера. Появилась историческая перспектива, мысль, общественное содержание, и благодаря этому изменилась функция приема» [1].

Одическое великолепие метафор и гипербол, заставляющее вспомнить Ломоносова, служит передаче грандиозности самого события, величия подвига челюскинцев. Заболоцкий создает здесь грандиозную и величественную картину северной природы, кото-

---

[1] «Литературный Ленинград», 1936, 1 апреля.

рая походит на феерическую декорацию. Флотилия ледоколов уподобляется «бронтозаврам каменного века». Но это прежде всего созданья человека, его победа над природой.

Человек дан здесь еще абстрактно, как обобщенный символ, но утверждение могущества его разума проходит красной нитью через все стихотворение. Именно на этой высокой ноте завершается первый этап творчества Заболоцкого.

5

Второй этап творческого развития Заболоцкого проходил под знаком обращения к чистым родникам классической русской поэзии — Пушкина, Тютчева, Баратынского. Конечно, дело не только в том, что во время пребывания на Дальнем Востоке у Заболоцкого были маленькие томики Тютчева и Баратынского — его любимых поэтов. Уже в стихах начала тридцатых годов он шел путем приближения к классической поэзии. Тема природы остается основной темой стихов Заболоцкого, но теряет свой космогонический характер, природа предстает более «очеловеченной», воспринятой в отношении к ней человека, а не как слепая стихийная сила. Н. Заболоцкий предпослал своим стихам, написанным в сороковых годах, программное стихотворение «Я не ищу гармонии в природе» (1947), в котором он возвращается к творческим исканиям тридцатых годов. Но теперь в его отношении к природе возникает и моральная проблема. Природа лишена понимания добра и зла, она равнодушна к человеческому страданию и в этом отношении «бесплодна».

И с другой стороны — человеческое страдание, судьба человека, лишенного зрелища природы, искаженность его представления о мире волнуют поэта. В стихотворении «Слепой» (1946) образ старика-слепца «с опрокинутым в небо лицом» воспринимается как глубоко эмоциональный. Поэт глубоко переживает страдания слепца, его отчужденность от мира, неполноту восприятия им природы, сказавшуюся в «мраке души». Эти переживания вызывают и нем невольные ассоциации, дают толчок иной, потрясшей его воображение мысли, что «где-то у края природы», и он, поэт, «такой же слепец». Аллегорический характер стихотворения преодолевается эмоциональной напряженностью, придающей ему трогательную настроенность. Эта эмоциональная окрашенность, личная лирическая тема — вот то новое, что входит в поэзию Заболоцкого. Так, в стихотворении «Журавли» (1948) гибель вожака перелетающей стаи воспринимается как символ неизбежности смерти и такой же неизбежности, закономерности восполнения жизни. Но эти сим-

волические образы у Заболоцкого точны, предметны, зримы. Их философский смысл не иллюстрирован, а органически сращен с образами стихотворения, благодаря чему эти образы отнюдь не воспринимаются как образы абстрактные, они приобретают глубокий смысл:

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе, —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

Образная система здесь — выражение мысли о вечной деятельности природы, о преемственности поколений. Самая мысль о смерти и бессмертии — одна из основных тем поэзии Заболоцкого, который представляет себе личность человека как собрание атомов, верит в сохранение и метаморфозы самой материи, в образование новых существ из атомов праха.

В стихотворении «Завещание» (1947) он говорит о «незримом мире туманных превращений»:

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.

Это более глубокое развитие мысли, выраженной еще в стихотворении «Метаморфозы» (1937), о неизменности перехода одних форм материи в другие. Стихотворения по-своему продолжают философскую лирику Тютчева и Баратынского, их элегические размышления о жизни.

Выше отмечалось, что поэзия Заболоцкого всегда поэзия мысли. И эта мысль выражена в метафорической, образной форме. Параллелизм между явлениями и свойствами человеческой жизни и природы определяет метафорическую структуру его стихов, сложную

систему взаимно проникающих смыслов и образов. В стихотворении «Гроза» (1946) описание надвигающейся грозы передано через психологическое состояние человека, природа очеловечена.

Тема наступления грозы переплетается с темой творческого вдохновения («молния мысли»), и реальная картина, пейзаж выражает творческий процесс. Проблема творчества неизменно волнует Заболоцкого. Многие стихи его воссоздают самый процесс творчества — пробуждение вдохновения, зарождение подсознательного замысла и торжества мысли в завершенном произведении искусства. В стихотворении «Бетховен» (1946) мысль творца возникает «перед лицом пространства мирового», становится музыкой. Художник, «прикоснувшийся» «к музыке миров», превращает самую стихию в гармонию, которая выражает «прелесть мира».

Творчество не надмирно, оно включает и разделение добра и зла — важный момент в новом этапе творческого становления поэта, но эти явления жизни познаются в их историческом значении. Природа воспринимается как историческая действительность, изменяющаяся под воздействием человеческого разума и труда. Отсюда путь к таким стихотворениям, как «Город в степи» и «Творцы дорог», в которых передан пафос нового, возникает тема труда, преобразующего природу. «Город в степи» (1947) — восторженная ода людям, построившим этот город. Здесь воскрешена одическая традиция таких стихов, как «Север» (1936), с его торжественной интонацией, величественными гиперболами и образами. Роль завоевания человека, победа социалистического строительства подчеркнуты контрастом города и древней пустыни, напоминающей о себе образом верблюда, стоящего как символ тысячелетней истории:

И вот, ступив ногой на солончак,
Стоит верблюд, Ассаргадон пустыни,
Дитя печали, гнева и гордыни,
С тысячелетней тяжестью в очах.
Косматый лебедь каменного века...

Заболоцкий достигает монументального изображения, эпической силы образа, сохраняющего в то же время свою реалистическую наполненность.

Еще нагляднее и шире эта тема строительства дана в стихотворении «Творцы дорог» (1947), в котором постройка дороги совершается в условиях девственной природы Дальнего Востока. Как всегда у Заболоцкого, картина природы необычайно красочна и выразительна, передавая дальневосточный пейзаж во всем его первозданном великолепии. Изображение труда строителей, про-

кладывающих дорогу взрывами аммонала, сочетается с описанием феерического мира невиданных цветов и насекомых, бабочек, кузнечиков, жуков, оживших в солнечный весенний день.

Здесь все описано с точностью и наблюдательностью энтомолога. Все нарисовано в натуре, с восхищением и свойственной Заболоцкому легкой иронией.

И органически в этот пейзаж вписан и человек-творец, который, «врубаясь в лес, проваливаясь в воды», двигается вперед, с тем чтобы все, что до него лежало втуне, «поднять и вынести на свет». Стихотворение венчает образ человека, победителя природы, завершившего свой труд:

И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

Это новое отношение к природе, тема созидательного труда человека сказалась и в цикле стихов 1946—1947 годов, посвященных Грузии, («Храмгэс», «Сагурамо» и др.). В «Храмгэсе» также грандиозная панорама природы сочетается с величием труда человека, построившего электростанцию, дающую новую жизнь стране. Поэт передает восхищение перед этими победами Человека, переделывающего Природу, меняющего историю:

Здесь История пела, как дева, вчера,
Но сегодня от грохота дрогнули горы,
Титанических взрывов взвились веера,
И взметнулись ракет голубых метеоры.

Природа теперь не противостоит Человеку, а предстает в своей общности с Человеком, дана в его восприятии уже не как первозданный хаос, а одушевленным садом, светлым и радостным миром гармонии. В стихотворении «Поэма весны» (1956) возникает жизнеутверждающая картина весенней природы, преобразующей и пробуждающей лучшее в человеке.

И здесь природа не только философски значимое явление или символ. Это точно увиденная глазом поэта картина природы, любовно нарисованная со свойственной Заболоцкому наблюдательностью и остротой восприятия:

Скачет по полю жук-менестрель,
Реет бабочка, став на пуанты.
Развалившись по книгам, апрель
Нацепил васильков аксельбанты.

И бабочка на пуантах, и апрель в аксельбантах васильков — такие наглядные и милые приметы весны, так живописно и радостно возникающие в стихотворении, оттеняют душевное состоя-

ние самого поэта, его влюбленность в природу, его оптимистическое настроение:

Он-то знает, что поле да лес —
Для меня ежедневная тема,
А весна, сумасбродка н е б е с, —
И подружка моя, и поэма.

Мир раскрывается поэту в своем величии и духовности в впечатлениях и картинах природы, приобретающей в поздних стихах Заболоцкого какую-то особенную прозрачность. Эта природа не подавляет человека, не противостоит ему, а дает радость узнавания, она для него знакомый и близкий сердцу пейзаж родного края.

В стихотворении «Я воспитан природой суровой...» (1953) поэт говорит о давно, с детства родных ему чертах русского пейзажа, говорит уже не с одической торжественностью, а с глубоким эмоциональным чувством, восхищаясь его простой обыденностью.

С какой зоркостью и нежностью говорится и о «пуховом шарике» одуванчика, и «твердом клинке» подорожника! Поэт заканчивает точное и наглядное описание пейзажа обобщенной формулой этого нового восприятия природы, ее одухотворенной красоты:

Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
В его живых чертах распознаешь.

(«Вечер на Оке», 1957)

Заболоцкий — поэт с обостренным чувством цвета, живописности. Эта особенность его поэтического видения проявилась, как уже отмечалось, еще в «Столбцах». В новых его стихах о Грузии по-прежнему находим ту же широкую декоративную картину, напоминающую пейзажи Брейгеля и Ван-Гога, которая загорается буйными красками, передающими яркую осеннюю расцветку природы:

Здесь осень сумела такие пассажи
Наляпать из охры, огня и белил,
Чтоб дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,
А клен, как Мурильо, на крыльях парил.

(«Гомборский лес», 1957)

Его пейзажи Грузии поражают своим красочным изобилием. А наряду с такими картинами пышной и яркой природы все чаще появляются не менее значимые и живописные, простые, скромные

пейзажи средней России. В «Вечере на Оке», написанном в Тарусе, Заболоцкий говорит о прелести такого пейзажа:

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.

Новая манера изображения природы вызвана новым отношением к ней, новым ее восприятием — оно определяется как узнавание мира, его «живых черт», как единство человека с природой. Познание природы становится более интимным, более человечным, так же как и сама природа проявляется в реальном пейзаже.

Заболоцкий всегда любил живопись. Как уже отмечалось, в двадцатых годах он увлекался работами П. Филонова, М. Шагала, старых фламандцев, что сказалось в самой структуре стихотворений «Столбцов», в гротескности их рисунка. Высоко ценил он цельность и зоркую наивность таких художников-примитивистов, как Анри Руссо и Пиросманишвили. Затем на долгие годы его захватил Брейгель, чье ощущение природы, картины крестьянского труда и веселья были особенно близки поэту. Это позволило одному из исследователей сказать, что Заболоцкий в своем творчестве шел от Филонова к Брейгелю [1]. Точная и строгая живопись XVIII века оказалась особенно близкой Заболоцкому в его заключительном, «классическом» этапе. С портретом А. П. Струйской Ф. Рокотова связано его обращение к поэтам:

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

(«Портрет», 1953)

Эта живописная изобретательность слова, точная наглядность — основной принцип стихов Заболоцкого. Он по-разному осуществляется в «Столбцах», в стихах тридцатых годов, в поздний период его творчества. Но язык живописи для него всегда сроден языку поэзии, его слово всегда точно, изобразительно, предметно.

6

В последние годы жизни Заболоцкого в его творчестве все более заметно обращение к человеку, появление личной темы, интерес к быту. Человек интересует его теперь не только как отвлечен-

[1] В. Альфонсов. Слова и краски. М.—Л., «Советский писатель», 1966,

ный, собирательный образ Человека с большой буквы в его отношении к Природе. Он стремится показать в своих стихотворениях личность, характер, определенный типический образ.

Стихотворение «Ходоки» (1954) с большой жизненной правдой воссоздает облик В. И. Ленина. Это рассказ о ходоках-крестьянах, пришедших из далекой деревни к Ленину потолковать с ним о своих мужицких нуждах и о делах государственных. А в заключение — трогательная сцена: мужики, развязав свои узелки, угощают Ленина ржаными кренделями:

С этим угощеньем безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был и вкусным
Скудный дар истерзанной земли.

В этом стихотворении переданы и подлинный демократизм Ленина, и единство народа со своим вождем, и суровая, голодная обстановка начала двадцатых годов, и отзывчивость Ленина к нуждам народа.

В 1954—1956 годах появляются такие стихи, как «Некрасивая девочка», «В кино», «Старая актриса», «Генеральская дача», «На вокзале», которые знаменовали переход Заболоцкого к новым темам, к новой «жанровой» манере изображения. Это стихи о человеческих судьбах, размышления о морали, зарисовки быта. В них появляется сюжет, эмоциональная окрашенность образа, но вместе с тем и дидактическая нравоучительность. Особенно широкую известность получило стихотворение «Некрасивая девочка» — о судьбе девочки, еще не сознающей, что она «лишь бедная дурнушка». В этом стихотворении заключена философская важная мысль, раскрытая А. Македоновым: «Идея «Некрасивой девочки» включает в себя мысль о гуманистической содержательности красоты и развивает, обогащает ее, связывая с принципом безудержного «счастья 5ытия», которое рождается от слияния своего с общим счастьем, «чуждой радостью»...» [1]

Философская мысль заложена и в стихотворении «Старая актриса». Поэт говорит здесь о совмещении в героине стихотворения житейской мелочности и таланта, о «неразумной силе искусства, подымающей над миром такие сердца». Более конкретный характер имеют стихотворения «Смерть врача», «Генеральская дача», «Железная старуха». Здесь Заболоцкий стремится создать типические портреты и характеры в их бытовой повседневности, продолжая этим некрасовскую традицию. Это типические фигуры представителей разных слоев современного общества, обрисованные со-

[1] А. Македонов. Николай Заболоцкий. Л., «Советский писатель», 1968, с. 288.

чувственно, даже с некоторой долей сентиментальности. Таков, например, старый генерал, который в одиночестве вспоминает подругу военных лет, подарившую ему на память свой перстенек.

Эти «портреты», опыты жанровой живописи, еще не получили у Заболоцкого завершения. Многие из них он не включил в собрание своих стихотворений. Но эти опыты свидетельствуют о поисках новых путей, о внимании к обыкновенным человеческим судьбам.

В эти годы появляется у Заболоцкого и личная лирика, нашедшая свое выражение в цикле стихов «Последняя любовь» (1956—1958). Это стихи о любви. О любви, сохранившей свою неизменную власть и особенно болезненно переживаемой в разрыве. В стихотворении этого цикла «Голос в телефоне» давно знакомый голос, исчезнувший в телефонной трубке, напоминает о мучительности разлуки:

Сгинул он в каком-то диком поле,
Беспощадной вьюгой занесен...
И кричит душа моя от боли,
И молчит мой черный телефон.

Любовная тема в стихах Заболоцкого звучит горестно, безрадостно, как прощанье с прошлым, как горькая тоска по утраченному.

В стихотворении «Можжевеловый куст» эта боль, это чувство утраты переданы в образе приснившегося поэту можжевелового куста, в котором воплощено воспоминание о прошлом. Куст можжевельника здесь не просто символ неумирающего чувства: он сохраняет свою материальную природу, точное и графически тщательное изображение реального куста, с его металлическим хрустом, аметистовыми ягодами, острыми шипами. Весь эмоциональный тембр стихотворения лирически взволнован, заклинательно звучат повторения, вся звуковая гамма усиливает предметно-изобразительную сторону стихотворения:

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

7

Цикл «Последняя любовь» занимает особое место в лирике Заболоцкого. В основном поэт и в последнее десятилетие своей жизни остается певцом природы. Пройдя сложный поэтический путь

от изображения гротескно-карнавального мира «Столбцов», через философскую насыщенность и сложность поэм и стихов тридцатых годов, он пришел к классически ясной и строгой поэзии, поэзии мысли. Однако эту линию развития не следует понимать как механическую схему. Каждый творческий этап, сохраняя своеобразие поэтической структуры, оставлял след в его дальнейшем творчестве, обогащал его новыми открытиями. Поэтому и «классичность» стихов последнего периода отнюдь не обращена к прошлому, не стилизация классики, а глубоко современна, даже полемична по отношению к словесной небрежности или нарочитой изысканности современной поэзии.

Продолжая традиции Тютчева и Баратынского, Заболоцкий не повторяет их, не имитирует готовую поэтическую систему, а раскрывает в ней новые возможности. Остановимся лишь на одном примере — стихотворении «Гроза идет» (1957), которое и по теме, и по словесной фактуре стиха ближе всего к Тютчеву. В нем сохранен обычный для этого поэта параллелизм проходящих через все стихотворение описаний природы и душевной жизни и мыслей самого автора. Даже самый образ грозы такой специфически тютчевский! И однако мы уже с первой строфы видим своеобразие Заболоцкого, отличие от тютчевского восприятия природы:

Движется нахмуренная туча,
Обложив полнеба вдалеке,
Движется, огромна и тягуча,
С фонарем в приподнятой руке.

Конечно, для Тютчева был бы невозможен образ тучи с фонарем в руке. Чтобы создать такой образ, надо было пройти через метафорическую смелость «Столбцов». Даже в традиционном символе дерева, расщепленного молнией, Заболоцкий по-своему, в свойственном ему стиле, находит новые образные детали:

Он стоит, и мертвая корона
Подпирает темный небосклон.

«Мертвая корона», подпирающая «темный небосклон», по своей величавой метафоричности может принадлежать только Заболоцкому с его несколько тяжеловесной, монументальной образностью. В заключений стихотворения проводится прямой параллелизм между душевным состоянием поэта и расколотым деревом. Но здесь, в отличие от зыбкости, неуловимости тютчевских ассоциаций и нюансов, этот параллелизм подчеркнут, превращен в аллего-

рию, более предметно и осязательно передающую двойственность Душевного состояния поэта:

Пой мне песню, дерево печали!
Я, как ты, ворвался в высоту,
Но меня лишь молнии встречали
И огнем сжигали на лету.

Почему же, надвое расколот,
Я, как ты, не умер у крыльца,
И в душе все тот же лютый голод,
И любовь, и песни до конца!

Духовный максимализм, ненасытность к жизни — отличительное свойство Заболоцкого. Отсюда и внутренняя энергия стиха, заключенного в чеканные, классически полновесные строфы. Лиризм Заболоцкого особенный, сдержанный, редко раскрывающийся в личном плане. Как верно отметил исследователь его творчества: «...до самых последних стихов, за редкими исключениями, лиризм Заболоцкого очень опосредствован, иногда даже «отчужден» от самого себя и конкретной человеческой души. Но это не холод, не созерцательность. Это особый лиризм, лиризм не только подчас закованный в панцирь, как выражался сам Заболоцкий, но иногда теряющийся в бесконечной широте связей человека с миром» [1]. Здесь отмечено своеобразие лиризма Заболоцкого, который обращен к окружающему миру, включает в себя рационалистический познавательный момент. Это интеллектуальная поэзия, в которой чувственная, музыкальная сторона рождается из мысли. В заметке «Мысль — Образ — Музыка» (1957) Заболоцкий так формулировал понимание поэзии: «Подобно тому как в микроскопическом тельце хромосомы предначертан характер будущего организма, — первичные сочетания смыслов определяют собой общий вид и смысл художественного произведения... Чтобы торжествовала мысль, он (то есть поэт. — *Н. С.*) воплощает ее в образы. Чтобы работал язык, он извлекает из него всю его музыкальную мощь. Мысль — Образ — Музыка — вот идеальная тройственность, к которой стремится поэт».

Забота о точном, полновесном слове, ясно и верно передающем мысль, сопутствует всему творческому пути Н. Заболоцкого. Осуждая стихи одного начинающего поэта за их аморфность и бессодержательность, за то, что образ у него «не служит мысли», он определяет свое отношение к поэзии, к поэтическому мастерству: «Поиски новых средств выразительности — дело хорошее, необходимое, но можно ли искать новые средства выразительности, за-

[1] А. Македонов. Николай Заболоцкий, с. 346.

бывая о мысли — основной движущей силе искусства? Не думаю. Тут легче всего сбиться на пустой формализм». Это убеждение определяло и отношение к поэтическому слову самого Заболоцкого.

Последним наиболее значительным произведением Заболоцкого была поэма «Рубрук в Монголии» (1958). Это воплощение нового для поэта жанра исторической поэмы. В ее основу положены записки монаха ордена миноритов Вильгельма де Рубрука, ездившего в 1253 году по поручению французского короля Людовика IX в древнюю Монголию. Однако поэма не пересказ этих записок, а самостоятельное произведение. Поэма показывает монголов как грозную силу, с их суровой дисциплиной и воинской мощью. Рубрук едет обращать монголов в христианство, путешествуя в условиях жестоких морозов, суровой природы, всюду натыкаясь на следы монгольских набегов, разрушений и пожарищ. Но монгольский хан не принимает посулы французского монаха, предпочитая опыт и традиции своих дедов, своей страны проповеди христианства.

Повествование Заболоцкого иронично, и тем не менее даже смешение современной бытовой лексики («не обошлись без зуботычин», «как те канальи кумыс хлестали за двоих» и т. д.), иностранной публицистической терминологии («коллектив», «арбитраж», «виза»), постоянно врывающееся в повествование, не ослабляет эпическую монументальность поэмы, ее крепко кованную словесную прочность. Столкновение двух культур показано в своей исторической многозначительности. Этот опыт исторической поэмы намечал новые тенденции в творчестве Заболоцкого, которые не успели проявиться. Но самое обращение к истории знаменательно.

Большое место в творческом наследии поэта занимают его переводы. Они тесно связаны с творческой личностью Заболоцкого, несут частицу его таланта. При всей тщательности и точности переводов Заболоцкий как переводчик ставил перед собою цель передать на русском языке всю силу, все своеобразие оригинала. Так, в письме по поводу окончания перевода «Слова о полку Игореве» он указывает: «Моей первой целью было: дать полноценную поэму, которая, сохраняя в себе всю силу подлинника, звучала как поэма сегодняшнего дня — без всяких скидок, предоставляемых переводу». Вот эта всегдашняя озабоченность о современном звучании перевода, о его воздействии на современного читателя и лежит в основе его переводческой деятельности. Другим важным моментом было стремление, как он сообщал в том же письме, «пережить» подлинник в «себе самом», в своем поэтическом восприятии. Вдохновенный перевод «Слова» — лучшее доказательство этих условий перевода.

Другим большим трудом поэта был перевод «Витязя в тигровой шкуре» Руставели, завершенный в 1957 году. В этом переводе, по единодушному признанию специалистов, точность и ясность стиха сочетается с его эмоциональной выразительностью, с глубоким проникновением в историческое и национальное своеобразие содержания этого памятника, в его поэтическую специфику.

«Успех перевода, — писал Заболоцкий в своих «Заметках переводчика», — зависит от того, насколько удачно переводчик сочетал меру точности с мерой естественности. Удачно сочетать эти условия может только тот, кто правильно отличает большое от малого и сознательно жертвует малым для достижения большого...» Заболоцкому чужд механический буквализм перевода, он передает сам дух произведения. Особенно вдохновенно передал он поэзию близкого его собственному творчеству Важи Пшавелы, его чувство общности с природой.

Заболоцкий ушел из жизни в расцвете своих творческих сил, накануне новых поэтических завоеваний, далеко не осуществив намечавшихся возможностей. Тем не менее сделано им было очень много.

Его стихи переведены на многие европейские языки. О нем написан ряд книг и статей. Как всякий большой поэт, он воспринимается по-разному. Одни ценят его как автора гротескного гиперболизма «Столбцов», другие — его философско-пантеистические поэмы, третьи — строгую классичность стихов последнего периода. Но широкая масштабность его творчества, глубина мысли и совершенная завершенность стиха равно остаются примером высокой поэзии, смелых поэтических поисков, мастерского владения чистым, незамутненным русским словом.

Как сказал Н. С. Тихонов: «Мир великого переустройства земли, человека и всех порядков на земле, — этот мир вошел в творчество Заболоцкого и стал его большой философской темой» [1].

Н. Степанов

---

[1] Н. Тихонов. О стихах Николая Заболоцкого. — В кн.: Н. Заболоцкий. Избр. М., «Советский писатель», 1960, с. 7.

КНИГА ПЕРВАЯ

СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ

1926—1933

ГОРОДСКИЕ СТОЛБЦЫ

БЕЛАЯ НОЧЬ

Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь, от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой.
Любовь стенает под листами,
Она меняется местами,
То подойдет, то отойдет...
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,
Вдруг барабан заговорил —
Ракеты, выстроившись кругом,
Вставали в очередь. Потом
Они летели друг за другом,
Вертя бенгальским животом.

Качали кольцами деревья,
Спадали с факелов отрепья
Густого дыма. А на Невке
Не то сирены, не то девки,
Но нет, сирены, — на заре,
Все в синеватом серебре,
Холодноватые, но звали

Прижаться к палевым губам
И неподвижным, как медали.
Обман с мечтами пополам!

Я шел сквозь рощу. Ночь легла
Вдоль по траве, как мел бела.
Торчком кусты над нею встали
В ножнах из разноцветной стали,
И тосковали соловьи
Верхом на веточке. Казалось,
Они испытывали жалость,
Как неспособные к любви.

А там вдали, где желтый бакен
Подкарауливал шутих,
На корточках привстал Елагин,
Ополоснулся и затих:
Он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, бежал моторчик
С муз*ы*кой томной по бортам.
К нему навстречу, рожи скорчив,
Несутся лодки тут и там.
Он их толкнет — они бежать.
Бегут, бегут, потом опять
Идут, задорные, навстречу.
Он им кричит: «Я искалечу!»
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред.
Листами сонными колышим,
Он льется в окна, липнет к крышам,
Вздымает дыбом волоса...
И ночь, подобно самозванке,
Открыв молочные глаза,
Качается в спиртовой банке
И просится на небеса.

1926

ВЕЧЕРНИЙ БАР

В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.
Оно, как золото, блестело,
Потом садилось, тяжелело,
Над ним пивной дымок вился...
Но это рассказать нельзя.

Звеня серебряной цепочкой,
Спадает с лестницы народ,
Трещит картонною сорочкой,
С бутылкой водит хоровод.
Сирена бледная за стойкой
Гостей попотчует настойкой,
Скосит глаза, уйдет, придет,
Потом с гитарой на отлет
Она поет, поет о милом,
Как милого она любила,
Как, ласков к телу и жесток,
Впивался шелковый шнурок,
Как по стаканам висла виски,
Как, из разбитого виска
Измученную грудь обрызгав,
Он вдруг упал. Была тоска,
И все, о чем она ни пела,
Легло в бокал белее мела.

Мужчины тоже всё кричали,
Они качались по столам,
По потолкам они качали
Бедлам с цветами пополам.
Один рыдает, толстопузик,
Другой кричит: «Я — Иисусик,

Молитесь мне, я на кресте,
В ладонях гвозди и везде!»
К нему сирена подходила,
И вот, тарелки оседлав,
Бокалов бешеный конклав
Зажегся, как паникадило.

Глаза упали, точно гири,
Бокал разбили, вышла ночь,
И жирные автомобили,
Схватив под мышки Пикадилли,
Легко откатывали прочь.
А за окном в глуши времен
Блистал на мачте лампион.

Там Невский в блеске и тоске,
В ночи переменивший краски,
От сказки был на волоске,
Ветрами вея без опаски.
И как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин,
Над башней рвался шар крылатый
И имя «Зингер» возносил.

1926

ФУТБОЛ

Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело.
Как плащ, летит его душа,
Ключица стукается звонко
О перехват его плаща.
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград,
И шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,
Его отравою поят,
Но башмаков железный яд
Ему страшнее во сто крат.
Назад!

Свалились в кучу беки,
Опухшие от сквозняка,
Но к ним через моря и реки,
Просторы, площади, снега,
Расправив пышные доспехи
И накренясь в меридиан,
Несется шар.

В душе у форварда пожар,
Гремят, как сталь, его колена,
Но уж из горла бьет фонтан,
Он падает, кричит: «Измена!»
А шар вертится между стен,
Дымится, пучится, хохочет,
Глазок сожмет: «Спокойной ночи!»
Глазок откроет: «Добрый день!»
И форварда замучить хочет.

Четыре гола пали в ряд,
Над ними трубы не гремят,
Их сосчитал и тряпкой вытер
Меланхолический голкипер
И крикнул ночь. Приходит ночь,
Бренча алмазною заслонкой,
Она вставляет черный ключ
В атмосферическую лунку.
Открылся госпиталь. Увы,
Здесь форвард спит без головы.

Над ним два медные копья
Упрямый шар веревкой вяжут,
С плиты загробная вода
Стекает в ямки вырезные,
И сохнет в горле виноград.
Спи, форвард, задом наперед!

Спи, бедный форвард!
Над землею
Заря упала, глубока,
Танцуют девочки с зарею
У голубого ручейка.
Всё так же вянут на покое
В лиловом домике обои,
Стареет мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.

1926

ОФОРТ

И грянул на весь оглушительный зал:
«Покойник из царского дома бежал!»

Покойник по улицам гордо идет,
Его постояльцы ведут под уздцы,
Он голосом трубным молитву поет
И руки вздымает наверх.
Он в медных очках, перепончатых рамах,
Переполнен до горла подземной водой.
Над ним деревянные птицы со стуком
Смыкают на створках крыла.
А кругом громобой, цилиндров бряцанье
И курчавое небо, а тут —
Городская коробка с расстегнутой дверью
И за стеклышком — розмарин.

1927

БОЛЕЗНЬ

Больной, свалившись на кровать,
Руки не может приподнять.
Вспотевший лоб прямоуголен —
Больной двенадцать суток болен.
Во сне он видит чьи-то рыла,
Тупые, плотные, как дуб.
Тут лошадь веки приоткрыла,
Квадратный выставила зуб.
Она грызет пустые склянки,
Склонившись, Библию читает,
Танцует, мочится в лоханки
И голосом жены больного утешает.

«Жена, ты девушкой слыла.
Увы, моя подруга,
Как кожа нежная была
В боках твоих упруга!
Зачем же лошадь стала ты?
Укройся в белые скиты
И, ставя богу свечку,
Грызи свою уздечку!»

Но лошадь бьется, не идет,
Наоборот, она довольна.
Уж вечер. Лампа свет лиет
На уголок застольный.
Восходит поп среди двора,
Он весь ругается и силы напрягает,
Чугунный крест из серебра
Через порог переставляет.

Больному лучше. Поп хохочет,
Закутавшись в святую епанчу.
Больного он кропилом мочит,
Потом с тарелки ест сычуг,
Наполненный ячменной кашей,
И лошадь называет он мамашей.

1928

ИГРА В СНЕЖКИ

В снегу кипит большая драка.
Как легкий бог, летит собака.
Мальчишка бьет врага в живот.
На елке тетерев живет.
Уж ледяные свищут бомбы.
Уж вечер. В зареве снега.
В сугробах роя катакомбы,
Мальчишки лезут на врага.
Один, задрав кривые ноги,
Скатился с горки, а другой
Воткнулся в снег, а двое новых,
Мохнатых, скорченных, багровых,
Сцепились вместе, бьются враз,
Но деревянный ножик спас.

Закат погас. И день остановился.
И великаном подошел шершавый конь.
Мужик огромной тушею своей
Сидел в стропилах крашеных саней,
И в медной трубке огонек дымился.

Бой кончился. Мужик не шевелился.

1928

ЧАСОВОЙ

На карауле ночь густеет.
Стоит, как башня, часовой.
В его глазах одеревенелых
Четырехгранный вьется штык.
Тяжеловесны и крылаты,
Знамена пышные полка,
Как золотые водопады,
Пред ним свисают с потолка.
Там пролетарий на стене
Гремит, играя при луне,
Там вой кукушки полковой
Угрюмо тонет за стеной.
Тут белый домик вырастает
С квадратной башенкой вверху,
На стенке девочка витает,
Дудит в прозрачную трубу.
Уж к ней сбегаются коровы
С улыбкой бледной на губах...
А часовой стоит впотьмах
В шинели конусообразной,
Над ним звезды пожарик красный
И серп заветный в головах.
Вот в щели каменные плит
Мышиные просунулися лица,
Похожие на треугольники из мела,
С глазами траурными по бокам.
Одна из них садится у окошка
С цветочком музыки в руке.
А день в решетку пальцы тянет,

Но не достать ему знамен.
Он напрягается и видит:
Стоит, как башня, часовой,
И пролетарий на стене
Хранит волшебное становье.
Ему знамена — изголовье,
А штык ружья: война — войне.
И день доволен им вполне.

1927

НОВЫЙ БЫТ

Восходит солнце над Москвой,
Старухи бегают с тоской:
Куда, куда идти теперь?
Уж Новый Быт стучится в дверь!
Младенец, выхолен и крупен,
Сидит в купели, как султан.
Прекрасный поп поет, как бубен,
Паникадилом осиян.
Прабабка свечку зажигает,
Младенец крепнет и мужает
И вдруг, шагая через стол,
Садится прямо в комсомол.

И время двинулось быстрее,
Стареет папенька-отец,
И за окошками в аллее
Играет сваха в бубенец.
Ступни младенца стали шире,
От стали ширится рука.
Уж он сидит в большой квартире,
Невесту держит за рукав.
Приходит поп, тряся ногами,
В ладошке мощи бережет,
Благословить желает стенки,
Невесте крестик подарить.
«Увы, — сказал ему младенец, —
Уйди, уйди, кудрявый поп,
Я — новой жизни ополченец,
Тебе ж один остался гроб!»
Уж поп тихонько плакать хочет,
Стоит на лестнице, бормочет,
Не зная, чем себе помочь.
Ужель идти из дома прочь?

Но вот знакомые явились,
Завод пропел: «Ура! Ура!»
И Новый Быт, даруя милость,
В тарелке держит осетра.
Варенье, ложечкой носимо,
Шипит и падает в боржом.
Жених, проворен нестерпимо,
К невесте лепится ужом.
И председатель на отвале,
Чете играя похвалу,
Приносит в выборгском бокале
Вино солдатское, халву,
И, принимая красный спич,
Сидит на столике кулич.

«Ура! Ура!» — поют заводы,
Картошкой дым под небеса.
И вот супруги, выпив соды,
Сидят и чешут волоса.
И стало все благоприятно:
Явилась ночь, ушла обратно,
И за окошком через миг
Погасла свечка-пятерик.

1927

ДВИЖЕНИЕ

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

1927

НА РЫНКЕ

В уборе из цветов и крынок
Открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.
И мясо, властью топора,
Лежит, как красная дыра,
И колбаса кишкой кровавой
В жаровне плавает корявой,
И вслед за ней кудрявый пес
Несет на воздух постный нос,
И пасть открыта, словно дверь,
И голова, как блюдо,
И ноги точные идут,
Сгибаясь медленно посередине.
Но что это? Он с видом сожаленья
Остановился наугад,
И слезы, точно виноград,
Из глаз по воздуху летят.

Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль.

Росток руки другой нам кажет,
Он ею хвастается, машет,
Он палец вывихнул, урод,

И визгнул палец, словно крот,
И хрустнул кости перекресток,
И сдвинулось лицо в наперсток.

А третий, закрутив усы,
Глядит воинственным героем.
Над ним в базарные часы
Мясные мухи вьются роем.
Он в банке едет на колесах,
Во рту запрятан крепкий руль,
В могилке где-то руки сохнут,
В какой-то речке ноги спят.
На долю этому герою
Осталось брюхо с головою
Да рот, большой, как рукоять,
Рулем веселым управлять.

Вон бабка с неподвижным оком
Сидит на стуле одиноком,
И книжка в дырочках волшебных
(Для пальцев милая сестра)
Поет чиновников служебных,
И бабка пальцами быстра.

А вкруг — весы, как магелланы,
Отрепья масла, жир любви,
Уроды, словно истуканы,
В густой расчетливой крови,
И визг молитвенной гитары,
И шапки полны, как тиары,
Блестящей медью. Недалек
Тот миг, когда в поре опасной
Он и она — он пьяный, красный
От стужи, пенья и вина,
Безрукий, пухлый, и она —
Слепая ведьма — спляшут мило
Прекрасный танец-козерог,
Да так, что затрещат стропила
И брызнут искры из-под ног!

И лампа взвоет, как сурок.

1927

ИВАНОВЫ

Стоят чиновные деревья,
Почти влезая в каждый дом.
Давно их кончено кочевье,
Они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
Домами плотно заперта.

Но вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
Им подают свои скамейки.
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки,
Сидят и держат их перед собой,
Не увлекаясь быстрою ездой.

А там, где каменные стены,
И рев гудков, и шум колес,
Стоят волшебные сирены
В клубках оранжевых волос.
Иные, дуньками одеты,
Сидеть не могут взаперти.
Прищелкивая в кастаньеты,
Они идут. Куда идти,
Кому нести кровавый ротик,
У чьей постели бросить ботик
И дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?

О мир, свинцовый идол мой,
Хлещи широкими волнами
И этих девок упокой

На перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня, грозный мир:
В домах спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка — словно Арарат —
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов!

1928

СВАДЬБА

Сквозь окна хлещет длинный луч,
Могучий дом стоит во мраке.
Огонь раскинулся, горюч,
Сверкая в каменной рубахе.
Из кухни пышет дивным жаром.
Как золотые битюги,
Сегодня зреют там недаром
Ковриги, бабы, пироги.
Там кулебяка из кокетства
Сияет сердцем бытия.
Над нею проклинает детство
Цыпленок, синий от мытья.
Он глазки детские закрыл,
Наморщил разноцветный лобик
И тельце сонное сложил
В фаянсовый столовый гробик.
Над ним не поп ревел обедню,
Махая п*о* ветру крестом,
Ему кукушка не певала
Коварной песенки своей:
Он был закован в звон капусты,
Он был томатами одет,
Над ним, как крестик, опускался
На тонкой ножке сельдерей.
Так он почил в расцвете дней,
Ничтожный карлик средь людей.

Часы гремят. Настала ночь.
В столовой пир горяч и пылок.
Графину винному невмочь
Расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая
Сидит вокруг, пером блистая,
И лысый венчик горностая
Венчает груди, ожирев

В поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
Хрипят в неутоленной страсти
И распуская животы,
В тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья,
Едва вытягивая шеи
Сквозь мяса жирные траншеи.
И пробиваясь сквозь хрусталь
Многообразно однозвучный,
Как сон земли благополучной,
Парит на крылышках мораль.

О пташка божья, где твой стыд?
И что к твоей прибавит чести
Жених, приделанный к невесте
И позабывший звон копыт?
Его лицо передвижное
Еще хранит следы венца,
Кольцо на пальце золотое
Сверкает с видом удальца,
И поп, свидетель всех ночей,
Раскинув бороду забралом,
Сидит, как башня, перед балом
С большой гитарой на плече.

Так бей, гитара! Шире круг!
Ревут бокалы пудовые.
И вздрогнул поп, завыл и вдруг
Ударил в струны золотые.
И под железный гром гитары
Подняв последний свой бокал,
Несутся бешеные пары
В нагие пропасти зеркал.
И вслед за ними по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летит в пространство бытия.
А там — молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

1928

ФОКСТРОТ

В ботинках кожи голубой,
В носках блистательного франта,
Парит по воздуху герой
В дыму гавайского джаз-банда.
Внизу — бокалов воркотня,
Внизу — ни ночи нет, ни дня,
Внизу — на выступе оркестра,
Как жрец, качается маэстро.
Он бьет рукой по животу,
Он машет палкой в пустоту,
И легких галстуков извилина
На грудь картонную пришпилена.

Ура! Ура! Герой парит —
Гавайский фокус над Невою!
А бал ревет, а бал гремит,
Качая бледною толпою.
А бал гремит, единорог,
И бабы выставили в пляске
У перекрестка гладких ног
Чижа на розовой подвязке.
Смеется чиж — гляди, гляди!
Но бабы дальше ускакали,
И медным лесом впереди
Гудит фокстрот на пьедестале.

И так играя, человек
Родил в последнюю минуту
Прекраснейшего из калек —
Женоподобного Иуду.
Не тронь его и не буди,
Не пригодится он для дела —

С цыплячьим знаком на груди
Росток болезненного тела.
А там, над бедною землей,
Во славу винам и кларнетам
Парит по воздуху герой,
Стреляя в небо пистолетом.

1928

ПЕКАРНЯ

В волшебном царстве калачей,
Где дым струится над пекарней,
Железный крендель, друг ночей,
Светил небесных светозарней.
Внизу под кренделем — содом.
Там тесто, выскочив из квашен,
Встает подобьем белых башен
И рвется в битву напролом.

Вперед! Настало время боя!
Ломая тысячи преград,
Оно ползет, урча и воя,
И не желает лезть назад.
Трещат столы, трясутся стены,
С высоких балок льет вода.
Но вот, подняв фонарь военный|
В чугун ударил т а м а д а , —
И хлебопеки сквозь туман,
Как будто идолы в тиарах,
Летят, играя на цимбалах
Кастрюль неведомый канкан.

Как изукрашенные стяги,
Лопаты ходят тяжело,
И теста ровные корчаги
Плывут в квадратное жерло.
И в этой, красной от натуги,
Пещере всех метаморфоз
Младенец-хлеб приподнял руки
И слово стройно произнес.
И пекарь огненной трубой
Трубил о нем во мрак ночной.

А печь, наследника родив
И стройное поправив чрево,
Стоит стыдливая, как дева
С ночною розой на груди.
И кот, в почетном сидя месте,
Усталой лапкой рыльце крестит,
Зловонным хвостиком вертит,
Потом кувшинчиком сидит.
Сидит, сидит, и улыбнется,
И вдруг исчез. Одно болотце
Осталось в глиняном полу.
И утро выплыло в углу.

1928

РЫБНАЯ ЛАВКА

И вот, забыв людей коварство,
Вступаем мы в иное царстве.

Тут тело розовой севрюги,
Прекраснейшей из всех севрюг,
Висело, вытянувши руки,
Хвостом прицеплено на крюк.
Под ней кета пылала мясом,
Угри, подобные колбасам,
В копченой пышности и лени
Дымились, подогнув колени,
И среди них, как желтый клык,
Сиял на блюде царь-балык.

О самодержец пышный брюха,
Кишечный бог и властелин,
Руководитель тайный духа
И помыслов архитриклин!
Хочу тебя! Отдайся мне!
Дай жрать тебя до самой глотки!
Мой рот трепещет, весь в огне,
Кишки дрожат, как готтентотки.
Желудок, в страсти напряжен,
Голодный сок струями точит,
То вытянется, как дракон,
То вновь сожмется что есть мочи,
Слюна, клубясь, во рту бормочет,
И сжаты челюсти вдвойне...
Хочу тебя! Отдайся мне!

Повсюду гром консервных банок,
Ревут сиги, вскочив в ушат.
Ножи, торчащие из ранок,
Качаются и дребезжат.

Горит садок подводным светом,
Где за стеклянною стеной
Плывут лещи, объяты бредом,
Галлюцинацией, тоской,
Сомненьем, ревностью, тревогой...
И смерть над ними, как торгаш,
Поводит бронзовой острогой.

Весы читают «Отче наш»,
Две гирьки, мирно встав на блюдце,
Определяют жизни ход,
И дверь звенит, и рыбы бьются,
И жабры дышат наоборот.

1928

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

В моем окне на весь квартал
Обводный царствует канал.

Ломовики, как падишахи,
Коня запутав медью блях,
Идут, закутаны в рубахи,
С нелепой важностью нерях.
Вокруг пивные встали в ряд,
Ломовики в пивных сидят.
И в окна конских морд толпа
Глядит, мотаясь у столба,
И в окна конских морд собор
Глядит, поставленный в упор.
А там за ним, за морд собором,
Течет толпа на полверсты,
Кричат слепцы блестящим хором,
Стальные вытянув персты.
Маклак штаны на воздух мечет,
Ладонью бьет, поет как кречет:
Маклак — владыка всех штанов,
Ему подвластен ход миров,
Ему подвластно толп движенье,
Толпу томит штанов круженье,
И вот она, забывши честь,
Стоит, не в силах глаз отвесть,
Вся прелесть и изнеможенье.

Кричи, маклак, свисти уродом,
Мечи штаны под облака!
Но перед сомкнутым народом
Иная движется река:
Один сапог несет на блюде,
Другой поет хвалу Иуде,
А третий, грозен и румян,

В кастрюлю бьет, как в барабан.
И нету сил держаться боле,
Толпа в плену, толпа в неволе,
Толпа лунатиком идет,
Ладони вытянув вперед.

А вкруг черны заводов замки,
Высок под облаком гудок.
И вот опять идут мустанги
На колоннаде пышных ног.
И воют жалобно телеги,
И плещет взорванная грязь,
И над каналом спят калеки,
К пустым бутылкам прислонясь.

1928

БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Закинув н*а* спину трубу,
Как бремя золотое,
Он шел, в обиде на судьбу.
За ним бежали двое.
Один, сжимая скрипки тень,
Горбун и шаромыжка,
Скрипел и плакал целый день,
Как потная подмышка.
Другой, искусник и борец,
И чемпион гитары,
Огромный нес в руках крестец
С роскошной песнею Тамары.
На том крестце семь струн железных,
И семь валов, и семь колков,
Рукой построены полезной,
Болтались в виде уголков.

На стогнах солнце опускалось,
Неслись извозчики гурьбой,
Как бы фигуры пошехонцев
На волокнистых лошадях.
И вдруг в колодце между окон
Возник трубы волшебный локон,
Он прянул вверх тупым жерлом
И заревел. Глухим орлом
Был первый звук. Он, грохнув, пал.
За ним второй орел предстал,
Орлы в кукушек превращались,
Кукушки в точки уменьшались,
И точки, горло сжав в комок,
Упали в окна всех домов.

Тогда горбатик, скрипочку
Приплюснув подбородком,
Слепил перстом улыбочку

На личике коротком,
И, визгнув поперечиной
По маленьким струнам,
Заплакал, искалеченный:
—Тилим-там-там!

Система тронулась в порядке.
Качались знаки вымысла.
И каждый слушатель украдкой
Слезою чистой вымылся,
Когда на подоконниках
Средь музыки и грохота
Легла толпа поклонников
В подштанниках и кофтах.

Но богослов житейской страсти
И чемпион гитары
Подъял крестец, поправил части
И с песней нежною Тамары
Уста отважно растворил.
И все умолкло.
Звук самодержавный,
Глухой, как шум Куры,
Роскошный, как мечта,
Пронесся...
И в этой песне сделалась видна
Тамара на кавказском ложе.
Пред нею, полные вина,
Шипели кубки дотемна
И юноши стояли тоже.
И юноши стояли,
Махали руками,
И страстные дикие звуки
Всю ночь раздавалися там...
— Тилим-там-там!

Певец был строен и суров.
Он пел, трудясь, среди дворов,
Средь выгребных высоких ям
Трудился он, могуч и прям.
Вокруг него система кошек,
Система окон, ведер, дров
Висела, темный мир размножив
На царства узкие дворов.

Но что был двор? Он был трубою,
Он был тоннелем в те края,
Где был и я гоним судьбою,
Где пропадала жизнь моя.
Где сквозь мансардное окошко
При лунном свете, вся дрожа,
В глаза мои смотрела кошка,
Как дух седьмого этажа.

1928

НА ЛЕСТНИЦАХ

Коты на лестницах упругих,
Большие рыла приподняв,
Сидят, как будды, на перилах,
Ревут, как трубы, о любви.
Нагие кошечки, стесняясь,
Друг к дружке жмутся, извиняясь.
Кокетки! Сколько их кругом!
Они по кругу ходят боком,
Они текут любовным соком,
Они трясутся, на весь дом
Распространяя запах страсти.
Коты ревут, открывши п а с т и , —
Они как дьяволы вверху
В своем серебряном меху.

Один лишь кот в глухой чужбине
Сидит, задумчив, не поет.
В его взъерошенной овчине
Справляют блохи хоровод.
Отшельник лестницы печальной,
Монах помойного ведра,
Он мир любви первоначальной
Напрасно ищет до утра.
Сквозь дверь он чувствует квартиру,
Где труд дневной едва лишь начат.
Там от плиты и до сортира
Лишь бабьи туловища скачут.
Там примус выстроен, как дыба,
На нем, от ужаса треща,
Чахоточная воет рыба
В зеленых масляных прыщах.
Там трупы вымытых животных

Лежат на противнях холодных
И чугуны, купели слез,
Венчают зла апофеоз.

Кот поднимается, трепещет.
Сомненья нету: замкнут мир
И лишь одни помои плещут
Туда, где мудрости кумир.
И кот встает на две ноги,
Идет вперед, подъемля лапы.
Пропала лестница. Ни зги
В глазах. Шарахаются бабы,
Но поздно! Кот, на шею сев,
Как дьявол, бьется, озверев,
Рвет тело, жилы отворяет,
Когтями кости вынимает...
О, боже, боже, как нелеп!
Сбесился он или ослеп?

Шла ночь без горечи и страха,
И любопытным виден был
Семейный сад — кошачья плаха,
Где месяц медленный всходил.
Деревья дружные качали
Большими сжатыми телами,
Нагие птицы верещали,
Скача неверными ногами.
Над ними, желтый скаля зуб,
Висел кота холодный труп.

Монах! Ты висельником стал!
Прощай. В моем окошке,
Справляя дикий карнавал,
Опять несутся кошки.
И я на лестнице стою,
Такой же белый, важный.
Я продолжаю жизнь твою,
Мой праведник отважный.

1928

КУПАЛЬЩИКИ

Кто, чернец, покинув печку,
Лезет в ванну или тазик —
Приходи купаться в речку,
Отступись от безобразий!

Кто, кукушку в руку спрятав,
В воду падает с размаха —
Во главе плывет отряда,
Только дым идет из паха.

Все, впервые сняв одежды
И различные доспехи,
Начинают как невежды,
Но потом идут успехи.

Влага нежною гусыней
Щиплет части юных тел
И рукою водит синей,
Если кто-нибудь вспотел.

Если кто-нибудь не хочет
Оставаться долго мокрым —
Трет себя сухим платочком
Цвета воздуха и охры.

Если кто-нибудь томится
Страстью или искушеньем —
Может быстро охладиться,
Отдыхая без движенья.

Если кто любить не может,
Но изглодан весь тоскою,
Сам себе теперь поможет,
Тихо плавая с доскою.

О река, невеста, мамка,
Всех вместившая на лоне,
Ты не девка-полигамка,
Но святая на иконе!

Ты не девка-полигамка,
Но святая Парасковья,
Нас, купальщиков, встречай,
Где песок и молочай!

1928

НЕЗРЕЛОСТЬ

Младенец кашку составляет
Из манных зерен голубых.
Зерно, как кубик, вылетает
Из легких пальчиков двойных.
Зерно к зерну — горшок наполнен,
И вот, качаясь, он висит,
Как колокол на колокольне,
Квадратной силой знаменит.
Ребенок лезет вдоль по чащам,
Ореховые рвет листы,
И над деревьями все чаще
Его колеблются персты.
И девочки, носимы вместе,
К нему по воздуху плывут.
Одна из них, снимая крестик,
Тихонько падает в траву.

Горшок клубится под ногою,
Огня субстанция жива,
И девочка лежит нагою,
В огонь откинув кружева.
Ребенок тихо отвечает:
«Младенец я и не окреп!
Ужель твой ум не примечает,
Насколь твой замысел нелеп?
Красот твоих мне стыден вид,
Закрой же ножки белой тканью,
Смотри, как мой костер горит,
И не готовься к поруганью!»
И тихо взяв мешалку в руки,
Он мудро кашу помешал, —
Так он урок живой науки
Душе несчастной преподал.

1928

НАРОДНЫЙ ДОМ

Народный Дом, курятник радости,
Амбар волшебного житья,
Корыто праздничное страсти,
Густое пекло бытия!
Тут шишаки красноармейские,
А с ними дамочки житейские
Неслись задумчивым ручьем.
Им шум столичный нипочем!
Тут радость пальчиком водила,
Она к народу шла потехою.
Тут каждый мальчик забавлялся:
Кто дамочку кормил орехами,
А кто над пивом забывался.
Тут гор американские хребты!
Над ними девочки, богини красоты,
В повозки быстрые запрятались,
Повозки катятся вперед,
Красотки нежные расплакались,
Упав совсем на кавалеров...
И много было тут других примеров.

Тут девка водит на аркане
Свою пречистую собачку,
Сама вспотела вся до нитки
И грудки выехали вверх.
А та собачка пречестная,
Весенним соком налитая,
Грибными ножками неловко
Вдоль по дорожке шелестит.

Подходит к девке именитой
Мужик роскошный, апельсинщик.
Он держит тазик разноцветный,
В нем апельсины аккуратные лежат.

Как будто циркулем очерченные круги,
Они волнисты и упруги;
Как будто маленькие солнышки, они
Легко катаются по жести
И пальчикам лепечут: «Лезьте, лезьте!»

И девка, кушая плоды,
Благодарит рублем прохожего.
Она зовет его на «ты»,
Но ей другого хочется, хорошего.
Она хорошего глазами ищет,
Но перед ней качели свищут.

В качелях девочка-душа
Висела, ножкою шурша.
Она по воздуху летела,
И теплой ножкою вертела,
И теплой ручкою звала.

Другой же, видя преломленное
Свое лицо в горбатом зеркале,
Стоял молодчиком оплеванным,
Хотел смеяться, но не мог.
Желая знать причину искривления,
Он как бы делался ребенком
И шел назад на четвереньках,
Под сорок лет — четвероног.

Но перед этим праздничным угаром
Иные будто спасовали:
Они довольны не амбаром радости,
Они тут в молодости побывали.
И вот теперь, шепча с бутылкою,
Прощаясь с молодостью пылкою,
Они скребут стакан зубами,
Они губой его высасывают,
Они приятелям рассказывают
Свои веселия шальные.
Ведь им бутылка словно матушка,
Души медовая салопница,
Целует слаще всякой девки,
А холодит сильнее Невки.

Они глядят в стекло.
В стекле восходит утро.
Фонарь, бескровный, как глиста,
Стрелой болтается в кустах.
И по трамваям рай качается —
Тут каждый мальчик улыбается,
А девочка наоборот —
Закрыв глаза, открыла рот
И ручку выбросила теплую
На приподнявшийся живот.

Трамвай, шатаясь, чуть идет.

1928

САМОВАР

Самовар, владыка брюха,
Драгоценный комнат поп!
В твоей грудке вижу ухо,
В твоей ножке вижу лоб.

Император белых чашек,
Чайников архимандрит,
Твой глубокий ропот тяжек
Тем, кто миру зло дарит.

Я же — дева неповинна,
Как нетронутый цветок.
Льется в чашку длинный-длинный,
Тонкий, стройный кипяток.

И вся комнатка-малютка
Расцветает вдалеке,
Словно цветик-незабудка
На высоком стебельке.

1930

НА ДАЧЕ

Вижу около постройки
Древо радости — орех.
Дым, подобно белой тройке,
Скачет в облако наверх.
Вижу дачи деревянной
Деревенские столбы.
Белый, серый, оловянный
Дым выходит из трубы.
Вижу — ты, по воле мужа
С животом, подобным тазу,
Ходишь, зла и неуклюжа,
И подходишь к тарантасу.
В тарантасе тройка алых
Чернокудрых лошадей.
Рядом дядя на цимбалах
Тешит праздничных людей.
Гей, ямщик! С тобою мама
Да в селе высокий доктор.
Полетела тройка прямо
По дороге очень мокрой.
Мама стонет, дядя гонит,
Дядя давит лошадей,
И младенец, плача, тонет
Посреди больших кровей.

Пуповину отгрызала
Мама зубом золотым.
Тройка бешеная стала,
Коренник упал. Как дым,
Словно дым, клубилась степь,
Ночь сидела на холме.
Дядя ел чугунный хлеб,
Развалившись на траве.

А в далекой даче дети
Пели, бегая в крокете,
И ликуя и шутя,
Легким шариком вертя.
И цыганка молодая,
Встав над ними, как божок,
Предлагала, завывая,
Ассирийский пирожок.

1929

НАЧАЛО ОСЕНИ

Старухи, сидя у ворот,
Хлебали щи тумана, гари.
Тут, торопяся на завод,
Шел переулком пролетарий.
Не быв задетым центром О,
Он шел, скрепив периферию,
И ветр ломался вкруг него.
Приходит соболь из Сибири,
И представляет яблок Крым,
И девка, взяв рубля четыре,
Ест плод, любуясь молодым.
В его глазах — начатки знанья,
Они потом уходят в руки,
В его мозгу на состязанье
Сошлись концами все науки.
Как сон житейских геометрий,
В необычайно крепком ветре
Над ним домов бряцали оси,
И в центре О мерцала осень.
И к ней касаясь хордой, что ли,
Качался клен, крича от боли,
Качался клен, и выстрелом ума
Казалась нам вселенная сама.

1928

ЦИРК

Цирк сияет, словно щит,
Цирк на пальцах верещит,
Цирк на дудке завывает,
Душу в душу ударяет!
С нежным личиком испанки
И цветами в волосах
Тут девочка, пресветлый ангел,
Виясь, плясала вальс-казак.
Она среди густого пара
Стоит, как белая гагара,
То с гитарой у плеча
Реет, ноги волоча.
То вдруг присвистнет, одинокая,
Совьется маленьким ужом,
И вновь несется, нежно о х а я , —
Прелестный образ и почти что нагишом!
Но вот одежды беспокойство
Вкруг тела складками легло.
Хотя напрасно!
Членов нежное устройство
На всех впечатление произвело.

Толпа встает. Все дышат, как сапожники,
Во рту слюны навар кудрявый.
Иные, даже самые безбожники,
Полны таинственной отравой.
Другие же, суя табак в пустую трубку,
Облизываясь, мысленно целуют ту голубку,
Которая пред ними пролетела.
Пресветлая! Остаться не захотела!

Вой всюду в зале тут стоит,
Кромешным духом все полны.
Но музыка опять гремит,

И все опять удивлены.
Лошадь белая выходит,
Бледным личиком вертя,
И на ней при всем народе
Сидит полновесное дитя.
Вот, маша руками враз,
Дитя, смеясь, сидит анфас,
И вдруг, взмахнув ноги обмылком,
Дитя сидит к коню затылком.
А конь, как стражник, опустив
Высокий лоб с большим пером,
По кругу носится, спесив,
Поставив ноги под углом.

Тут опять всеобщее изумленье,
И похвала, и одобренье,
И, как зверок, кусает зависть
Тех, кто недавно улыбались
Иль равнодушными казались.

Мальчишка, тихо хулиганя,
Подружке на ухо шептал:
«Какая тут сегодня баня!»
И девку нежно обнимал.
Она же, к этому привыкнув,
Сидела тихая, не пикнув:
Закон имея естества,
Она желала сватовства.

Но вот опять арена скачет,
Ход представленья снова начат.
Два тоненькие мужика
Стоят, сгибаясь, у шеста,
Один, ладони поднимая,
На воздух медленно ползет,
То красный шарик выпускает,
То вниз, нарядный, упадет
И товарищу на плечи
Тонкой ножкою встает.
Потом они, смеясь опасно,
Ползут наверх единогласно
И там, обнявшись наугад,
На толстом воздухе стоят.

Они дыханьем укрепляют
Двойного тела равновесье,
Но через миг опять летают,
Себя по воздуху развеся.

Тут опять, восторга полон,
Зал трясется, как кликуша,
И стучит ногами в пол он,
Не щадя чужие уши.
Один старик интеллигентный
Сказал, другому говоря:
«Этот праздник разноцветный
Посещаю я не зря.
Здесь нахожу я греческие игры,
Красоток розовые икры,
Научных замечаю лошадей, —
Это не цирк, а прямо чародей!»
Другой, плешивый, как колено,
Сказал, что это несомненно.

На последний страшный номер
Вышла женщина-змея.
Она усердно ползала в соломе,
Ноги в кольца завия.
Проползав несколько минут,
Она совсем лишилась тела.
Кругом служители бегут:
— Где? Где?
Красотка улетела!

Тут пошел в народе ужас,
Все свои хватают шапки
И бросаются наружу,
Имея девок полные охапки.
«Воры! Воры!» — все кричали.
Но воры были невидимки:
Они в тот вечер угощали
Своих друзей на Ситном рынке.
Над ними небо было рыто
Веселой руганью двойной,
И жизнь трещала, как корыто,
Летая книзу головой.

1928

СМЕШАННЫЕ СТОЛБЦЫ

ЛИЦО КОНЯ

Животные не спят. Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе
Покатая коровы голова.
Раздвинув скулы вековые,
Ее притиснул каменистый лоб,
И вот косноязычные глаза
С трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная всё, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира.

И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!

Мы услыхали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые,
Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь.
Убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
И о которых песни мы поем.

Но вот конюшня опустела,
Деревья тоже разошлись,
Скупое утро горы спеленало,
Поля открыло для работ.
И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
Глядит покорными глазами
В таинственный и неподвижный мир.

1926

В ЖИЛИЩАХ НАШИХ

В жилищах наших
Мы тут живем умно и некрасиво.
Справляя жизнь, рождаясь от людей,
Мы забываем о деревьях.

Они поистине металла тяжелей
В зеленом блеске сомкнутых кудрей.

Иные, кроны поднимая к небесам,
Как бы в короны спрятали глаза,
И детских рук изломанная прелесть,
Одетая в кисейные листы,
Еще плодов удобных не наелась
И держит звонкие плоды.

Так сквозь века, селенья и сады
Мерцают нам удобные плоды.

Нам непонятна эта красота —
Деревьев влажное дыханье.
Вон дровосеки, позабыв топор,
Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.
Кто знает, что́ подумали они,
Что́ вспомнили и что́ открыли,
Зачем, прижав к холодному стволу
Свое лицо, неудержимо плачут?

Вот мы нашли поляну молодую,
Мы встали в разные углы,
Мы стали тоньше. Головы растут,
И небо приближается навстречу.
Затвердевают мягкие тела,
Блаженно деревенеют вены,

И ног проросших больше не поднять,
Не опустить раскинутые руки.
Глаза закрылись, времена отпали,
И солнце ласково коснулось головы.

В ногах проходят влажные валы.
Уж влага поднимается, струится
И омывает лиственные лица:
Земля ласкает детище свое.
А вдалеке над городом дымится
Густое фонарей копье.

Был город осликом, четырехстенным домом.
На двух колесах из камней
Он ехал в горизонте плотном,
Сухие трубы накреня.
Был светлый день. Пустые облака,
Как пузыри морщинистые, вылетали.
Шел ветер, огибая лес.
И мы стояли, тонкие деревья,
В бесцветной пустоте небес.

1926

ПРОГУЛКА

У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
Их невидимый удел.
Бык, беседуя с природой,
Удаляется в луга.
Над прекрасными глазами
Светят белые рога.
Речка девочкой невзрачной
Притаилась между трав,
То смеется, то рыдает,
Ноги в землю закопав.
Что же плачет? Что тоскует?
Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Каждый маленький цветочек
Машет маленькой рукой.
Бык седые слезы точит,
Ходит пышный, чуть живой.
А на воздухе пустынном
Птица легкая кружится,
Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.
Перед ней сияют воды,
Лес качается, велик,
И смеется вся природа,
Умирая каждый миг.

1929

ЗМЕИ

Лес качается, прохладен,
Тут же разные цветы,
И тела блестящих гадин
Меж камнями завиты.
Солнце жаркое, простое,
Льет на них свое тепло.
Меж камней тела устроя,
Змеи гладки, как стекло.
Прошумит ли сверху птица
Или жук провоет смело,
Змеи спят, запрятав лица
В складках жареного тела
И загадочны и бедны,
Спят они, открывши рот,
А вверху едва заметно
Время в воздухе плывет.
Год проходит, два проходит,
Три проходит. Наконец
Человек тела находит —
Сна тяжелый образец.
Для чего они? Откуда?
Оправдать ли их умом?
Но прекрасных тварей груда
Спит, разбросана кругом.
И уйдет мудрец, задумчив,
И живет, как нелюдим,
И природа, вмиг наскучив,
Как тюрьма стоит над ним.

1929

ИСКУШЕНИЕ

Смерть приходит к человеку,
Говорит ему: «Хозяин,
Ты походишь на калеку,
Насекомыми кусаем.
Брось житье, иди за мною,
У меня во гробе тихо.
Белым саваном укрою
Всех от мала до велика.
Не грусти, что будет яма,
Что с тобой умрет наука:
Поле выпашется само,
Рожь поднимется без плуга.
Солнце в полдень будет жгучим,
Ближе к вечеру прохладным.
Ты же, опытом научен,
Будешь белым и могучим
С медным крестиком квадратным
Спать во гробе аккуратном».

«Смерть, хозяина не трогай, —
Отвечает ей мужик. —
Ради старости убогой
Пощади меня на миг.
Дай мне малую отсрочку,
Отпусти меня. А там
Я единственную дочку
За труды тебе отдам».

Смерть не плачет, не смеется,
В руки девицу берет
И, как полымя, несется,
И трава под нею гнется
От избушки до ворот.

Холмик в*о* поле стоит,
Дева в холмике шумит:
«Тяжело лежать во гробе,
Почернели ручки обе,
Стали волосы как пыль,
Из грудей растет ковыль.
Тяжело лежать в могиле,
Губки тоненькие сгнили,
Вместо глазок — два кружка,
Нету милого дружка!»

Смерть над холмиком летает
И хохочет и грустит,
Из ружья в него стреляет
И склоняясь говорит:
«Ну, малютка, полно врать,
Полно глотку в гробе драть!
Мир над миром существует,
Вылезай из гроба прочь!
Слышишь, ветер в поле дует,
Наступает снова ночь.
Караваны сонных звезд
Пролетели, пронеслись.
Кончен твой подземный пост,
Ну, попробуй, поднимись!»

Дева ручками взмахнула,
Не поверила ушам,
Доску вышибла, вспрыгнула,
Хлоп! И лопнула по швам.

И течет, течет бедняжка
В виде маленьких кишок.
Где была ее рубашка,
Там остался порошок.
Изо всех отверстий тела
Червяки глядят несмело,
Вроде маленьких малют
Жидкость розовую пьют.

Была дева — стали щи.
Смех, не смейся, подожди!
Солнце встанет, глина треснет,
Мигом девица воскреснет.

Из берцовой из кости
Будет деревце расти,
Будет деревце шуметь,
Про девицу песни петь,
Про девицу песни петь,
Сладким голосом звенеть:
«Баю, баюшки, баю,
Баю девочку мою!
Ветер в поле улетел,
Месяц в небе побелел.
Мужики по избам спят,
У них много есть котят.
А у каждого кота
Были красны ворота,
Шубки синеньки у них,
Все в сапожках золотых,
Все в сапожках золотых,
Очень, очень дорогих...»

1929

МЕРКНУТ ЗНАКИ ЗОДИАКА

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки
Улетают прямо в небо,
Руки крепкие, как палки,
Груди круглые, как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
Превращается в дымок.
С лешачихами покойник
Стройно пляшет кекуок.
Вслед за ними бледным хором
Ловят Муху колдуны,
И стоит над косогором
Неподвижный лик луны.

Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Леший вытащил бревешко
Из мохнатой бороды.
Из-за облака сирена
Ножку выставила вниз,
Людоед у джентльмена
Неприличное отгрыз.

Все смешалось в общем танце,
И летят во все концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы.

Кандидат былых столетий,
Полководец новых лет,
Разум мой! Уродцы эти —
Только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
Сонной мысли колыханье,
Безутешное страданье, —
То, чего на свете нет.

Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора!
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой —
Полузвери, полубоги —
Засыпаем на пороге
Новой жизни молодой.

Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!

1929

ИСКУССТВО

Дерево растет, напоминая
Естественную деревянную колонну.
От нее расходятся члены,
Одетые в круглые листья.
Собранье таких деревьев
Образует лес, дубраву.
Но определенье леса неточно,
Если указать на одно формальное строенье.

Толстое тело коровы,
Поставленное на четыре окончанья,
Увенчанное храмовидной головою
И двумя рогами (словно луна в первой
четверти),
Тоже будет непонятно,
Также будет непостижимо,
Если забудем о его значенье
На карте живущих всего мира.

Дом, деревянная постройка,
Составленная как кладбище деревьев,
Сложенная как шалаш из трупов,
Словно беседка из мертвецов, —
Кому он из смертных понятен,
Кому из живущих доступен,
Если забудем человека,
Кто строил его и рубил?

Человек, владыка планеты,
Государь деревянного леса,
Император коровьего мяса,
Саваоф двухэтажного дома, —

Он и планетою правит,
Он и леса вырубает,
Он и корову зарежет,
А вымолвить слова не может.

Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку,
Дул, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь предметами.

Корова мне кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали, словно живые.

1930

ВОПРОСЫ К МОРЮ

Хочу у моря я спросить,
Для чего оно кипит?
Пук травы зачем висит,
Между волн его сокрыт?
Это множество воды
Очень дух смущает мой.
Лучше б выросли сады
Там, где слышен моря вой.
Лучше б тут стояли хаты
И полезные растенья,
Звери бегали рогаты
Для крестьян увеселенья.
Лучше бы руду копать
Там, где моря видим гладь,
Сани делать, башни строить,
Волка пулей беспокоить,
Разводить медикаменты,
Кукурузу молотить,
Деве розовые ленты
В виде опыта дарить.
В хороводе бы скакать,
Змея под вечер пускать
И дневные впечатленья
В свою книжечку писать.

1930

ВРЕМЯ

1

Ираклий, Тихон, Лев, Фома
Сидели важно вкруг стола.
Над ними дедовский фонарь
Висел, роняя свет на пир.
Фонарь был пышный и старинный,
Но в виде женщины чугунной.
Та женщина висела на цепях,
Ей в спину наливали масло,
Дабы лампада не погасла
И не остаться всем впотьмах.

2

Благообразная вокруг
Сияла комната для пира.
У стен — с провизией сундук,
Там — изображение кумира
Из дорогого алебастра.
В горшке цвела большая астра.
И несколько стульев прекрасных
Вокруг стояли стен однообразных.

3

Так в этой комнате жилой
Сидело четверо пирующих гостей.
Иногда они вскакивали,
Хватались за ножки своих бокалов
И пронзительно кричали: «Виват!»
Светила лампа в двести ватт.

Ираклий был лесной солдат,
Имел ружья огромную тетерю,
В тетере был большой курок.
Нажав его перстом, я верю,
Животных бить возможно впрок.

4

Ираклий говорил, изображая
Собой могучую фигуру:
«Я женщин с детства обожаю.
Они представляют собой роскошную клавиатуру,
Из которой можно извлекать аккорды».
Со стен смотрели морды
Животных, убитых во время перестрелки.
Часы двигали свои стрелки.
И не сдержав разбег ума,
Сказал задумчивый Фома:
«Да, женщины значение огромно,
Я в том согласен безусловно,
Но мысль о времени сильнее женщин. Да!
Споем песенку о времени, которую мы поем
всегда».

5

ПЕСЕНКА О ВРЕМЕНИ

Легкий ток из чаши А
Тихо льется в чашу Бе,
Вяжет дева кружева,
Пляшут звезды на трубе.

Поворачивая ввысь
Андромеду и Коня,
Над землею поднялись
Кучи звездного огня.

Год за годом, день за днем
Звездным мы горим огнем,
Плачем мы, созвездий дети,
Тянем руки к Андромеде

И уходим навсегда,
Увидавши, как в трубе
Легкий ток из чаши А
Тихо льется в чашу Бе.

6

Тогда ударил вновь бокал,
И разом все «Виват!» вскричали,
И им в ответ, устроив бал,
Часы пять криков прокричали.
Как будто маленький собор,
Висящий крепко на гвозде,
Часы кричали с давних пор,
Как надо двигаться звезде.
Бездонный времени сундук,
Часы — творенье адских рук!
И все это прекрасно понимая,
Сказал Фома, родиться мысли помогая:
«Я предложил бы истребить часы!»
И закрутив усы,
Оп посмотрел на всех спокойным глазом.
Блестела женщина своим чугунным тазом.

7

А если бы они взглянули за окно,
Они б увидели великое пятно
Вечернего светила.
Растенья там росли, как дудки,
Цветы качались выше плеч,
И в каждой травке, как в желудке,
Возможно свету было течь.
Мясных растений городок
Пересекал воды поток.
И, обнаженные, слагались
В ладошки длинные листы,
И жилы нижние купались
Среди химической воды.

8

И с отвращеньем посмотрев в окошко,
Сказал Фома: «Ни клюква, ни морошка,
Ни жук, ни мельница, ни пташка,
Ни женщины большая ляжка
Меня не радуют. Имейте все в виду:
Часы стучат, и я сейчас уйду».

9

Тогда встает безмолвный Лев,
Ружье берет, остервенев,
Влагает в дуло два заряда,
Всыпает порох роковой
И в середину циферблата
Стреляет крепкою рукой.
И все в дыму стоят, как боги,
И шепчут, грозные: «Виват!»
И женщины железной ноги
Горят над ними в двести ватт.
И все растенья припадают
К стеклу, похожему на клей,
И с удивленьем наблюдают
Могилу разума людей.

1933

ИСПЫТАНИЕ ВОЛИ

А г а ф о н о в

Прошу садиться, выпить чаю.
У нас варенья полон чан.

К о р н е е в

Среди посуд я различаю
Прекрасный чайник англичан.

А г а ф о н о в

Твой глаз, Корнеев, навострился,
Ты видишь Англии фарфор.
Он в нашей келье появился
Еще совсем с недавних пор.
Мне подарил его мой друг,
Открыв с посудою сундук.

К о р н е е в

Невероятна речь твоя,
Приятель сердца Агафонов!
Ужель могу поверить я:
Предмет, достойный Пантеонов,
Роскошный Англии призрак,
Который видом тешит зрак,
Жжет душу, разум просветляет,
Больных к художеству склоняет,
Засохшим сердце веселит,
А сам сияет и горит, —
Ужель такой предмет высокий,
Достойный лучшего венца,
Отныне в хижине убогой
Травою лечит мудреца?

Агафонов

Да, это правда.

Корнеев

Боже правый!
Предмет, достойный лучших мест,
Стоит, наполненный отравой,
Где Агафонов кашу ест!
Подумай только: среди ручек,
Которы тонки, как зефир,
Он мог бы жить в условьях лучших
И почитаться как кумир.
Властитель Англии туманной,
Его поставивши в углу,
Сидел бы весь благоуханный,
Шепча посуде похвалу.
Наследник пышною особой
При нем ходил бы, сняв сапог,
И в виде милости особой
Едва за носик трогать мог
И вдруг такие небылицы!
В простую хижину упав,
Сей чайник носит нам водицы,
Хотя не князь ты и не граф.

Агафонов

Среди различных лицедеев
Я слышал множество похвал,
Но от тебя, мой друг Корнеев,
Таких речей не ожидал.
Ты судишь, право, как лунатик,
Ты весь от страсти изнемог,
И жила вздулась, как канатик,
Обезобразив твой висок.
Ужели чайник есть причина?
Возьми его! На что он мне!

Корнеев

Благодарю тебя, мужчина.
Теперь спокоен я вполне.
Прощай. Я весь еще рыдаю.
(Уходит.)

Агафонов

Я духом в воздухе летаю,
Я телом в келейке лежу
И чайник снова в келью приглашу.

Корнеев
(входит)

Возьми обратно этот чайник,
Он ненавистен мне навек:
Я был премудрости начальник,
А стал пропащий человек.

Агафонов
(обнимая его)

Хвала тебе, мой друг Корнеев,
Ты чайник духом победил.
Итак, бери его скорее:
Я дарю тебе его изо всех сил.

1931

ПОЭМА ДОЖДЯ

Волк

Змея почтенная лесная,
Зачем ползешь, сама не зная,
Куда идти, зачем спешить?
Ужель спеша возможно жить?

Змея

Премудрый волк, уму непостижим
Тот мир, который неподвижен.
И так же просто мы бежим,
Как вылетает дым из хижин.

Волк

Понять не трудно твой ответ.
Куда как слаб рассудок змея!
Ты от себя бежишь, мой свет,
В движенье правду разумея.

Змея

Я вижу, ты идеалист.

Волк

Гляди: спадает с древа лист.
Кукушка, песенку построя
На двух тонах (дитя простое!),
Поет внутри высоких рощ.
При солнце льется ясный дождь,
Течет вода две-три минуты,
Крестьяне бегают разуты,
Потом опять сияет свет,
Дождь миновал, и капель нет.
Открой мне смысл картины этой.

Змея

Иди, с волками побеседуй,
Они дадут тебе отчет,
Зачем вода с небес течет.

Волк

Отлично. Я пойду к волкам.
Течет вода по их бокам.
Вода, как матушка, поет,
Когда на нас тихонько льет.
Природа в стройном сарафане,
Главою в солнце упершись,
Весь день играет на органе.
Мы называем это: жизнь.
Мы называем это: дождь,
По лужам шлепанье малюток,
И шум лесов, и пляски рощ,
И в роще хохот незабудок.
Или, когда угрюм орган,
На небе слышен барабан,
И войско туч пудов на двести
Лежит вверху на каждом месте,
Когда могучих вод поток
Сшибает с ног лесного зверя, —
Самим себе еще не веря,
Мы называем это: бог.

1931

ОТДЫХ

Вот на площади квадратной
Маслодельня, белый дом!
Бык гуляет аккуратный,
Чуть качая животом.
Дремлет кот на белом стуле,
Под окошком вьются гули,
Бродит тетя Мариули,
Звонко хлопая ведром.

Сепаратор, бог чухонский,
Масла розовый король!
Укроти свой топот конский,
Полюбить тебя позволь.
Дай мне два кувшина сливок,
Дай сметаны полведра,
Чтобы пел я возле ивок
Вплоть до самого утра!

Маслодельни легкий стук,
Масла маленький сундук,
Что стучишь ты возле пашен,
Там, где бык гуляет, важен,
Что играешь возле ив,
Стенку набок наклонив?

Спой мне, тетя Мариули,
Песню легкую, как сон!
Все животные заснули,
Месяц в небо унесен.
Безобразный, конопатый,

Словно толстый херувим,
Дремлет дядя Волохатый
Перед домиком твоим.
Все спокойно. Вечер с нами!
Лишь на улице глухой
Слышу: бьется под ногами
Заглушенный голос мой.

1930

ПТИЦЫ

Колыхаясь еле-еле
Всем ветрам наперерез,
Птицы легкие висели,
Как лампады средь небес.

Их глаза, как телескопики,
Смотрели прямо вниз.
Люди ползали, как клопики,
Источники вились.

Мышь бежала возле пашен,
Птица падала на мышь.
Трупик, вмиг обезображен,
Убираем был в камыш.

В камышах сидела птица,
Мышку пальцами рвала,
Изо рта ее водица
Струйкой на землю текла.

И сдвигая телескопики
Своих потухших глаз,
Птица думала. На холмике
Катился тарантас.

Тарантас бежал по полю,
В тарантасе я сидел
И своих несчастий долю
Тоже на сердце имел.

1933

ЧЕЛОВЕК В ВОДЕ

Формы тела и ума
Кто рубил и кто ковал?
Там, где море-каурма,
Словно идол, ходит вал.

Словно череп, безволос,
Как червяк подземный, бел,
Человек, расправив хвост,
Перед волнами сидел.

Разворачивая ладони,
Словно белые блины,
Он качался на попоне
Всем хребтом своей спины.

Каждый маленький сустав
Был распарен и раздут
Море телом исхлестав,
Человек купался тут.

Море телом просверлив,
Человек нырял на дно.
Словно идол, шел прилив,
Заслоняя дна пятно.

Человек, как гусь, как рак,
Носом радостно трубя,
Покидая дна овраг,
Шел, бородку теребя.

Он размахивал хвостом,
Он притоптывал ногой
И кружился колесом,
Безволосый и нагой.

А на жареной спине,
Над безумцем хохоча,
Инфузории одне
Ели кожу лихача.

1930

ЗВЕЗДЫ, РОЗЫ И КВАДРАТЫ

Звезды, розы и квадраты,
Стрелы северного сиянья,
Тонки, круглы, полосаты,
Осеняли наши зданья.
Осеняли наши домы
Жезлы, кубки и колеса.
В чердаках визжали кошки,
Грохотали телескопы.
Но машина круглым глазом
Б небе бегала напрасно:
Все квадраты улетали,
Исчезали жезлы, кубки.
Только маленькая птичка
Между солнцем и луною
В дырке облака сидела,
Во все горло песню пела:
«Вы не вейтесь, звезды, розы,
Улетайте, жезлы, кубки, —
Между солнцем и луною
Бродит утро за горами!»

1930

ЦАРИЦА МУХ

Бьет крылом седой петух,
Ночь повсюду наступает.
Как звезда, царица мух
Над болотом пролетает.
Бьется крылышком отвесным
Остов тела, обнажен,
На груди пентакль чудесный
Весь в лучах изображен.
На груди пентакль печальный
Между двух прозрачных крыл,
Словно знак первоначальный
Неразгаданных могил.

Есть в болоте странный мох,
Тонок, розов, многоног,
Весь прозрачный, чуть живой,
Презираемый травой.
Сирота, чудесный житель
Удаленных бедных мест,
Это он сулит обитель
Мухе, реющей окрест.
Муха, вся стуча крылами,
Мускул грудки развернув,
Опускается кругами
На болота влажный туф.

Если ты, мечтой томим,
Знаешь слово Элоим,
Муху странную бери,
Муху в банку посади,
С банкой по полю ходи,
За приметами следи.
Если муха чуть шумит —
Под ногою медь лежит.

Если усиком ведет —
К серебру тебя зовет.
Если хлопает крылом —
Под ногами злата ком.

Тихо-тихо ночь ступает,
Слышен запах тополей.
Меркнет дух мой, замирает
Между сосен и полей.
Спят печальные болота,
Шевелятся корни трав.
На кладбище стонет кто-то,
Телом к холмику припав.
Кто-то стонет, кто-то плачет,
Льются звезды с высоты.
Вот уж мох вдали маячит.
Муха, муха, где же ты?

1930

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Где древней музыки фигуры,
Где с мертвым бой клавиатуры,
Где битва нот с безмолвием пространства —
Там не ищи, поэт, душе своей убранства,

Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов мы построим дом —
Училище миров, неведомых доселе.
Поэзия есть мысль, устроенная в теле.

Она течет, незримая, в воде —
Мы воду воспоем усердными трудами.
Она горит е полуночной звезде —
Звезда, как полымя, бушует перед нами.

Тревожный сон коров и беглый разум птиц
Пусть смотрят из твоих диковинных страниц,
Деревья пусть поют и страшным разговором
Пугает бык людей, тот самый бык, в котором
Заключено безмолвие миров,
Соединенных с нами крепкой связью,

Побит камнями и закидан грязью,
Будь терпелив. И помни каждый миг!
Коль музыки коснешься чутким ухом,
Разрушится твой дом и, ревностный к наукам,
Над нами посмеется ученик.

1932

ПОДВОДНЫЙ ГОРОД

Птицы плавают над морем.
Славен город Посейдон!
Мы машиной воду роем.
Славен город Посейдон!
На трубе Чимальпопока
Мы играем в окна мира:
Под волнами спит глубоко
Башен стройная порфира.
В страшном блеске орихалка
Город солнца и числа
Спит, и буря, как весталка, —
Буря волны принесла.

Море! Море! Морда гроба!
Вечный гибели закон!
Где легла твоя утроба,
Умер город Посейдон.
Чуден вид его и страшен:
Рыбой съедены до пят,
Из больших окошек башен
Люди длинные глядят.

Человек, носим волною,
Едет книзу головою.
Осьминог сосет ребенка,
Только влас висит коронка.
Рыба, пухлая, как мох,
Вкруг колонны ловит блох.
И над круглыми домами,
Над фигурами из бронзы,
Над могилами науки,
Пирамидами владыки —
Только море, только сон,
Только неба синий тон.

1930

ШКОЛА ЖУКОВ

Женщины

Мы, женщины, повелительницы котлов,
Изобретательницы каш,
Толкачихи мира *вперед*,—
Дни и ночи, дни и ночи,
Полные любовного трудолюбия,
Рождаем миру толстых красных младенцев.
Как корабли, уходящие в дальнее плавание,
Младенцы имеют полную оснастку органов:
Это теперь пригодится, это — потом.
Горы живого сложного мяса
Мы кладем на руки человечества.
Вы, плотники, ученые леса,
Вы, каменщики, строители хижин,
Вы, живописцы, покрывающие стены
Загадочными фигурками нашей истории,
Откройте младенцам глаза,
Развяжите уши
И толкните неопытный разум
На первые подвиги.

Плотники

Мы, плотники, ученые леса,
Математики жизни деревьев,
Построим младенцам огромные колыбели
На крепких дубовых ногах.
Великие мореходы
Получат кровати из клена:
Строенье кленовых волокон
Подобно морскому прибою.
Ткачам, инженерам одежды,
Прилична кровать из чинара:
Чинар — это дерево-ткач,
Плетущий себя самого.
Ясень,
На котором продолговатые облака,

Будет учителем в небо полетов.
Черные полосы лиственниц
Научат строительству рельсов.
Груша и липа —
Наставницы маленьких девочек.
Дерево моа похоже на мед —
Пчеловодов учитель.
Туя, крупы властелинша, —
Урок земледельцу.
Бурый орех как земля —
Землекопу помощник.
Учит каменья тесать
И дома возводить — палисандра.
Черное дерево — это металла двойник,
Свет кузнецам,
Воспитанье вождям и солдатам.

Живописцы

Мы нарисуем фигурки зверей
И сцены из жизни растений.
Тело коровы,
Читающей курс Маслоделья,
Вместо Мадонны
Будет сиять над кроватью младенца.
Мы нарисуем пляску верблюдов
В могучих песках Самарканда,
Там, где зеркальная чаша
Бежит за движением солнца.
Мы нарисуем
Историю новых растений.
Дети простых садоводов,
Стали они словно бомбы.
Первое их пробуждение
Мы не забудем —
Час, когда в ножке листа
Обозначился мускул,
В теле картошки
Зачаток мозгов появился
И кукурузы глазок
Открылся на кончике стебля.
Злаков войну нарисуем мы,
Битву овса с воробьями —
День, когда птица упала,

Сраженная листьев ударом.
Вот что нарисуем мы
На наших картинах.
Тот, кто увидит их раз,
Не забудет до гроба.

Каменщики

Мы поставим на улице сто изваяний.
Из алебастра сделанные люди,
У которых отпилены черепные крышки,
Мозг исчез,
А в дыры стеклянных глазниц
Натекла дождевая вода,
И в ней купаются голуби, —
Сто безголовых героев
Будут стоять перед миром,
Держа в руках окончанья своих черепов.
Каменные шляпы
Сняли они со своих черепов,
Как бы приветствуя будущее!
Сто наблюдателей жизни животных
Согласились отдать свой мозг
И переложить его
В черепные коробки ослов,
Чтобы сияло
Животных разумное царство.
Вот добровольная
Расплата человечества
Со своими рабами!
Лучшая жертва,
Которую видели звезды!
Пусть же подобье героев
Отныне стоит перед миром младенцев.
Маленькие граждане мира
Будут играть
У каменных ног истуканов,
Будут бросать в черепа мудрецов
Гладкие камушки-гальки,
Бульканье вод будут слушать
И разговоры голубок,
В каменной пазухе мира
Жуков находить и кузнечиков.
Жуки с неподвижными крыльями,

Зародыши славных Сократов,
Катают хлебные шарики,
Чтобы сделаться умными.
Кузнечики — это часы насекомых,
Считают течение времени,
Сколько кому осталось
Свой ум развивать
И когда передать его детям.
Так, путешествуя
Из одного тела в другое,
Вырастает таинственный разум.
Время кузнечика и пространство жука —
Вот младенчество мира.

Женщины

Ваши слова достойны уважения,
Плотники, живописцы и каменщики!
Ныне заложена первая
Школа Жуков.

1931

ОТДЫХАЮЩИЕ КРЕСТЬЯНЕ

Толпа высоких мужиков
Сидела важно на бревне.
Обычай жизни был таков,
Досуги, милые вдвойне.
Царя ли свергнут или разом
Скотину волк на поле съест,
Они сидят, гуторя басом,
Про то да се узнав окрест.

Иногда во тьме ночной
Приносят длинную гармошку,
Извлекают резкие продолжительные звуки
И на травке молодой
Скачут страшными прыжками,
Взявшись за руки, толпой.

Вот толпа несется, воет,
Слышен запах потной кожи,
Музыканты рожи строят,
На чертей весьма похожи.
В громе, давке, кувырканьи
«Эх, пошла! — кричат. — Наддай-ка!»
Реют бороды бараньи,
Стонет, воет балалайка.
«Эх, пошла!» И дым столбом,
От натуги бледны лица.
Многоногий пляшет ком,
Воет, стонет, веселится.

Но старцы сумрачной толпой
Сидят на бревнах меж домами,
И лунный свет, виясь столбами,
Висит над ними как живой.
Тогда, привязанные к хатам,

Они глядят на этот мир,
Обсуждают, что такое атом,
Каков над воздухом эфир.
И скажет кто-нибудь, печалясь,
Что мы, пожалуй, не цари,
Что наверху плывут, качаясь,
Миров иные кубари.
Гром мечут, искры составляют,
Живых растеньями питают,
А мы, приклеены к земле,
Сидим, как птенчики в дупле.

Тогда крестьяне, созерцая
Природы стройные холмы,
Сидят, задумчиво мерцая
Глазами страшной старины.
Иной жуков наловит в шапку,
Глядит, внимателен и тих,
Какие есть у тварей лапки,
Какие крылышки у них.
Иной первоначальный астроном
Слагает из бересты телескоп,
И ворон с каменным крылом
Стоит на крыше, словно поп.

А на вершинах Зодиака,
Где слышен музыки орган,
Двенадцать люстр плывут из мрака,
Составив круглый караван.
И мы под ними, как малютки,
Сидим, считая день за днем,
И, в кучу складывая сутки,
Весь месяц в люстру отдаем.

1933

БИТВА СЛОНОВ

Воин слова, по ночам
Петь пора твоим мечам!

На бессильные фигурки существительных
Кидаются лошади прилагательных,
Косматые всадники
Преследуют конницу глаголов,
И снаряды междометий
Рвутся над головами,
Как сигнальные ракеты.

Битва слов! Значений бой!
В башне Синтаксис — разбой.
Европа сознания
В пожаре восстания.
Невзирая на пушки врагов,
Стреляющие разбитыми буквами,
Боевые слоны подсознания
Вылезают и топчутся,
Словно исполинские малютки.

Но вот, с рождения не евши,
Они бросаются в таинственные бреши
И с человечьими фигурками в зубах
Счастливо поднимаются на задние ноги.
Слоны подсознания!
Боевые животные преисподней!
Они стоят, приветствуя веселым воем
Все, что захвачено разбоем.

Маленькие глазки слонов
Наполнены смехом и радостью.
Сколько игрушек! Сколько хлопушек!
Пушки замолкли, крови покушав,
Синтаксис домики строит не те,
Мир в неуклюжей стоит красоте.
Деревьев отброшены старые правила,

На новую землю их битва направила.
Они разговаривают, пишут сочинения,
Весь мир неуклюжего полон значения!
Волк вместо разбитой морды
Приделал себе человечье лицо,
Вытащил флейту, играет без слов
Первую песню военных слонов.

Поэзия, сраженье проиграв,
Стоит в растерзанной короне.
Рушились башен столетних Монбланы,
Где цифры сияли, как будто полканы,
Где меч силлогизма горел и сверкал.
Проверенный чистым рассудком.
И что же? Сражение он проиграл
Во славу иным прибауткам!

Поэзия в великой муке
Ломает бешеные руки,
Клянет весь мир,
Себя зарезать хочет,
То, как безумная, хохочет,
То в поле бросится, то вдруг
Лежит в пыли, имея много мук.

На самом деле, как могло случиться,
Что пала древняя столица?
Весь мир к поэзии привык,
Все было так понятно.
В порядке конница стояла,
На пушках цифры малевала,
И на знаменах слово Ум
Кивало всем, как добрый кум.
И вдруг какие-то слоны,
И все перевернулось!
Поэзия начинает приглядываться,
Изучать движение новых фигур,
Она начинает понимать красоту неуклюжести,
Красоту слона, выброшенного преисподней.

Сраженье кончено. В пыли
Цветут растения земли
И слон, рассудком приручаем,
Ест пироги и запивает чаем.

1931

ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Поэма

ПРОЛОГ

Нехороший, но красивый,
Это кто глядит на нас?
То мужик неторопливый
Сквозь очки уставил глаз.
Белых житниц отделенья
Поднимались в отдаленье,
Сквозь окошко хлеб глядел,
В загородке конь сидел.
Тут природа вся валялась
В страшно диком беспорядке:
Кой-где дерево шаталось,
Там реки струилась прядка.
Тут стояли две-три хаты
Над безумным ручейком.
Идет медведь продолговатый
Как-то поздно вечерком.
А над ним, на небе тихом,
Безобразный и большой,
Журавель летает с гиком,
Потрясая головой.
Из клюва развевался свиток,
Где было сказано: «Убыток
Дают трехпольные труды».
Мужик гладил конец бороды.

1. БЕСЕДА О ДУШЕ

Ночь на воздух вылетает,
В школе спят ученики.
Вдоль по хижинам сверкают

Маленькие ночники.
Крестьяне, храбростью дыша,
Собираются в кружок,
Обсуждают, где душа?
Или только порошок
Остается после смерти?
Или только газ вонючий?
Скворешниц розовые жерди
Поднялись над ними тучей.
Крестьяне мрачны и обуты
В большие валенки судьбы,
Сидят. Усы у них раздуты
На верху большой губы.
Также шапки выделялись
В виде толстых колпаков.
Собаки пышные валялись
Среди хозяйских сапогов.
Мужик суровый, точно туча,
Держал кувшинчик молока.
Сказал: «Природа меня мучит,
Превращая в старика.
Когда, паша семейную десятину,
Иду, подобен исполину,
Гляжу-гляжу, а предо мной
Все кто-то движется толпой». —
«Да, это правда. Дух *животный*, —
Сказал в ответ ему старик,
Живет меж нами, как бесплотный
Жилец развалин дорогих.
Ныне, братцы, вся природа
Как развалина какая!
Животных уж не та порода
Живет меж нами, но другая». —
«Ты ляжешь, старик! — в ответ ему
Сказал стоящий тут солдат. —
Таких речей я не пойму,
Их только глупый слушать рад.
Поверь, что я во многих битвах
На скакуне носился, лих,
Но никогда не знал молитвы
И страшных ужасов твоих.
Уверяю вас, друзья:
Природа ничего не понимает
И ей довериться нельзя». —

«Кто ее знает? —
Сказал пастух, лукаво помолчав. —
С детства я — коров водитель,
Но скажу вам, осерчав:
Вся природа есть обитель.
Вы, мужики, живя в миру,
Любите свою избу,
Я ж природы конуру
Вместо дома изберу.
Некоторые движения коровы
Для меня ясней, чем ваши.
Вы ж, с рожденья нездоровы,
Не понимаете Простого даже». —
«Однако ты профан! —
Прервал его другой крестьянин. —
Прости, что я тебя прервал,
Но мы с тобой бороться станем.
Скажи по истине, по духу,
Живет ли мертвецов душа?»

И все замолкли. Лишь старуха
Сидела, спицами кружа.
Деревня, хлев напоминая,
Вокруг беседы поднималась:
Там угол высился сарая,
Тут чье-то дерево валялось.
Сквозь бревна тучные избенок
Мерцали панцири заслонок,
Светились печи, как кубы,
С квадратным выступом трубы.
Шесты таинственные зыбок
Хрипели, как пустая кость.
Младенцы спали без улыбок,
Блохами съедены насквозь.
Иной мужик, согнувшись в печке,
Свирепо мылся из ведерка,
Другой коню чинил уздечки,
А третий кремнем в камень щелкал.
«Мужик, иди спать!» —
Баба из окна кричала.
И вправду, ночь, как будто мать,
Деревню ветерком качала.

«Так! — сказал пастух лениво. —
Вон средь кладбища могил
Их душа плывет красиво,
Описать же нету сил.
Петел, сидя на березе,
Уж двенадцать раз пропел.
Скоро, ножки отморозя,
Он вспорхнул и улетел.
А душа пресветлой ручкой
Машет нам издалека.
Вся она как будто тучка,
Платье вроде как река.
Своими нежными глазами
Все глядит она, глядит,
А тело, съедено червями,
В черном домике лежит.
«Люди, — плачет, — что вы, люди!
Я такая же, как вы,
Только меньше стали груди
Да прическа из травы.
Меня, милую, берите,
Скучно мне лежать одной.
Хоть со мной поговорите,
Поговорите хоть со мной!»

«Это бесконечно печально! —
Сказал старик, закуривая трубку. —
И я встречал ее случайно,
Нашу милую голубку.
Она, как столбичек, плыла
С могилки прямо на меня
И, верю, на тот свет звала,
Тонкой ручкою маня.
Только я вбежал во двор,
Она на столбик налетела
И сгинула. Такое дело!»

«Ах, вот о чем разговор! —
Воскликнул радостно солдат. —
Тут суевериям большой простор,
Но ты, старик, возьми назад
Свои слова. Послушайте, крестьяне,
Мое простое объясненье.
Вы знаете, я был на поле брани,

Носился, лих, под пули пенье.
Теперь же я скажу иначе,
Предмета нашего касаясь:
Частицы фосфора маячат,
Из могилы испаряясь.
Влекомый воздуха теченьем,
Столбик фосфора несется
Повсюду, но за исключеньем
Того случая, когда о твердое
разобьется.
Видите, как все это просто!»

Крестьяне сумрачно замолкли,
Подбородки стали круче.
Скворешниц розовых оглобли
Поднялись над ними тучей.
Догорали ночники,
В школе спали ученики.
Одна учительница тихо
Смотрела в глубь седых полей,
Где ночь плясала, как шутиха,
Где плавал запах тополей,
Где смутные тела животных
Сидели, наполняя хлев,
И разговор вели свободный,
Душой природы овладев.

2. СТРАДАНИЯ ЖИВОТНЫХ

Смутные тела животных
Сидели, наполняя хлев,
И разговор вели свободный,
Душой природы овладев.
«Едва могу себя понять, —
Молвил бык, смотря в окно. —
На мне сознанья есть печать,
Но сердцем я старик давно.
Как понять мое сомненье?
Как унять мою тревогу?
Кажется, без потрясенья
День прошел, и слава богу!
Однако тут не все так просто.
На мне печаль как бы хомут.

На дно коровьего погоста,
Как видно, скоро повезут.
О, стон гробовый!
Вопль унылый!
Там даже не построены могилы:
Корова мертвая наброшена
На кости рваные овечек;
Подале, осердясь на коршуна,
Собака чей-то труп калечит.
Кой-где копыто, дотлевая,
Дает питание растенью,
И череп сорванный седлает
Червяк, сопутствуя гниенью.
Частицы шкурки и состав орбиты
Тут же все лежат-лежат,
Лишь капельки росы, налиты
На них, сияют и дрожат».

Ответил конь:
«Смерти бледная подкова
Просвещенным не страшна.
Жизни горькая основа
Смертным более нужна.
В моем черепе продолговатом
Мозг лежит, как длинный студень.
В своем домике покатом
Он совсем не жалкий трутень.
Люди! Вы напрасно думаете,
Что я мыслить не умею,
Если палкой меня дуете,
Нацепив шлею на шею.
Мужик, меня ногами обхватив,
Скачет, страшно дерясь кнутом,
И я скачу, хоть некрасив,
Хватая воздух жадным ртом.
Кругом природа погибает,
Мир качается, убог,
Цветы, плача, умирают,
Сметены ударом ног.
Иной, почувствовав ушиб,
Закроет глазки и приляжет,
А на спине моей мужик,
Как страшный бог,

Руками и ногами машет.
Когда же, в стойло заключен,
Стою, устал и удручен,
Сознанья бледное окно
Мне открывается давно.
И вот, от боли раскорячен,
Я слышу: воют небеса.
То зверь трепещет, предназначен
Вращать систему колеса.
Молю, откройте, откройте, друзья,
Ужели все люди над нами князья?»

Конь стихнул. Все окаменело,
Охвачено сознаньем грубым.
Животных составное тело
Имело сходство с бедным трупом.
Фонарь, наполнен керосином,
Качал страдальческим огнем,
Таким дрожащим и старинным,
Что все сливал с небытием.
Как дети хмурые страданья,
Толпой теснилися воспоминанья
В мозгу настойчивых животных,
И раскололся мир двойной,
И за обломком тканей плотных
Простор открылся голубой.

«Вижу я погост унылый, —
Молвил бык, сияя взором. —
Там на дне сырой могилы
Кто-то спит за косогором.
Кто он, жалкий, весь в коростах,
Полусъеденный, забытый,
Житель бедного погоста,
Грязным венчиком покрытый?
Вкруг него томятся ночи,
Руки бледные закинув,
Вкруг него цветы бормочут
В погребальных паутинах.
Вкруг него, невидны людям,
Но нетленны, как дубы,
Возвышаются умные свидетели его жизни —

Доски Судьбы[1].
И все читают стройными глазами
Домыслы странного трупа,
И мир животный с небесами
Тут примирен прекрасно-глупо.
И сотни-сотни лет пройдут,
И внуки наши будут хилы,
Но и они покой найдут
На берегах такой могилы.
Так человек, отпав от века,
Зарытый в новгородский ил,
Прекрасный образ человека
В душе природы заронил».

Не в силах верить, все молчали.
Конь грезил, выпятив губу.
И ночь плясала, как в начале,
Шутихой с крыши на трубу.
И вдруг упала. Грянул свет,
И шар поднялся величавый,
И птицы пели над дубравой —
Ночных свидетели бесед.

3. КУЛАК, ВЛАДЫКА БАТРАКОВ

Птицы пели над дубравой,
Ночных свидетели бесед,
И луч звезды кидал на травы
Первоначальной жизни свет,
И над высокою деревней,
Еще превратна и темна,
Опять в своей короне древней
Вставала русская луна.

Монеты с головами королей
Храня в тяжелых сундуках,
Кулак гнездился средь людей,
Всегда испытывая страх.
И рядом с ним гнездились боги

---

[1] Произведение В. Хлебникова. Могила поэта в Новгородской губернии. *(Примеч. Н. З.)*

Ныне прах Хлебникова перенесен на Новодевичье кладбище. *(Ред.)*

В своих задумчивых божницах.
Лохматы, немощны, двуноги,
В коронах, латах, власяницах,
С большими необыкновенными бородами,
Они глядели из-за стекол
Там, где кулак, крестясь руками,
Поклоны медленные кокал.

Кулак моленью предается.
Пес лает. Парка сторожит.
А время кое-как несется
И вниз по берегу бежит.
Природа жалкий сок пускает,
Растенья полны тишиной.
Лениво злак произрастает,
Короткий, немощный, слепой.
Земля, нуждаясь в крепкой соли,
Кричит ему: «Кулак, доколе?»
Но чем земля ни угрожай,
Кулак загубит урожай.
Ему приятно истребленье
Того, что будущего знаки.
Итак, предавшись утомленью,
Едва стоят, скучая, злаки.

Кулак, владыка батраков,
Сидел, богатством возвеличен,
И мир его, эгоцентричен,
Был выше многих облаков.
А ночь, крылами шевеля,
Как ведьма, бегает по крыше,
То ветер пустит на поля,
То притаится и не дышит,
То, ставню выдернув из окон,
Кричит: «Вставай, проклятый ворон!
Идет над миром ураган,
Держи его, хватай руками,
Расставляй проволочные загражденья,
Иначе вместе с потрохами
Умрешь и будешь без движенья!

Сквозь битвы, громы и труды
Я вижу ток большой воды,
Днепр виден мне, в бетон зашитый,

Огнями залитый Кавказ,
Железный конь привозит жито,
Чугунный вол привозит квас.
Рычаг плугов и копья борон
Вздымают почву сотен лет,
И ты пред нею, старый ворон,
Отныне призван на ответ!»

Кулак ревет, на лавке сидя,
Скребет ногтями черный бок,
И лает пес, беду предвидя,
Перед толпою многих ног.
И слышен голос был солдата,
И скрип дверей, и через час
Одна фигура, бородата,
Уже отъехала от нас.
Изгнанник мира и скупец
Сидел и слушал бубенец,
С избою мысленно прощался,
Как пьяный на возу качался.
И ночь, строительница дня,
Уже решительно и смело,
Как ведьма, с крыши полетела,
Телегу в пропасть наклоня.

4. БИТВА С ПРЕДКАМИ

Ночь гремела в бочки, в банки,
В дупла сосен, в дудки бури,
Ночь под маской истуканки
Выжгла ляписом лазури,
Ночь гремела самодуркой,
Все к чертям летело, к черту.
Волк, ударен штукатуркой,
Несся, плача, пряча морду.
Вепрь, муха, все собранье
Птиц повыдернуто с сосен,
«Ах,—кричало,—наказанье!
Этот ветер нам несносен!»
В это время, грустно воя,
Шел медведь, слезой накапав.
Он лицо свое больное
Нес на вытянутых лапах.

«Ночь! — кричал. — Иди ты к шуту,
Отвяжись ты, Вельзевулша!»
Ночь кричала: «Буду! Буду!»
Ну и ветер тоже дул же!
Так, скажу, проклятый ветер
Дул, как будто рвался порох!
Вот каков был русский север,
Где деревья без подпорок.

Солдат

Слышу бури страшный шум,
Слышу ветра дикий вой,
Но привычный знает ум:
Тут не черт, не домовой,
Тут не демон, не русалка,
Не бирюк, не лешачиха,
Но простых деревьев свалка.
После бури будет тихо.

Предки

Это вовсе неизвестно,
Хотя мысль твоя понятна.
Посмотри: под нами бездна,
Облаков несутся пятна,
Только ты, дитя рассудка,
От рожденья нездоров,
Полагаешь — это шутка
Столкновения ветров.

Солдат

Предки, полно вам, отстаньте!
Вы, проклятые кроты,
Землю трогать перестаньте,
Открывая ваши рты.
Непонятным наказаньем
Вы готовы мне грозить.
Объяснитесь на прощанье,
Что желаете просить?

Предки

Предки мы, и предки вам,
Тем, которым столько дел.
Мы столетье пополам

Рассекаем и предел
Представляем вашим бредням,
Предпочтенье даем средним —
Тем, которые рожают,
Тем, которые поют,
Никому не угрожают,
Ничего не создают.

Солдат

Предки, как же? Ваша глупость
Невозможна, хуже смерти!
Ваша правда обернулась
В косных неучей усердье!
Ночью, лежа на кровати,
Вижу голую *жену*, —
Вот она сидит без платья,
Поднимаясь в вышину.
Вся пропахла молоком...
Предки, разве правда в этом?
Нет, клянуся молотком,
Я желаю быть одетым!

Предки

Ты дурак, жена не дура,
Но природы лишь сосуд.
Велика ее фигура,
Два младенца грудь сосут.
Одного под зад ладонью
Держит крепко, а другой,
Наполняя воздух вонью,
На груди лежит дугой.

Солдат

Хорошо, но как понять,
Чем приятна эта мать?

Предки

Объясняем: женщин брюхо,
Очень сложное на взгляд,
Состоит жилищем духа
Девять месяцев подряд.
Там младенец в позе Будды
Получает форму тела.
Голова его раздута,

Чтобы мысль в ней кипела,
Чтобы пуповины провод,
Крепко вставленный в пупок,
Словно вытянутый хобот,
Не мешал развитью ног.

Солдат

Предки, все это понятно,
Но, однако, важно знать,
Не пойдем ли мы обратно
Если будем лишь рожать?

Предки

Дурень ты и старый мерин,
Недоносок рыжей клячи!
Твой рассудок непомерен.
Верно, выдуман иначе.
Ветры, бейте в крепкий молот,
Сосны, бейте прямо в печень,
Чтобы, надвое расколот,
Был бродяга изувечен!

Солдат

Прочь! Молчать! Довольно! Или
Уничтожу всех на месте!
Мертвецам — лежать в могиле,
Марш в могилу и не лезьте!
Пусть попы над вами стонут,
Пусть над вами воют черти,
Я же, предками не тронут,
Буду жить до самой смерти!

В это время дуб, встревожен,
Раскололся. В это время
Волк пронесся, огорошен,
Защищая лапой темя.
Вепрь, муха, целый храмик
Муравьев, большая выдра —
Все летело вверх ногами,
О деревья шкуру выдрав.
Лишь солдат, закрытый шлемом,
Застегнув свою шинель,
Возвышался, словно демон

Невоспитанных земель.
И полуночная птица,
Обитательница трав,
Принесла ему водицы,
Ветку дерева сломав.

5. НАЧАЛО НАУКИ

Когда полуночная птица
Летала важно между трав,
Крестьян задумчивые лица
Открылись, бурю испытав.
Над миром горечи и бед
Звенел пастушеский кларнет,
И пел петух, и утро было,
И славословил хор коров,
И над дубравой восходило
Светило, полное даров.

Слава миру, мир земле,
Меч владыкам и богатым!
Утро вынесло в руке
Возрожденья красный атом.
Красный атом возрожденья,
Жизни огненный фонарь.
На земле его движенье
Разливает киноварь.
Встали люди и коровы,
Встали кони и волы.
Вон солдат идет, багровый
От сапог до головы.
Посреди большого стада
Кто он — демон или бог?
И звезда его, крылата,
Устремилась на восток.

Солдат

Коровы, мне приснился сон.
Я спал, овчиною закутан,
И вдруг открылся небосклон
С большим животным институтом.
Там жизнь была всегда здорова
И посреди большого зданья

Стояла стройная корова
В венце неполного сознанья.
Богиня сыра, молока,
Главой касаясь потолка,
Стыдливо кутала сорочку
И груди вкладывала в бочку.
И десять струй с тяжелым треском
В холодный падали металл,
И приготовленный к поездкам
Бидон, как музыка, играл.
И опьяненная корова,
Сжимая руки на груди,
Стояла так, на все готова,
Дабы к сознанию идти.

Коровы

Странно слышать эти речи,
Зная мысли человечьи.
Что, однако, было дале?
Как иные поступали?

Солдат

Я дале видел красный светоч
В чертоге умного вола.
Коров задумчивое вече
Решало там свои дела.
Осел, над ними гогоча,
Бежал, безумное урча.
Рассудка слабое растенье
В его животной голове
Сияло, как произведенье,
По виду близкое к траве.
Осел скитался по горам,
Глодал чугунные картошки,
А под горой машинный храм
Выделывал кислородные лепешки.
Там кони, химии друзья,
Хлебали щи из ста молекул,
Иные, в воздухе вися,
Смотрели, кто с небес приехал.
Корова в формулах и лентах
Пекла пирог из элементов,
И перед нею в банке рос
Большой химический овес.

Конь

Прекрасна эта сторона —
Одни науки да проказы!
Я, как бы выпивши вина,
Солдата слушаю рассказы.
Впервые ум смутился мой,
Держу пари — я полон пота!
Ужель не врешь, солдат младой,
Что с плугом кончится работа?
Ужели кроме наших жил
Потребен разум и так дале?
Послушай, я ведь старожил,
Пристали мне одни медали.
Сто лет тружуся на сохе,
И вдруг за химию! Хе-хе!

Солдат

Молчи, проклятая каурка,
Не рви рассказа до конца.
Не стоят грязного окурка
Твои веселые словца.
Мой разум так же, как и твой,
Горшок с опилками, не боле,
Но над картиною такой
Сумей быть мудрым поневоле.
...Над Лошадиным институтом
Вставала стройная луна.
Научный отдых дан посудам,
И близок час веретена.
Осел, товарищем ведом,
Приходит, голоден и хром.
Его, как мальчика, питают,
Ума растенье развивают.
Здесь учат бабочек труду,
Ужу дают урок науки —
Как делать пряжу и слюду,
Как шить перчатки или брюки.
Здесь волк с железным микроскопом
Звезду вечернюю поет,
Здесь конь с редиской и укропом
Беседы длинные ведет.
И хоры стройные людей,
Покинув пастбища эфира,

Спускаются на стогны мира
Отведать пищи лебедей.

Конь

Ты кончил?

Солдат

Кончил.

Конь

Браво, браво!
Наплел голубчик на сто лет!
Но как сладка твоя отрава,
Как жжет меня проклятый бред!
Солдат, мы наги здесь и босы,
Нас давят плуги, жалят осы,
Рассудки наши — ряд лачуг,
И весь в пыли хвоста бунчук.
В часы полуночного бденья,
В дыму осенних вечеров,
Солдат, слыхал ли ты хрипенье
Твоих замученных волов?
Нам нет спасенья, нету права,
Нас плуг зовет и ряд могил,
И смерть — единая держава
Для тех, кто немощен и хил.

Солдат

Стыдись, каурка, что с тобою?
Наплел, чего не знаешь сам!
Смотри-ка, кто там за горою
Ползет, гремя, на смену вам?
Большой, железный, двухэтажный,
С чугунной мордой, весь в огне,
Ползет владыка рукопашной
Борьбы с природою ко мне.
Воспряньте, умные коровы,
Воспряньте, кони и быки!
Отныне, крепки и здоровы,
Мы здесь для вас построим кровы
С большими чашками муки.
Разрушив царство сох и борон,
Мы старый мир дотла снесем
И букву А огромным хором
Впервые враз произнесем!

И загремела даль лесная
Глухим раскатом буквы А,
И вылез трактор, громыхая,
Прорезав мордою века.
И толпы немощных животных,
Упав во прахе и пыли,
Смотрели взором первородных
На обновленный лик земли.

6. МЛАДЕНЕЦ — МИР

Когда собрание животных
Победу славило земли,
Крестьяне житниц плодородных
Свое имущество несли.
Одни, огромны, бородаты,
Приносят сохи и лопаты,
Другие вынесли на свет
Мотыги сотен тысяч лет.
Как будто груда черепов,
Растет гора орудий пыток.
И тракторист считал, суров,
Труда столетнего убыток.

Тракторист

Странно, люди!
Ум не счислит этих зол.
Ударяя камнем в груди,
Мчится древности козел.
О крестьянин, раб мотыг,
Раб лопат продолговатых,
Был ты раб, но не привык
Быть забавою богатых.
Ты разрушил дом неволи,
Ныне строишь ты колхоз.
Трактор, воя, возит в поле
Твой невиданный овес.
Длиннонога и суха,
Сгинь, мотыга и соха!
Начинайся, новый век!
Здравствуй, конь и человек!

Соха

Полно каркать издалече,
Неразумный человече!
Я, соха, царица жита,
Кости трактору не дам.
Мое туловище шито
Крепким дубом по бокам.
У меня на белом брюхе
Под веселый хохот блох
Скачет, тыча в небо руки,
Частной собственности бог.
Частной собственности мальчик
У меня на брюхе скачет.
Шар земной, как будто мячик,
На его ладони зачат.
То — держава, скипетр — меч!
Гнитесь, люди, чтобы лечь!
Ибо в днище ваших душ
Он играет славы туш!

Тракторист

О богиня!
Ты погибла с давних пор!
За тобою шел Добрыня
Или даже Святогор.
Мы же новый мир устроим
С новым солнцем и травой.
Чтобы каждый стал героем,
Мы прощаемся с тобой.
Хватайте соху за подмышки!

Бежали стаями мальчишки,
Оторваны от алгебры задачки.
Рой баб, неся в ладонях пышки,
От страха падал на карачки.
Из печки дым, летя по трубам,
Носился длинным черным клубом,
Петух пел песнь навеселе,
Свет дня был виден на селе.
Забитый бревнышком навозным,
Шатался церкви длинный кокон,
Струился свет по ликам грозным,

Из пыльных падающий окон.
На рейках книзу головой
Висел мышей летучих рой,
Как будто стая мертвых ведем
Спасалась в Риме этом третьем.
И вдруг, урча, забил набат.
Несома крепкими плечами,
Соха плыла, как ветхий гад,
Согнув оглобли калачами.
Соха плыла и говорила
Свои последние слова,
Полуоткрытая могила
Ее наставницей была.
И новый мир, рожденный в муке,
Перед задумчивой толпой
Твердил вдали то Аз, то Буки,
Качая детской головой.

7. ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Утро встало. Пар тумана
Закатился за поля.
Как слепцы из каравана,
Разбежались тополя.
Хоры сеялок, отвесив
Килограммы тонких зерен,
Едут в ряд, и пахарь весел,
От загара солнца черен.
Также тут сидел солдат.
Посреди крестьянских сел,
Размышленьями богат,
Он такую речь повел:
«Славься, славься, Земледелье,
Славься, пение машин!
Бросьте, пахари, безделье,
Будет *у*жин и уж*и*н.
Науку точную сноповязалок,
Сеченье вымени коров
Пойми! Иначе будешь жалок,
Умом дородным нездоров.
Теория освобождения труда
Умудрила наши руки.
Славьтесь, добрые науки
И колхозы-города!»

Замолк. Повсюду пробежал
Гул веселых одобрений,
И солдат, подняв фиал,
Пиво пил для утоленья.
Председатель многополья
И природы коновал,
Он военное дреколье
На серпы перековал.
И тяжелые, как домы,
Разорвав черту межи,
Вышли, трактором ведомы,
Колесницы крепкой ржи.
А на холме у реки
От рождения впервые
Ели черви гробовые
Деревянный труп сохи.
Умерла царица пашен,
Коробейница старух!
И растет над нею, важен,
Сын забвения, лопух.
И растет лопух унылый,
И листом о камень бьет,
И над ветхою могилой
Память вечную поет.

1929—1930

БЕЗУМНЫЙ ВОЛК

Поэма

1. РАЗГОВОР С МЕДВЕДЕМ

Медведь

Еще не ломаются своды
Вечнозеленого дома.

Мы сидим еще не в клетке,
Чтоб чужие есть объедки.

Мы живем под вольным дубом,
Наслаждаясь знаньем грубым.

Мы простую воду пьем,
Хвалим солнце и поем.

Волк, какое у тебя занятие?

Волк

Я, задрав собаки бок,
Наблюдаю звезд поток.
Если ты меня встретишь
Лежащим на спине
И поднимающим кверху лапы,
Значит, луч моего зрения
Направлен прямо в небеса.
Потом я песни сочиняю,
Зачем у нас не вертикальна шея.
Намедни мне сказала ворожея,
Что можно выправить ее.
Теперь скажи занятие твое.

Медведь

Помедлим. Я действительно встречал
В лесу лежащую фигурку.
Задрав две пары тонких ног,
Она глядела на восток.
И шерсть ее стояла дыбом,
И, вся наверх устремлена,
Она плыла, подобно рыбам,
Туда, где неба пламена.
Скажи мне, волк, откуда появилось
У зверя вверх желание глядеть?
Не лучше ль слушаться природы,
Глядеть лишь под ноги да вбок,
В людские лазить огороды,
Кружиться около дорог?
Подумай, в маленькой берлоге,
Где нет ни окон, ни дверей,
Мы будем царствовать, как боги,
Среди животных и зверей.
Иногда можно заниматься пустяками,
Ловить пичужек на лету.
Презрев револьверы, винтовки,
Приятно у малиновок откусывать головки
И вниз детенышам бросать,
Чтобы могли они сосать.
И ты не дело, волк, задумал,
Что шею вывернуть придумал.

Волк

Медведь, ты правильно сказал,
Ценю приятный сердцу довод.
Я многих сам перекусал,
Когда роскошен был и молод.
Все это шутки прежних лет.
Горизонтальный мой хребет
С тех пор железным стал и твердым,
И невозможно нашим мордам
Глядеть, откуда льется свет.
Меж тем вверху звезда сияет —
Чигирь, волшебная звезда!
Она мне душу вынимает,
Сжимает судорогой уста.
Желаю знать величину вселенной

И есть ли волки наверху!
А на земле я, точно пленный,
Жую овечью требуху.

Медведь

Имею я желанье хохотать,
Но воздержусь, чтоб волка но обидеть.
Согласен он всю шею изломать,
Чтобы Чигирь-звезду увидеть!

Волк

Я закажу себе станок
Для вывертывания шеи.
Сам свою голову туда вложу,
С трудом колеса поверну.
С этой шеей вертикальной,
Знаю, буду я опальный,
Знаю, буду я смешон
Для друзей и юных жен.
Но чтобы истину увидеть,
Скажи, скажи, лихой медведь,
Ужель нельзя друзей обидеть
И ласку женщины презреть?
Волчьей жизни реформатор,
Я, хотя и некрасив,
Буду жить, как император,
Часть науки откусив.
Чтобы завесить разные места,
Сошью себе рубаху из холста,
В своей берлоге засвечу светильник,
Кровать поставлю, принесу урыльник
И постараюсь через год
Дать своей науки плод.

Медведь

Еще не ломаются своды
Вечнозеленого дома!
Еще есть у нас такие представители,
Как этот сумасшедший волк!
Прошла моя нежная юность,
Наступает печальная старость.
Уже ничего не понимаю,
Только листочки шумят над головой.

Но пусть я буду консерватор,
Не надо мне твоих идей,
Я не философ, не оратор,
Не астроном, не грамотей.
Медведь я! Конский я громила!
Коровий Ассурбанипал!
В мое задумчивое рыло
Ничей не хлопал самопал!
Я жрать хочу! Кусать желаю!
С дорога прочь! Иду на вы!
И уж совсем не понимаю
Твоей безумной головы.
Прощай. Я вижу, ты упорен,

Волк

Итак, с медведем я поссорен.
Печально мне. Но, видит бог,
Медведь решиться мне помог.

2. МОНОЛОГ В ЛЕСУ

Над волчьей каменной избушкой
Сияют солнце и луна.
Волк разговаривает с кукушкой,
Дает деревьям имена.
Он в коленкоровой рубахе,
В больших невиданных штанах
Сидит и пишет на бумаге,
Как будто в келейке монах.
Вокруг него холмы из глины
Подставляют солнцу одни половины,
Другие половины лежат в тени,
И так идут за днями дни.

Волк
(бросая перо)

Надеюсь, этой песенкой
Я порастряс частицы мирозданья
И в будущее ловко заглянул.
Не знаю сам, откуда что берется,
Но мне приятно песни составлять:
Рукою в книжечке поставишь закорючку,
А закорючка ангелом поет!

Уж десять лет,
Как я живу в избушке.
Читаю книги, песенки пою,
Имею частые с природой разговоры.
Мой ум возвысился и шея зажила.
А дни бегут. Уже седеет шкура,
Спинной хребет трещит по временам.
Крепись, старик. Еще одно усилье,
И ты по воздуху, как пташка, полетишь.

Я открыл множество законов.
Если растенье посадить в банку
И в трубочку железную подуть —
Животным воздухом наполнится растенье,
Появятся на нем головка, ручки, ножки,
А листики отсохнут навсегда.
Благодаря моей душевной силе
Я из растенья воспитал собачку —
Она теперь, как матушка, поет.
Из одной березы
Задумал сделать я верблюда,
Да воздуху в груди, как видно, не хватило:
Головка выросла, а туловища нет.
Загадки страшные природы
Повсюду в воздухе висят.
Бывало, их, того гляди, поймаешь,
Весь напружинишься, глаза нальются кровью,
Шерсть дыбом встанет, напрягутся жилы,
Но миг пройдет — и снова как дурак.
Приятно жить счастливому растенью —
Оно на воздухе играет, как дитя.
А мы ногой безумной оторвались,
Бежим туда-сюда,
А счастья нет как нет.

Однажды ямочку я выкопал в земле,
Засунул ногу в дырку по колено
И так двенадцать суток простоял.
Весь отощал, не пивши и не евши,
Но корнем все-таки не сделалась нога
И я, увы, не сделался растеньем.

Однако
Услышать многое еще способен ум.
Бывало, ухом прислонюсь к березе

И различаю тихий разговор.
Береза сообщает мне свои переживанья,
Учит управлению веток,
Как шевелить корнями после бури
И как расти из самого себя.

Итак, как будто бы я многое постиг,
Имею право думать о почете.
Куда там! Звери вкруг меня
Ругаются, препятствуют занятьям
И не дают в уединенье жить.
Фигурки странные! Коров бы им душить,
Давить быков, рассудка не имея.
А на того, кто иначе живет,
Клевещут, злобствуют, приделывают рожки.

А я от моего душевного переживанья
Не откажусь ни в коей мере!
В занятьях я, как мышка, поседел,
При опытах тонул четыре раза,
Однажды шерсть нечаянно поджег —
Весь зад сгорел, а я живой остался.

Теперь еще один остался подвиг,
А там... Не буду я скрывать,
Готов я лечь в великую могилу,
Закрыть глаза и сделаться землей.
Тому, кто видел, как сияют звезды,
Тому, кто мог с растеньем говорить,
Кто понял страшное соединенье мысли —
Смерть не страшна и не страшна земля.

Иди ко мне, моя большая сила!
Держи меня! Я вырос, точно дуб,
Я стал как бык, и кости как железо:
Седой как лунь, я к подвигу готов.
Гляди в меня! Моя глава сияет,
Все сухожилья рвутся из меня.
Сейчас залезу на большую гору,
Скакну наверх, ногами оттолкнусь,
Схвачусь за воздух страшными руками,
Вздыму себя, потом опять скакну,
Опять схвачусь, а тело выше, выше,
И я лечу! Как пташечка, лечу!

Я понимаю атмосферу!
Все брюхо воздухом надуется, как шар.
Давленье рук пространству не уступит,
Усилье воли воздух победит.

Ничтожный зверь, червяк в звериной шкуре,
Лесной босяк в дурацком колпаке,
Я — царь земли! Я — гладиатор духа!
Я — Тарпагон, подъятый в небеса!

Я ухожу. Березы, до свиданья.
Я жил как бог и не видал страданья.

3. СОБРАНИЕ ЗВЕРЕЙ

Председатель

Сегодня годовщина смерти Безумного.
Почтим его память.

Волки
(поют)

Страшен, дети, этот год.
Дом зверей ломает свод.

Балки старые трещат.
Птицы круглые пищат.

Вырван бурей, стонет дуб.
Волк стоит, ударен в пуп.

Две реки, покинув лог,
Затопили сто берлог.

Встаньте, звери, встаньте враз,
Ударяйте, звери, в таз!

Вместе с бурей из ракит
Тень Безумного летит.

Вся в крови его глава.
На груда его трава.

Лапы вывернуты вбок.
Из очей идет дымок.

Гряньте, звери, на трубе:
«Кто ты, страшный? Что тебе?»

«Я — Летатель. Я — топор.
Победитель ваших нор».

Председатель

Я помню ночь, которую поэты
Изобразили в этой песне.
Из дальней тундры вылетела буря,
Рвала верхи дубов, вывертывала пни
И ставила деревья вверх ногами.

Лес обезумел. Затрещали своды,
Летели балки на голову нам.
Шар молнии, огромный, как кастрюля,
Скатился вниз, сквозь листья пролетел,
И дерево, как свечка, загорелось.

Оно кричало страшно, словно зверь,
Махало ветками, о помощи молило,
А мы внизу стояли перед ним
И двинуть пальцами от страха не умели.

Я побежал. И вот передо мною
Возвысился сверкающий утес.
Его вершина, гладкая, как череп,
Едва дымилась в чудной красоте.

Опять скатилась молния. Я замер:
Вверху, на самой высоте,
Металась чуть заметная фигурка,
Хватая воздух пальцами руки.

Я заревел. Фигурка подскочила,
Ужасный вопль пронзил меня насквозь.
На воздухе мелькнули морда, руки, ноги,
И больше ничего не помню.

Наутро буря миновала.
Лесных развалин догорал костер.
Очнулся я. Утес еще дымился,
И труп Безумного на камушках лежал.

Волк-студент

Мы все скорбим, почтенный председатель,
По поводу безвременной кончины
Безумного. Но я уполномочен
Просить тебя ответить на вопрос,
Предложенный комиссией студентов.

Председатель

Говори.

Волк-студент

Благодарю. Вопрос мой будет краток.
Мы знаем все, что старый лес погиб,
И нет таких мучительных загадок,
Которых мы распутать не могли б.

Мы новый лес сегодня созидаем.
Еще совсем убогие вчера,
Перед тобой мы ныне заседаем
Как инженеры, судьи, доктора.

Горит, как смерч, великая наука.
Волк ест пирог и пишет интеграл.
Волк гвозди бьет, и мир дрожит от стука,
И уж закончен техники квартал.

Итак, скажи, почтенный председатель,
В наш трезвый мир зачем бросаешь ты,
Как ренегат, отступник и предатель,
Безумного нелепые мечты?

Подумай сам, возможно ли растенье
В животное мечтою обратить,
Возможно ль полететь земли произведенью
И тем себе бессмертие купить?

Мечты Безумного безумны от начала.
Он отдал жизнь за них. Но что нам до него?
Нам песня нового столетья прозвучала,
Мы строим лес, а ты бежишь его!

Волки-инженеры

Мы, особенным образом складывая перекладины,
Составляем мостик на другой берег земного счастья.
Мы делаем электрических мужиков,
Которые будут печь пироги.
Лошади внутреннего сгорания
Нас повезут через мостик страдания.
И ямщик в стеклянной шапке
Тихо песенку споет:
«Гай-да, тройка,
Энергию утрой-ка!»
Таков полет строителей земли,
Дабы потомки царствовать могли.

Волки-доктора

Мы, врачи и доктора,
Толмачи зверей бедра.
В черепа волков мы вставляем стеклянные трубочки.
Мы наблюдаем занятия мозга,
Нам не мешает больного прическа.

Волки-музыканты

Мы скрипим на скрипках тела,
Как наука нам велела.
Мы смычком своих носов
Пилим новых дней засов.

Председатель

Медленно, медленно, медленно
Движется чудное время.

Точно клубки ниток, мы катимся вдаль,
Оставляя за собой нитку наших дел.

Чудесное полотно выткали наши руки,
Миллионы миль прошагали ноги.

Лес, полный горя, голода и бед,
Стоит вдали, как огненный сосед.

Глядите, звери, в этот лес,
Медведь в лесу кобылу ест,
А мы едим большой пирог,
Забыв дыру своих берлог.

Глядите, звери, в этот дол,
Едомый зверем, плачет вол,
А мы, построив свой квартал,
Волшебный пишем интеграл.

Глядите, звери, в этот мир,
Там зверь ютится, наг и сир,
А мы, подняв науки меч,
Идем от мира зло отсечь.

Медленно, медленно, медленно
Движется чудное время.

Я закрываю глаза и вижу стеклянное здание леса.
Стройные волки, одетые в легкие платья,
Преданы долгой научной беседе.
Вот отделился один,
Поднимает прозрачные лапы,
Плавно взлетает на воздух,
Ложится на спину,
Ветер его на восток над долинами гонит.
Волки внизу говорят:
«Удалился философ,
Чтоб лопухам преподать
Геометрию неба».

Что это? Странные виденья,
Безумный вымысел души,
Или ума произведенье, —
Студент ученый, разреши!

Мечты Безумного нелепы,
Но видит каждый, кто не слеп:
Любой из нас, пекущих хлебы,
Для мира старого нелеп.

Века идут, года уходят,
Но все живущее — не сон:
Оно живет и превосходит
Вчерашней истины закон.

Спи, Безумный, в своей великой могиле!
Пусть отдыхает твоя обезумевшая от мыслей голова!
Ты сам не знаешь, кто вырвал тебя из берлоги,
Кто гнал тебя на одиночество, на страдание.

Ничего не видя впереди, ни на что не надеясь,
Ты прошел по земле, как великий гладиатор мысли.
Ты — первый взрыв цепей!
Ты — река, породившая нас!

Мы, стоящие на границе веков,
Рабочие молота нашей головы,
Мы запечатали кладбище старого леса
Твоим исковерканным трупом.

Лежи смирно в своей могиле,
Великий Летатель Книзу Головой.
Мы, волки, несем твое вечное дело
Туда, на звезды, вперед!

1931

ДЕРЕВЬЯ

Поэма

ПРОЛОГ

Бомбеев

— Кто вы, кивающие маленькой головкой,
Играете с жуком и божией коровкой?

Голоса

— Я листьев солнечная сила.
— Желудок я цветка.
— Я пестика паникадило.
— Я тонкий стебелек смиренного левкоя.
— Я корешок судьбы.
— А я лопух покоя.
— Все вместе мы — изображение цветка,
Его росток и направленье завитка.

Бомбеев

— А вы кто там, среди озер небес,
Лежите, длинные, глазам наперерез?

Голоса

— Я облака большое очертанье.
— Я ветра колыханье.
— Я пар, поднявшийся из тела человека.
— Я капелька воды не более ореха.
— Я дым, сорвавшийся из труб.
— А я животных суп.
— Все вместе мы — сверкающие тучи,
Собрание громов и спящих молний кучи.

Бомбеев

— А вы, укромные, как шишечки и нити,
Кто вы, которые под кустиком сидите?

Голоса

— Мы глазки жуковы,
— Я гусеницын нос.
— Я возникающий из семени овес.
— Я дудочка души, оформленной слегка.
— Мы не облекшиеся телом потроха.
— Я то, что будет органом дыханья.
— Я сон грибка.
— Я свечки колыханье.
— Возникновенье глаза я на кончике земли.
— А мы нули.
— Все вместе мы — чудесное рожденье,
Откуда ты свое ведешь происхожденье.

Бомбеев

— Покуда мне природа спину давит,
Покуда мне она свои загадки ставит,
Я разыщу, судьбе наперекор,
Своих отцов, и братьев, и сестер.

1. ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПИР

Когда обед был подан и на стол
Положен был в воде варенный вол,
И сто бокалов, словно сто подруг,
Вокруг вола образовали круг,
Тогда Бомбеев вышел на крыльцо
И поднял кверху светлое лицо,
И, руки протянув туда, где были рощи,
Так произнес:
«Вы, деревья, императоры воздуха,
Одетые в тяжелые зеленые мантии,
Расположенные по всей длине тела
В виде кружочков, и звезд, и коронок!
Вы, деревья, бабы пространства,
Уставленные множеством цветочных чашек,
Украшенные белыми птицами-голубками!
Вы, деревья, солдаты времени,
Утыканные крепкими иголками могущества,
Укрепленные на трехэтажных корнях
И других неподвижных фундаментах!
Одни из вас, достигшие предельного возраста,

Черными лицами упираются в края атмосферы
И напоминают мне крепостные сооружения,
Построенные природой для изображения силы.
Другие, менее высокие, но зато более стройные,
Справляют по ночам деревянные свадьбы,
Чтобы вечно и вечно цвела природа
И всюду гремела слава ее.
Наконец, вы, деревья-самовары,
Наполняющие свои деревянные внутренности
Водой из подземных колодцев!
Вы, деревья-пароходы,
Секущие пространство и плывущие в нем
По законам древесного компаса!
Вы, деревья-виолончели и деревья-дудки,
Сотрясающие воздух ударами звуков,
Составляющие мелодии лесов и рощ
И одиноко стоящих растений!
Вы, деревья-топоры,
Рассекающие воздух на его составные
И снова составляющие его для постоянного
равновесия!
Вы, деревья-лестницы
Для восхождения животных на высшие пределы
воздуха!
Вы, деревья-фонтаны и деревья-взрывы,
Деревья-битвы и деревья-гробницы,
Деревья — равнобедренные треугольники и
деревья — сферы,
И все другие деревья, названия которых
Не поддаются законам человеческого *языка*, —
Обращаюсь к вам и заклинаю вас:
Будьте моими гостями!»

2. ПИР В ДОМЕ БОМБЕЕВА

Лесной чертог блистает, как лампада,
Кумиры стройные стоят, как колоннада,
И стол накрыт, и музыка гремит,
И за столом лесной народ сидит.
На алых бархатах, где раньше были панны,
Сидит корявый дуб, отведав чистой ванны,
И стуло греческое, на котором Зина
Свивала волосы и любовалась завитушками,

Теперь согнулося: на нем сидит осина,
Наполненная воробьями и кукушками.
И сам Бомбеев среди пышных кресел
Сидит один, и взор его невесел,
И кудри падают с его высоких плеч,
И чуть слышна его простая речь.

Бомбеев

Послушайте, деревья, речь,
Которая сейчас пред вами встанет,
Как сложенная каменщиком печь.
Хвала тому, кто в эту печь заглянет,
Хвала тому, кто, встав среди камней,
Уча другого, будет сам умней.

Я всю природу уподоблю печи.
Деревья, вы ее большие плечи,
Вы ребра толстые и каменная грудь,
Вы шептуны с большими головами,
Вы императоры с мохнатыми орлами,
Солдаты времени, пустившиеся в путь!
А на краю природы, на границе
Живого с мертвым, умного с тупым,
Цветут растений маленькие лица,
Растет трава, похожая на дым.
Клубочки спутанные, дудочки сырые,
Сухие зонтики, в которых налит клей,
Все в завитушках, некрасивые, кривые,
Они ползут из дырочек, щелей,
Из маленьких окошечек вселенной
Сплошною перепутанною пеной.

Послушайте, деревья, речь
О том, как появляется корова.
Она идет горою, и багрова
Улыбка рта ее, чтоб морду пересечь.
Но почему нам кажется знакомым
Все это тело, сложенное комом,
И древний конус каменных копыт,
И медленно качаемое чрево,
И двух очей, повернутых налево,
Тупой, безумный, полумертвый быт?
Кто, мать она? Быть может, в этом теле
Мы, как детеныши, когда-нибудь сидели?

Быть может, к вымени горячему прильнув
Лежали, щеки шариком надув?
А мать-убийца толстыми зубами
Рвала цветы и ела без стыда,
И вместе с матерью мы становились сами
Убийцами растений навсегда?

Послушайте, деревья, речь
О том, как появляется мясник.
Его топор сверкает, словно меч,
И он к убийству издавна привык.
Еще растеньями бока коровы полны,
Но уж кровавые из тела хлещут волны,
И, хлопая глазами, голова
Летит по воздуху, и мертвая корова
Лежит в пыли, для щей вполне готова,
И мускулами двигает едва.
А печка жизни все пылает,
Горит, трещит элементал,
И человек ладонью подсыпает
В мясное варево сияющий кристалл.
В желудке нашем исчезают звери,
Животные, растения, цветы,
И печки-жизни выпуклые двери
Для наших мыслей крепко заперты.
Но что это? Я слышу голоса!

Зина

Как вспыхнула заката полоса!

Бомбеев

Стоит Лесничий на моем пороге.

Зина

Деревья плачут в страхе и тревоге.

Лесничий

Я жил в лесу внутри избушки,
Деревья цифрами клеймил,
И вдруг Бомбеев на опушке
В лесные трубы затрубил.
Деревья, длинными главами
Ныряя в туче грозовой,
Умчались в поле. Перед нами

Возникнул хаос мировой.
Бомбеев, по какому праву,
Порядок мой презрев,
Похитил ты дубраву?

Бомбеев

Здесь я хозяин, а не ты,
И нам порядок твой не нужен:
В нем людоедства страшные черты.

Лесничий

Как к людоедству ты неравнодушен!
Однако за столом, накормлен и одет,
Ужель ты сам не людоед?

Бомбеев

Да, людоед я, хуже людоеда!
Вот бык лежит — остаток моего обеда.
Но над его вареной головой
Клянусь: окончится разбой,
И правнук мой среди домов и грядок
Воздвигнет миру новый свой порядок.

Лесничий

А ты подумал ли о том,
Что в вашем веке золотом
Любой комар, откладывая сто яичек в сутки,
Пожрет и самого тебя, и сад, и незабудки?

Бомбеев

По азбуке читая комариной,
Комар исполнится высокою доктриной.

Лесничий

Итак, устроив пышный пир,
Я вижу: мыслью ты измерил целый мир,
Постиг планет могучее движенье,
Рожденье звезд и их происхожденье,
И весь порядок жизни мировой
Есть только беспорядок пред тобой!
Нет, ошибся ты, Бомбеев,
Гордой мысли генерал!
Этот мир не для злодеев,
Ты его оклеветал.

В своем ли ты решил уме,
Что жизнь твоя равна чуме,
Что ты, глотая свой обед,
Разбойник есть и людоед?
Да, человек есть башня птиц,
Зверей вместилище лохматых,
В его лице — миллионы лиц
Четвероногих и крылатых.
И много в нем живет зверей,
И много рыб со дна морей,
Но все они в лучах сознанья
Большого мозга строят зданье.
Сквозь рты, желудки, пищеводы,
Через кишечную тюрьму
Лежит центральный путь природы
К благословенному уму.
Итак, да здравствуют сраженья,
И рев зверей, и ружей гром,
И всех живых преображенье
В одном сознанье мировом!
И в этой битве постоянной
Я, неизвестный человек,
Провозглашаю деревянный,
Простой, дремучий, честный век.
Провозглашаю славный век
Больших деревьев, длинных рек,
Прохладных гор, степей могучих,
И солнце розовое в тучах,
А разговор о годах лучших
Пусть продолжает человек.
Деревья, вас зовет природа
И весь простой лесной народ,
И все живое, род от рода
Не отделяясь, вас зовет
Туда, под своды мудрости лесной,
Туда, где жук беседует с сосной,
Туда, где смерть кончается весной, —
За мной!

3. НОЧЬ В ЛЕСУ

Опять стоят туманные деревья,
И дом Бомбеева вдали, как самоварчик,
Жизнь леса продолжается, как прежде,

Но все сложней его работа.
Деревья-императоры снимают свои короны,
Вешают их на сучья,
Начинается вращенье деревянных планеток
Вокруг обнаженного темени.
Деревья-солдаты, громоздясь друг на друга,
Образуют дупла, крепости и завалы,
Щелкают руками о твердую древесину,
Играют на трубах, подбрасывают кости.
Тут и там деревянные девочки
Выглядывают из овражка,
Хохот их напоминает сухое постукивание,
Потрескивание веток, когда по ним прыгает
белка.
Тогда выступают деревья-виолончели,
Тяжелые сундуки струн облекаются звуками,
Еще минута, и лес опоясан трубами чистых
мелодий,
Каналами песен лесного оркестра.
Бомбы ли рвутся, смеются ли бабочки —
Песня все шире да шире,
И вот уж деревья-топоры начинают рассекать
воздух
И складывать его в ровные параллелограммы.
Трение воздуха будит различных животных.
Звери вздымают на лестницы тонкие лапы,
Вверх поднимаются к плоским верхушкам
деревьев
И замирают вверху, чистые звезды увидев.
Так над землей образуется новая плоскость:
Снизу — животные, взявшие в лапы деревья,
Сверху — одни вертикальные звезды.
Но не смолкает земля. Уже деревянные девочки
Пляшут, роняя грибы в муравейник.
Прямо над ними взлетают деревья-фонтаны,
Падая в воздух гигантскими чашками струек.
Дале стоят деревья-битвы и деревья-гробницы,
Листья их выпуклы и барельефам подобны.
Можно здесь видеть возникшего снова Орфея,
В дудку поющего. Чистою лиственной грудью
Здесь окружают певца деревянные звери.
Так возникает история в гуще зеленых
Старых лесов, в кустарниках, ямах, оврагах,
Так образуется летопись древних событий,

Ныне закованных в листья и длинные сучья.
Дале деревья теряют свои очертанья, и глазу
Кажутся то треугольником, то полукругом —
Это уже выражение чистых понятий,
Дерево Сфера царствует здесь над другими.
Дерево Сфера — это значок беспредельного дерева,
Это итог числовых операций.
Ум, не ищи ты его посредине деревьев:
Он посредине, и сбоку, и здесь, и повсюду.

1933

КНИГА ВТОРАЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

•

1932-1958

Я НЕ ИЩУ ГАРМОНИИ В ПРИРОДЕ

Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.

Как своенравен мир ее дремучий!
В ожесточенном пении ветров
Не слышит сердце правильных созвучий,
Душа не чует стройных голосов.

Но в тихий час осеннего заката,
Когда умолкнет ветер вдалеке,
Когда, сияньем немощным объята,
Слепая ночь опустится к реке,

Когда, устав от буйного движенья,
От бесполезно тяжкого труда,
В тревожном полусне изнеможенья
Затихнет потемневшая вода,

Когда огромный мир противоречий
Насытится бесплодною игрой, —
Как бы прообраз боли человечьей
Из бездны вод встает передо мной.

И в этот час печальная природа
Лежит вокруг, вздыхая тяжело,
И не мила ей дикая свобода,
Где от добра неотделимо зло.

И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода.

Так, засыпая на своей кровати,
Безумная, но любящая мать
Таит в себе высокий мир дитяти,
Чтоб вместе с сыном солнце увидать.

1947

ОСЕНЬ

Когда минует день и освещение
Природа выбирает не сама,
Осенних рощ большие помещения
Стоят на воздухе, как чистые дома.
В них ястребы живут, вороны в них ночуют,
И облака вверху, как призраки, кочуют.

Осенних листьев ссохлось вещество
И землю всю устлало. В отдалении
На четырех ногах большое существо
Идет, мыча, в туманное селение.
Бык, бык! Ужели больше ты не царь?
Кленовый лист напоминает нам янтарь.

Дух Осени, дай силу мне владеть пером!
В строенье воздуха — присутствие алмаза.
Бык скрылся за углом,
И солнечная масса
Туманным шаром над землей висит,
И край земли, мерцая, кровенит.

Вращая круглым глазом из-под век,
Летит внизу большая птица.
В ее движенье чувствуется человек.
По крайней мере, он таится
В своем зародыше меж двух широких крыл.
Жук домик между листьев приоткрыл.

Архитектура Осени. Расположенье в ней
Воздушного пространства, рощи, речки,
Расположение животных и людей,
Когда летят по воздуху колечки
И завитушки листьев, и особый свет —
Вот то, что выберем среди других примет.

Жук домик между листьев приоткрыл
И, рожки выставив, выглядывает,
Жук разных корешков себе нарыл
И в кучку складывает,
Потом трубит в свой маленький рожок
И вновь скрывается, как маленький божок.

Но вот приходит ветер. Все, что было чистым,
Пространственным, светящимся, *сухим*, —
Все стало серым, неприятным, мглистым,
Неразличимым. Ветер гонит дым,
Вращает воздух, листья валит ворохом
И верх земли взрывает порохом.

И вся природа начинает леденеть.
Лист клена, словно медь,
Звенит, ударившись о маленький сучок.
И мы должны понять, что это есть значок,
Который посылает нам природа,
Вступившая в другое время года.

1932

ВЕНЧАНИЕ ПЛОДАМИ

Плоды Мичурина, питомцы садовода,
Взращенные усильями народа,
Распределенные на кучи и холмы,
Как вы волнуете пытливые умы!
Как вы сияете своим прозрачным светом,
Когда, подобные светилам и кометам,
Лежите, образуя вокруг нас
Огромных яблоков живые вавилоны!
Кусочки солнц, включенные в законы
Людских судеб, мы породили вас
Для новой жизни и для высших правил.
Когда землей невежественно правил
Животному подобный человек,
Напоминали вы уродцев и калек
Среди природы дикой и могучей.
Вас червь глодал, и, налетая тучей,
Хлестал вас град по маленьким телам,
И ветер Севера бывал неласков к вам,
И ястреб, рощи царь, перед началом ночи
Выклевывал из вас сияющие очи,
И морщил кожицу, и соки леденил.

Преданье говорит, что Змей определил
Быть яблоку сокровищницей знаний.
Во тьме веков и в сумраке преданий
Встает пред нами рай, страна средь облаков,
Страна, среди светил висящая, где звери
С большими лицами блаженных чудаков
Гуляют, учатся и молятся химере.
И посреди сверкающих небес
Стоит, как башня, дремлющее древо.
Оно — центр сфер, и чудо из чудес,
И тайна тайн. Направо и налево
Огромные суки поддерживают свод

Густых листов. И сумрачно и строго
Сквозь яблоко вещает голос бога,
Что плод познанья — запрещенный плод.

Теперь, когда, соперничая с тучей,
Плоды, мы вызвали вас к жизни наилучшей,
Чтобы, самих себя переборов,
Вы не боялись северных ветров,
Чтоб зерна в вас окрепли и созрели,
Чтоб, дивно увеличиваясь в теле,
Не знали вы в развитии преград,
Чтоб наша жизнь была сплошной плодовый
сад, —
Скажите мне, какой чудесный клад
Несете вы поведать человеку?

Я заключил бы вас в свою библиотеку,
Я прочитал бы вас и вычислил закон,
Хранимый вами, и со всех сторон
Измерил вас, чтобы понять строенье
Живого солнца и его кипенье.

О маленькие солнышки! О свечки,
Зажженные средь мякоти! Вы — печки,
Распространяющие дивное тепло.
Отныне все прозрачно и кругло
В моих глазах. Земля в тяжелых сливах,
И тысячи людей, веселых и счастливых,
В ладонях держат персики, и барбарис
На шее девушки, блаженствуя, повис.
И новобрачные, едва поцеловавшись,
Глядят на нас, из яблок приподнявшись,
И мы венчаем их, и тысячи садов
Венчают нас венчанием плодов.

Когда плоды Мичурин создавал,
Преобразуя древний круг растений,
Он был Адам, который сознавал
Себя отцом грядущих поколений.
Он был Адам и первый садовод,
Природы друг и мудрости оплот,
И прах его, разрушенный годами,
Теперь лежит, увенчанный плодами.

1932—[1948]

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ

Могучий день пришел. Деревья встали прямо,
Вздохнули листья. В деревянных жилах
Вода закапала. Квадратное окошко
Над светлою землею распахнулось,
И все, кто были в башенке, сошлись
Взглянуть на небо, полное сиянья.

И мы стояли тоже у окна.
Была жена в своем весеннем платье,
И мальчик па руках ее сидел,
Весь розовый и голый, и смеялся,
И, полный безмятежной чистоты,
Смотрел на небо, где сияло солнце.

А там, внизу, деревья, звери, птицы,
Большие, сильные, мохнатые, живые,
Сошлись в кружок и на больших гитарах,
На дудочках, на скрипках, па волынках
Вдруг заиграли утреннюю песню,
Встречая нас. И все кругом запело.

И все кругом запело так, что козлик
И тот пошел скакать вокруг амбара.
И понял я в то золотое утро,
Что счастье человечества — бессмертно.

1932

ЛОДЕЙНИКОВ

1

В краю чудес, в краю живых растений,
Несовершенной мудростью дыша,
Зачем ты просишь новых впечатлений
И новых бурь, пытливая душа?
Не обольщайся призраком покоя:
Бывает жизнь обманчива на вид.
Настанет час, и утро роковое
Твои мечты, сверкая, ослепит.

2

Лодейников, закрыв лицо руками,
Лежал в саду. Уж вечер наступал.
Внизу, постукивая тонкими звонками,
Шел скот домой и тихо лопотал
Невнятные свои воспоминанья.
Травы холодное дыханье
Струилось вдоль дороги. Жук летел.
Лодейников открыл лицо и поглядел
В траву. Трава пред ним предстала
Стеной сосудов. И любой сосуд
Светился жилками и плотью. Трепетала
Вся эта плоть и вверх росла, и гуд
Шел по земле. Прищелкивая по суставам,
Пришлепывая, странно шевелясь,
Огромный лес травы вытягивался вправо,
Туда, где солнце падало, светясь.
И то был бой травы, растений молчаливый бой.
Одни, вытягиваясь жирною трубой
И распустив листы, других собою мяли,
И напряженные их сочлененья выделяли

Густую слизь. Другие лезли в щель
Между чужих листов. А третьи, как в постель,
Ложились на соседа и тянули
Его назад, чтоб выбился из сил.

И в этот миг жук в дудку задудил.
Лодейников очнулся. Над селеньем
Всходил туманный рог луны,
И постепенно превращалось в пенье
Шуршанье трав и тишины.
Природа пела. Лес, подняв лицо,
Пел вместе с лугом. Речка чистым телом
Звенела вся, как звонкое кольцо.
В тумане белом
Трясли кузнечики сухими лапками,
Жуки стояли черными охапками,
Их голоса казалися сучками.
Блестя прозрачными очками,
По лугу шел красавец Соколов,
Играя на задумчивой гитаре.
Цветы его касались сапогов
И наклонялись. Маленькие твари
С размаху шлепались ему на грудь
И, бешено подпрыгивая, падали,
Но Соколов ступал по падали
И равномерно продолжал свой путь.

Лодейников заплакал. Светляки
Вокруг него зажгли свои лампадки,
Но мысль его, увы, играла в прятки
Сама с собой, рассудку вопреки.

3

В своей избушке, сидя за столом,
Он размышлял, исполненный печали.
Уже сгустились сумерки. Кругом
Ночные птицы жалобно кричали.
Из окон хаты шел дрожащий свет,
И в полосе неверного сиянья
Стояли яблони, как будто изваянья,

Возникшие из мрака древних лет.
Дрожащий свет из окон проливался
И падал так, что каждый лепесток
Среди туманных листьев выделялся
Прозрачной чашечкой, открытой на восток.
И все чудесное и милое растенье
Напоминало каждому из нас
Природы совершенное творенье,
Для совершенных вытканное глаз.

Лодейников склонился над листами,
И в этот миг привиделся ему
Огромный червь, железными зубами
Схвативший лист и прянувший во тьму.
Так вот она, гармония природы,
Так вот они, ночные голоса!
Так вот о чем шумят во мраке воды,
О чем, вздыхая, шепчутся леса!
Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.

А свет луны летел из-за карниза,
И, нарумянив серое лицо,
Наследница хозяйская Лариса
В суконной шляпке вышла на крыльцо.
Лодейников ей был неинтересен:
Хотелось ей веселья, счастья, песен, —
Он был угрюм и скучен. За рекой
Плясал девиц многообразный рой.
Там Соколов ходил с своей гитарой,
К нему, к нему! Он песни распевал,
Он издевался над любою парой
И, словно бог, красоток целовал.

4

Суровой осени печален поздний вид.
Уныло спят безмолвные растенья.
Над крышами пустынного селенья
Заря небес болезненно горит.
Закрылись двери маленьких избушек,
Сад опустел, безжизненны поля,
Вокруг деревьев мерзлая земля
Покрыта ворохом блестящих завитушек,
И небо хмурится, и мчится ветер к нам,
Рубаху дерева сгибая пополам.

О, слушай, слушай хлопанье рубах!
Ведь в каждом дереве сидит могучий Бах,
И в каждом камне Ганнибал таится...
И вот Лодейникову по ночам не спится:
В оркестрах бурь он слышит пред собой
Напев лесов, тоскующий и страстный...
На станции однажды в день ненастный
Простился он с Ларисой молодой.

Как изменилась бедная Лариса!
Все, чем прекрасна молодость была,
Она по воле странного каприза
Случайному знакомцу отдала.
Еще в душе холодной Соколова
Не высох след ее последних с л е з , —
Осенний вихрь ворвался в мир былого,
Разбил его, развеял и унес.
Ах, Лара, Лара, глупенькая Лара,
Кто мог тебе, краса моя, помочь?
Сквозь жизнь твою прошла его гитара
И этот голос, медленный, как ночь.
Дубы в ту ночь так сладко шелестели,
Цвела сирень, черемуха цвела,
И так тебе певцы ночные пели,
Как будто впрямь невестой ты была.
Как будто впрямь серебряной фатою
Был этот сад сверкающий покрыт...
И только выпь кричала за рекою
Вплоть до зари и плакала навзрыд.

Из глубины безмолвного вагона,
Весь сгорбившись, как немощный старик,
В последний раз печально и влюбленно
Лодейников взглянул на милый лик.
И поезд тронулся. Но голоса растений
Неслись вослед, качаясь и дрожа,
И сквозь тяжелый мрак миротворенья
Рвалась вперед бессмертная душа
Растительного мира. Час за часом
Бежало время. И среди полей
Огромный город, возникая разом,
Зажегся вдруг миллионами огней.
Разрозненного мира элементы
Теперь слились в один согласный хор,
Как будто, пробуя лесные инструменты,
Вступал в природу новый дирижер.
Орг*а*нам скал давал он вид забоев,
Оркестрам рек — железный бег турбин
И, хищника отвадив от разбоев,
Торжествовал, как мудрый исполин.
И в голоса нестройные природы
Уже вплетался первый стройный звук,
Как будто вдруг почувствовали воды,
Что не смертелен тяжкий их недуг.
Как будто вдруг почувствовали травы,
Что есть на свете солнце вечных дней,
Что не они во всей вселенной правы,
Но только он — великий чародей.

Суровой осени печален поздний вид,
Но посреди ночного небосвода
Она горит, твоя звезда, природа,
И вместе с ней душа моя горит.

1932—1947

ПРОЩАНИЕ

Памяти С. М. Кирова

Прощание! Скорбное слово!
Безгласное темное тело.
С высот Ленинграда сурово
Холодное небо глядело.
И молча, без грома и пенья,
Все три боевых поколенья
В тот день бесконечной толпою
Прошли, расставаясь с тобою.

В холодных садах Ленинграда,
Забытая в траурном марше,
Огромных дубов колоннада
Стояла, как будто на страже.
Казалось, высоко над нами
Природа сомкнулась рядами
И тихо рыдала и пела,
Узнав неподвижное тело.

Но видел я дальние дали
И слышал с друзьями моими,
Как дети детей повторяли
Его незабвенное имя.
И мир исполински прекрасный
Сиял над могилой безгласной,
И был он надежен и крепок,
Как сердца погибшего слепок.

1934

НАЧАЛО ЗИМЫ

Зимы холодное и ясное начало
Сегодня в дверь мою три раза простучало.
Я вышел в поле. Острый, как металл,
Мне зимний воздух сердце спеленал,
Но я вздохнул и, разгибая спину,
Легко сбежал с пригорка на равнину,
Сбежал и вздрогнул: речки страшный лик
Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник.

Заковывая холодом природу,
Зима идет и руки тянет в воду.
Река дрожит и, чуя смертный час,
Уже открыть не может томных глаз,
И все ее беспомощное тело
Вдруг страшно вытянулось и оцепенело
И, еле двигая свинцовою волной,
Теперь лежит и бьется головой.

Я наблюдал, как речка умирала,
Не день, не два, но только в этот миг,
Когда она от боли застонала,
В ее сознанье, кажется, проник.
В печальный час, когда исчезла сила,
Когда вокруг не стало никого,
Природа в речке нам изобразила
Скользящий мир сознанья своего.

И уходящий трепет размышленья
Я, кажется, прочел в глухом ее томленье,
И в выраженье волн предсмертные черты
Вдруг уловил. И если знаешь ты,
Как смотрят люди в день своей кончины,
Ты взгляд реки поймешь. Уже до середины
Смертельно почерневшая вода
Чешуйками подергивалась льда.

И я стоял у каменной глазницы,
Ловил на ней последний отблеск дня.
Огромные внимательные птицы
Смотрели с елки прямо на меня.
И я ушел. И ночь уже спустилась.
Крутился ветер, падая в трубу.
И речка, вероятно, еле билась,
Затвердевая в каменном гробу.

1935

ВЕСНА В ЛЕСУ

Каждый день на косогоре я
Пропадаю, милый друг.
Вешних дней лаборатория
Расположена вокруг.

В каждом маленьком растеньице,
Словно в колбочке живой,
Влага солнечная пенится
И кипит сама собой.

Эти колбочки исследовав,
Словно химик или врач,
В длинных перьях фиолетовых
По дороге ходит грач.

Он штудирует внимательно
По тетрадке свой урок
И больших червей питательных
Собирает детям впрок.

А в глуши лесов таинственных,
Нелюдимый, как дикарь,
Песню прадедов воинственных
Начинает петь глухарь.

Словно идолище древнее,
Обезумев от греха,
Он рокочет за деревнею
И колышет потроха.

А на кочках под осинами,
Солнца празднуя восход,
С причитаньями старинными
Водят зайцы хоровод.

Лапки к лапкам прижимаючи,
Вроде маленьких ребят,
Про свои обиды заячьи
Монотонно говорят.

И над песнями, над плясками
В эту пору каждый миг,
Населяя землю сказками,
Пламенеет солнца лик.

И, наверно, наклоняется
В наши древние леса,
И невольно улыбается
На лесные чудеса.

1935

ЗАСУХА

О солнце, раскаленное чрез меру,
Угасни, смилуйся над бедною землей!
Мир призраков колеблет атмосферу,
Дрожит весь воздух ярко-золотой.
Над желтыми лохмотьями растений
Плывут прозрачные фигуры испарений.
Как страшен ты, костлявый мир цветов,
Сожженных венчиков, расколотых листов,
Обезображенных, обугленных головок,
Где бродит стадо божиих коровок!

В смертельном обмороке бедная река
Чуть шевелит засохшими устами.
Украсив дно большими бороздами,
Ползут улитки, высунув рога.
Подводные кибиточки, повозки,
Коробочки из перла и известки,
Остановитесь! В этот страшный день
Ничто не движется, пока не пала тень.
Лишь вечером, как только за дубравы
Опустится багровый солнца круг,
Заплакав жалобно, придут в сознанье травы,
Вздохнут дубы, подняв остатки рук.

Но жизнь моя печальней во сто крат,
Когда болеет разум одинокий
И вымыслы, как чудища, сидят,
Поднявши морды над гнилой осокой.
И в обмороке смутная душа,
И, как улитки, движутся сомненья,
И на песках, колеблясь и дрожа,
Встают, как уголь, черные растенья.

И чтобы снова исцелился разум,
И дождь и вихрь пускай ударят разом!
Ловите молнию в большие фонари,
Руками черпайте кристальный свет зари,
И радуга, упавшая на плечи,
Пускай дома украсит человечьи.

Не бойтесь бурь! Пускай ударит в грудь
Природы очистительная сила!
Ей все равно с дороги не свернуть,
Которую сознанье начертило.
Учительница, девственница, мать,
Ты не богиня, да и мы не боги,
Но все-таки как сладко понимать
Твои бессвязные и смутные уроки!

1936

НОЧНОЙ САД

О, сад ночной, таинственный орган,
Лес длинных труб, приют виолончелей!
О, сад ночной, печальный караван
Немых дубов и неподвижных елей!

Он целый день метался и шумел.
Был битвой дуб, и тополь — потрясеньем.
Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,
Переплетались в воздухе осеннем.

Железный Август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой дичи.
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе мелькали тельца птичьи.

И сад умолк, и месяц вышел вдруг,
Легли внизу десятки длинных теней,
И толпы лип вздымали кисти рук,
Скрывая птиц под купами растений.

О, сад ночной, о, бедный сад ночной,
О, существа, заснувшие надолго!
О, вспыхнувший над самой головой
Мгновенный пламень звездного осколка!

1936

ВСЕ, ЧТО БЫЛО В ДУШЕ

Все, что было в душе, все как будто опять потерялось,
И лежал я в траве, и печалью и скукой томим,
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним.

И тогда я открыл свою книгу в большом переплете,
Где на первой странице растения виден чертеж.
И черна и мертва, протянулась от книги к природе
То ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь.

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье
И как будто пытался чужую премудрость понять.
Трепетало в листах непривычное мысли движенье,
То усилие воли, которое не передать.

И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно
проснулась,
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.

1936

ВЧЕРА, О СМЕРТИ РАЗМЫШЛЯЯ

Вчера, о смерти размышляя,
Ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
Из тьмы лесов смотрела на меня.

И нестерпимая тоска разъединенья
Пронзила сердце мне, и в этот миг
Все, все услышал я — и трав вечерних пенье,
И речь воды, и камня мертвый крик.

И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.

И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.

И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

1936

СЕВЕР

В воротах Азии, среди лесов дремучих,
Где сосны древние стоят, купая в тучах
Свои закованные холодом верхи;
Где волка валит с ног дыханием пурги;
Где холодом охваченная птица
Летит, летит и вдруг, затрепетав,
Повиснет в воздухе, и кровь ее сгустится,
И птица падает, замерзшая, стремглав;
Где в желобах своих гробообразных,
Составленных из каменного льда,
Едва течет в глубинах рек прекрасных
От наших взоров скрытая вода;
Где самый воздух, острый и блестящий,
Дает нам счастье жизни настоящей,
Весь из кристаллов холода сложен;
Где солнца шар короной окружен;
Где люди с ледяными бородами,
Надев на голову конический треух,
Сидят в санях и длинными столбами
Пускают изо рта оледенелый дух;
Где лошади, как мамонты в оглоблях,
Бегут, урча; где дым стоит на кровлях,
Как изваяние, пугающее глаз;
Где снег, сверкая, падает на нас
И каждая снежинка на ладони
То звездочку напомнит, то кружок,
То вдруг цилиндриком блеснет на небосклоне,
То крестиком опустится у ног;
В воротах Азии, в объятиях метели,
Где сосны в шубах и в тулупах ели, —
Несметные богатства затая,
Лежит в сугробах родина моя.

А дальше к Северу, где океан полярный
Гудит всю ночь и перпендикулярный
Над головою поднимает лед,
Где, весь оледенелый, самолет
Свой тяжкий винт едва-едва вращает
И дальние зимовья навещает, —
Там тень «Челюскина» среди отвесных плит,
Как призрак царственный, над пропастью стоит,

Корабль недвижим. Призрак величавый,
Что ты стоишь с твоею чудной славой?
Ты — пар воображенья, ты — фантом,
Но подвиг твой — свидетельство о том,
Что здесь, на Севере, в средине льдов тяжелых,
Разрезав моря каменную грудь,
Флотилии огромных ледоколов
Необычайный вырубили путь.
Как бронтозавры каменного века,
Они прошли, созданья человека,
Плавучие вместилища чудес,
Бия винтами, льдам наперерез.
И вся природа мертвыми руками
Простерлась к ним, но, брошенная вспять,
Горой отчаянья легла над берегами
И не посмела головы поднять.

1936

ГОРИЙСКАЯ СИМФОНИЯ

Есть в Грузии необычайный город.
Там буйволы, засунув шею в ворот,
Стоят, как боги древности седой,
Склонив рога над шумною водой.
Там основанья каменные хижин
Из первобытных сложены булыжин
И тополя, расставленные в ряд,
Подняв над миром трепетное тело,
По-карталински медленно шумят
О подвигах великого картвела.

И древний холм в уборе ветхих башен
Царит вверху, и город, полный сил,
Его суровым бременем украшен,
Все племена в себе объединил.
Взойди на холм, прислушайся к дыханью
Камней и трав, и, сдерживая дрожь,
Из сердца вырвавшийся гимн существованью
Счастливый, ты невольно заноешь.

Как широка, как сладостна долина,
Теченье рек как чисто и легко,
Как цепи гор, слагаясь воедино,
Преображенные, сияют далеко!
Живой язык проснувшейся природы
Здесь учит нас основам языка,
И своды слов стоят, как башен своды,
И мысль течет, как горная река.

Ты помнишь вечер? Солнце опускалось,
Дымился неба купол голубой.
Вся Карталиния в огнях переливалась,
Мычали буйволы, качаясь над Курой.
Замолкнул город, тих и неподвижен,

И эта хижина, беднейшая из хижин,
Казалась нам и меньше и темней.
Но как влеклось мое сознанье к ней!

Припоминая отрочества годы,
Хотел понять я, как в такой глуши
Образовался действием природы
Первоначальный строй его души.
Как он смотрел в небес огромный купол,
Как гладил буйвола, как свой твердил урок,
Как в тайниках души своей баюкал
То, что еще и высказать не мог.

Привет тебе, о Грузия моя,
Рожденная в страданиях и буре!
Привет вам, виноградники, поля,
Гром трактора и пенье чианури!
Привет тебе, мой брат имеретин,
Привет тебе, могучий карталинец,
Мегрел задумчивый и ловкий осетин,
И с виноградной чашей кахетинец!
Привет тебе, могучий мой Кавказ,
Короны гор и пропасти ущелий,
Привет тебе, кто слышал в первый раз
Торжественное пенье Руставели!

Приходит ночь, и песня на устах
У всех, у всех от Мцхета до Сигнаха.
Поет хевсур, весь в ромбах и крестах,
Свой щит и меч повесив в Барисахо.
Из дальних гор, из каменной избы
Выходят сваны длинной вереницей,
И воздух прорезает звук трубы,
И скалы отвечают ей сторицей.
И мы садимся около костров,
Вздымаем чашу дружеского пира,
И «Мравалжамиер» гремит в стране отцов —
Заздравный гимн проснувшегося мира.

И снова утро всходит над землею.
Прекрасен мир в начале октября!
Скрипит арба, народ бежит толпою,

И персики, как нежная заря,
Мерцают из раскинутых корзинок.
О, двух миров могучий поединок!
О, крепость мертвая на каменной горе!
О, спор веков и битва в Октябре!
Пронзен весь мир с подножья до зенита,
Исчез племен несовершенный быт,
И план, начертанный на скалах из гранита,
Перед народами открыт.

1936

СЕДОВ

Он умирал, сжимая компас верный.
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный
Через туман просвечивал с трудом.
Лохматые, с ремнями на груди,
Свой легкий груз собаки чуть влачили.
Корабль, затертый в ледяной могиле,
Уж далеко остался позади.
И целый мир остался за спиною!
В страну безмолвия, где полюс-великан,
Увенчанный тиарой ледяною,
С меридианом свел меридиан;
Где полукруг полярного сиянья
Копьем алмазным небо пересек;
Где вековое мертвое молчанье
Нарушить мог один лишь человек, —
Туда, туда! В страну туманных бредней,
Где обрывается последней жизни нить!
И сердца стон, и жизни миг последний —
Все, все отдать, но полюс победить!

Он умирал посереди дороги,
Болезнями и голодом томим.
В цинготных пятнах ледяные ноги,
Как бревна, мертвые лежали перед ним.
Но странно! В этом полумертвом теле
Еще жила великая душа:
Превозмогая боль, едва дыша,
К лицу приблизив компас еле-еле,
Он проверял по стрелке свой маршрут
И гнал вперед свой поезд погребальный...
О край земли, угрюмый и печальный!
Какие люди побывали тут!

И есть на дальнем Севере могила...
Вдали от мира высится она.
Один лишь ветер воет там уныло,
И снега ровная блистает пелена.
Два верных друга, чуть живые оба,
Среди камней героя погребли,
И не было ему простого даже гроба,
Щепотки не было родной ему земли.
И не было ему ни почестей военных,
Ни траурных салютов, ни венков,
Лишь два матроса, стоя на коленях,
Как дети, плакали одни среди снегов.

Но люди мужества, друзья, не умирают!
Теперь, когда над нашей головой
Стальные вихри воздух рассекают
И пропадают в дымке голубой,
Когда, достигнув снежного зенита,
Наш флаг над полюсом колеблется, крылат,
И обозначены углом теодолита
Восход луны и солнечный закат, —
Друзья мои, на торжестве народном
Помянем тех, кто пал в краю холодном!

Вставай, Седов, отважный сын земли!
Твой старый компас мы сменили новым,
Но твой поход на Севере суровом
Забыть в своих походах не могли.
И жить бы нам на свете без предела,
Вгрызаясь в льды, меняя русла рек, —
Отчизна воспитала нас и в тело
Живую душу вдунула навек.
И мы пойдем в урочища любые,
И, если смерть застигнет у снегов,
Лишь одного просил бы у судьбы я:
Так умереть, как умирал Седов.

1937

ГОЛУБИНАЯ КНИГА

В младенчестве я слышал много раз
Полузабытый прадедов рассказ
О книге сокровенной... За рекою
Кровавый луч зари, бывало, чуть горит,
Уж спать пора, уж белой пеленою
С реки ползет туман и сердце леденит,
Уж бедный мир, забыв свои страданья,
Затихнул весь, и только вдалеке
Кузнечик, маленький работник мирозданья,
Все трудится, поет, не требуя вниманья, —
Один, на непонятном языке...
О тихий час, начало летней ночи!
Деревня в сумерках. И возле темных хат
Седые пахари, полузакрывши очи,
На бревнах еле слышно говорят.

И вижу я сквозь темноту ночную,
Когда огонь над трубкой вспыхнет вдруг,
То спутанную бороду седую,
То жилы выпуклые истомленных рук.
И слышу я знакомое сказанье,
Как правда кривду вызвала на бой,
Как одолела кривда, и крестьяне
С тех пор живут обижены судьбой.
Лишь далеко на океане-море,
На белом камне, посредине вод,
Сияет книга в золотом уборе,
Лучами упираясь в небосвод.
Та книга выпала из некой грозной тучи,
Все буквы в ней цветами проросли,
И в ней написана рукой судеб могучей
Вся правда сокровенная земли.
Но семь на ней повешено печатей,

И семь зверей ту книгу стерегут,
И велено до той поры молчать ей,
Пока печати в бездну не спадут.

А ночь горит над тихою землею,
Дрожащим светом залиты поля,
И высоко плывут над головою
Туманные ночные тополя.
Как сказка — мир. Сказания народа,
Их мудрость темная, но милая вдвойне,
Как эта древняя могучая природа,
С младенчества запали в душу мне...

Где ты, старик, рассказчик мой ночной?
Мечтал ли ты о правде трудовой
И верил ли в годину искупленья?
Не знаю я... Ты умер, наг и сир,
И над тобою, полные кипенья,
Давно шумят иные поколенья,
Угрюмый перестраивая мир.

1937

МЕТАМОРФОЗЫ

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
И в землю устремил пронзительное око,
Он увидал бы там, среди могил, глубоко
Лежащего меня. Он показал бы мне
Меня, колеблемого на морской волне,
Меня, летящего по ветру в край незримый, —
Мой бедный прах, когда-то так любимый.

А я все жив! Все чище и полней
Объемлет дух скопленье чудных тварей.
Жива природа. Жив среди камней
И злак живой, и мертвый мой гербарий.
Звено в звено и форма в форму. Мир
Во всей его живой архитектуре —
Орган поющий, море труб, клавир,
Не умирающий ни в радости, ни в буре.

Как все меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком;
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
Опять растет и мир растений множит.
Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть
Бессмертием. О, суеверья наши!

1937

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Опять мне блеснула, окована сном,
Хрустальная чаша во мраке лесном.

Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья,
Где пьют насекомые сок из растенья,
Где буйствуют стебли и стонут цветы,
Где хищная тварями правит природа,
Пробрался к тебе я и замер у входа,
Раздвинув руками сухие кусты.

В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок
Лежал целомудренной влаги кусок,
Убежище рыб и пристанище уток.
Но странно, как тихо и важно кругом!
Откуда в трущобах такое величье?
Зачем не беснуется полчище птичье,
Но спит, убаюкано сладостным сном?
Один лишь кулик на судьбу негодует
И в дудку растенья бессмысленно дует.

И озеро в тихом вечернем огне
Лежит в глубине, неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят в вышине,
Смыкаясь рядами от края до края.
Бездонная чаша прозрачной воды
Сияла и мыслила мыслью отдельной.
Так око больного в тоске беспредельной
При первом сиянье вечерней звезды,
Уже не сочувствуя телу больному,
Горит, устремленное к небу ночному.
И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь елки рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей
Склонялись воды животворной напиться.

1938

СОЛОВЕЙ

Уже умолкала лесная капелла.
Едва открывал свое горлышко чижик.
В коронке листов соловьиное тело
Одно, не смолкая, над миром звенело.

Чем больше я гнал вас, коварные страсти,
Тем меньше я мог насмехаться над вами.
В твоей ли, пичужка ничтожная, власти
Безмолвствовать в этом сияющем храме?

Косые лучи, ударяя в поверхность
Прохладных листов, улетали в пространство.
Чем больше тебя я испытывал, верность,
Тем меньше я верил в твое постоянство.

А ты, соловей, пригвожденный к искусству,
В свою Клеопатру влюбленный Антоний,
Как мог ты довериться, бешеный, чувству,
Как мог ты увлечься любовной погоней?

Зачем, покидая вечерние рощи,
Ты сердце мое разрываешь на части?
Я болен тобою, а было бы проще
Расстаться с тобою, уйти от напасти.

Уж так, видно, мир этот создан, чтоб звери,
Родители первых пустынных симфоний,
Твои восклицанья услышав в пещере,
Мычали и выли: «Антоний! Антоний!»

1939

СЛЕПОЙ

С опрокинутым в небо лицом,
С головой непокрытой,
Он торчит у ворот,
Этот проклятый богом старик.
Целый день он поет,
И напев его грустно-сердитый,
Ударяя в сердца,
Поражает прохожих на миг.

А вокруг старика
Молодые шумят поколенья.
Расцветая в садах,
Сумасшедшая стонет сирень.
В белом гроте черемух
По серебряным листьям растений
Поднимается к небу
Ослепительный день...

Что ж ты плачешь, слепец?
Что томишься напрасно весною?
От надежды былой
Уж давно не осталось следа.
Черной бездны твоей
Не укроешь весенней листвою,
Полумертвых очей
Не откроешь, увы, никогда.

Да и вся твоя жизнь —
Как большая привычная рана.
Не любимец ты солнцу,
И природе не родственник ты.
Научился ты жить
В глубине векового тумана,
Научился смотреть
В вековое лицо темноты...

И боюсь я подумать,
Что где-то у края природы
Я такой же слепец
С опрокинутым в небо лицом.
Лишь во мраке души
Наблюдаю я вешние воды,
Собеседую с ними
Только в горестном сердце моем.

О, с каким я трудом
Наблюдаю земные предметы,
Весь в тумане привычек,
Невнимательный, суетный, злой!
Эти песни мои —
Сколько раз они в мире пропеты!
Где найти мне слова
Для возвышенной песни живой?

И куда ты влечешь меня,
Темная грозная муза,
По великим дорогам
Необъятной отчизны моей?
Никогда, никогда
Не искал я с тобою союза,
Никогда не хотел
Подчиняться я власти твоей, —

Ты сама меня выбрала,
И сама ты мне душу пронзила,
Ты сама указала мне
На великое чудо земли...
Пой же, старый слепец!
Ночь подходит. Ночные светила,
Повторяя тебя,
Равнодушно сияют вдали.

1946

УТРО

Петух запевает, светает, пора!
В лесу под ногами гора серебра.
Там черных деревьев стоят батальоны,
Там елки как пики, как выстрелы — клены,
Их корни как шкворни, сучки как стропила,
Их ветры ласкают, им светят светила.
Там дятлы, качаясь на дубе сыром,
С утра вырубают своим топором
Угрюмые ноты из книги дубрав,
Короткие головы в плечи вобрав.
Рожденный пустыней,
Колеблется звук,
Колеблется синий
На нитке паук.
Колеблется воздух,
Прозрачен и чист,
В сияющих звездах
Колеблется лист.
И птицы, одетые в светлые шлемы,
Сидят на воротах забытой поэмы,
И девочка в речке играет нагая
И смотрит на небо, смеясь и мигая.
Петух запевает, светает, пора!
В лесу под ногами гора серебра.

1946

ГРОЗА

Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,
Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой.
Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,
Низко стелется птица, пролетев над моей головой.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь
вдохновенья,
Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке,
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов — первых слов на родном языке.

Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева,
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
Увидавшие небо стада.

А она над водой, над просторами круга земного,
Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы,
И, играя громами, в белом облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.

1946

БЕТХОВЕН

В тот самый день, когда твои созвучья
Преодолели сложный мир труда,
Свет пересилил свет, прошла сквозь тучу туча,
Гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда.

И яростным охвачен вдохновеньем,
В оркестрах гроз и трепете громов,
Поднялся ты по облачным ступеням
И прикоснулся к музыке миров.

Дубравой труб и озером мелодий
Ты превозмог нестройный ураган,
И крикнул ты в лицо самой природе,
Свой львиный лик просунув сквозь орган.

И пред лицом пространства мирового
Такую мысль вложил ты в этот крик,
Что слово с воплем вырвалось из слова
И стало музыкой, венчая львиный лик,

В рогах быка опять запела лира,
Пастушьей флейтой стала кость орла,
И понял ты живую прелесть мира
И отделил добро его от зла.

И сквозь покой пространства мирового
До самых звезд прошел девятый вал...
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово,
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!

1946

УСТУПИ МНЕ, СКВОРЕЦ, УГОЛОК

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.

И свистит и бормочет весна.
По колено затоплены тополи.
Пробуждаются клены от сна,
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.

И такой на полях кавардак,
И такая ручьев околесица,
Что попробуй, покинув чердак,
Сломя голову в рощу не броситься!

Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории
Ты — наш первый весенний певец
Из березовой консерватории.

Открывай представленье, свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рощи березовой.

Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:
«Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется»,

А весна хороша, хороша!
Охватило всю душу сиренями.
Поднимай же скворешню, душа,
Над твоими садами весенними,

Поселись на высоком шесте,
Полыхая по небу восторгами,
Прилепись паутинкой к звезде
Вместе с птичьими скороговорками.

Повернись к мирозданью лицом,
Голубые подснежники чествуя,
С потерявшим сознанье скворцом
По весенним полям путешествуя.

1946

ЧИТАЙТЕ, ДЕРЕВЬЯ, СТИХИ ГЕЗИОДА

Читайте, деревья, стихи Гезиода,
Дивись Оссиановым гимнам, рябина!
Не меч ты поднимешь сегодня, природа,
Но школьный звонок над щитом Кухулина.
Еще заливаются ветры, как барды,
Еще не смолкают березы Морвена,
Но зайцы и птицы садятся за парты
И к зверю девятая сходит Камена.
Березы, вы школьницы! Полно калякать,
Довольно скакать, задирая подолы!
Вы слышите, как через бурю и слякоть
Ревут водопады, спрягая глаголы?
Вы слышите, как перед зеркалом речек,
Под листьями ивы, под лапами ели,
Как маленький Гамлет, рыдает кузнечик,
Не в силах от вашей уйти канители?
Опять ты, природа, меня обманула,
Опять провела меня за нос, как сводня!
Во имя чего среди ливня и гула
Опять, как безумный, брожу я сегодня?
В который ты раз мне твердишь, потаскуха,
Что здесь, на пороге всеобщего тленья,
Не место бессмертным иллюзиям духа,
Что жизнь продолжается только мгновенье!
Вот так я тебе и поверил! Покуда
Не вытряхнут душу из этого тела,
Едва ли иного достоин я чуда,
Чем то, от которого сердце запело.
Мы, люди, — хозяева этого мира,
Его мудрецы и его педагоги,
Затем и поет Оссианова лира
Над чащею леса, у края берлоги.
От моря до моря, от края до края
Мы учим и пестуем младшего брата,
И бабочки, в солнечном свете играя,
Садятся на лысое темя Сократа.

1946

ЕЩЕ ЗАРЯ НЕ ВСТАЛА НАД СЕЛОМ

Еще заря не встала над селом,
Еще лежат в саду десятки теней,
Еще блистает лунным серебром
Замерзший мир деревьев и растений.

Какая ранняя и звонкая зима!
Еще вчера был день прозрачно-синий,
Но за ночь ветер вдруг сошел с ума,
И выпал снег, и лег на листья иней.

И я смотрю, задумавшись, в окно.
Над крышами соседнего квартала,
Прозрачным пламенем своим окружено,
Восходит солнце медленно и вяло.

Седых берез волшебные ряды
Метут снега безжизненной куделью.
В кристалл холодный убраны сады,
Внезапно занесенные метелью.

Мой старый пес стоит, насторожась,
А снег уже блистает перламутром,
И все яснее чувствуется связь
Души моей с холодным этим утром.

Так на заре просторных зимних дней
Под сенью замерзающих растений
Нам предстают свободней и полней
Живые силы наших вдохновений.

1946

В ЭТОЙ РОЩЕ БЕРЕЗОВОЙ

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей, —
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.

Пролетев над поляною
И людей увидав с высоты,
Избрала деревянную
Неприметную дудочку ты,
Чтобы в свежести утренней,
Посетив человечье жилье,
Целомудренно бедной заутреней
Встретить утро мое.

Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума
Содрогаются атомы,
Белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг.
Где ж ты, иволга, леса отшельница?
Что ты смолкла, мой друг?

Окруженная взрывами,
Над рекой, где чернеет камыш,
Ты летишь над обрывами,
Над руинами смерти летишь.
Молчаливая странница,
Ты меня провожаешь на бой,
И смертельное облако тянется
Над твоей головой.

За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.

И над рощей березовой,
Над березовой рощей моей,
Где лавиною розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка,—
Встанет утро победы торжественной
На века.

1946

ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В крылатом домике, высоко над землей,
Двумя ревущими моторами влекомый,
Я пролетал вчера дорогой незнакомой,
И облака, скользя, толпились подо мной.

Два бешеных винта, два трепета земли,
Два грозных грохота, две ярости, две бури,
Сливая лопасти с блистанием лазури,
Влекли меня вперед. Гремели и влекли.

Лентообразных рек я видел перелив,
Я различал полей зеленоватых призму,
Туманно-синий лес, прижатый к организму
Моей живой земли, гнездился между нив.

Я к музыке винтов прислушивался, я
Согласный хор винтов распределял на части,
Я изучал их песнь, я понимал их страсти,
Я сам изнемогал от счастья бытия.

Я посмотрел в окно, и сквозь прозрачный дым
Блистательных хребтов суровые вершины,
Торжественно скользя под грозный рев машины,
Дохнули мне в лицо дыханьем ледяным.

И вскрикнула душа, узнав тебя, Кавказ!
И солнечный поток, прорезав тело тучи,
Упал, дымясь, на кристаллические кучи
Огромных ледников, и вспыхнул, и погас.

И далеко внизу, расправив два крыла,
Скользило подо мной подобье самолета.
Казалось, из долин за нами гнался кто-то,
Похитив свой наряд и перья у орла.

Быть может, это был неистовый Икар,
Который вырвался из пропасти вселенной,
Когда напев винтов с их тяжестью мгновенной
Нанес по воздуху стремительный удар.

И вот он гонится над пропастью земли,
Как привидение летающего грека,
И славит хор винтов победу человека,
И Грузия моя встречает нас вдали.

1947

ХРАМГЭС

Плоскогорие Цалки, твою высоту
Стерегут, обступив, Триалетские скалы.
Ястреб в небе парит, и кричит на лету,
И приветствует яростным воплем обвалы.

Здесь в бассейнах священная плещет форель,
Здесь стада из разбитого пьют саркофага,
Здесь с ума археологи сходят досель,
Открывая гробницы на склоне оврага.

Здесь История пела, как дева, вчера,
Но сегодня от грохота дрогнули горы,
Титанических взрывов взвились веера,
И взметнулись ракет голубых метеоры.

Там, где волны в ущелье пробили проход,
Многотонный бетон пересек горловину,
И река, закипев у подземных ворот,
Покатилась, бушуя, обратно в долину.

Словно пойманный зверь, зарычала она,
Вырывая орешник, вздымая каменья,
Заливая печальных гробниц письмена,
Где давно позабытые спят поколенья.

Опустись, моя муза, в глубокий тоннель!
Ты — подружка гидравлики, сверстница тока.
Пред тобой в глубине иверийских земель
Зажигается новое солнце Востока.

Ты послушай, как свищет стальной соловей,
Как трепещет в бетоне железный вибратор,
Опусти свои очи в зияющий кратер,
Что уходит в скалу под ногою твоей.

Здесь грузинские юноши, дети страны,
Словно зодчие мира, под звуки пандури
Заключили в трубу завывание бури
И в бетон заковали кипенье волны.

Нас подхватит волна, мы помчимся с тобой,
Мы по трубам низринемся в бездну ущелья,
Где раструбы турбин в хороводе веселья
Заливаются песней своей громовой.

Из пространств генератора мы полетим
Высоко над землей по струне передачи,
Мы забудем с тобою про все неудачи,
Наслаждаясь мгновенным полетом своим.

Над Курою огромные звезды горят,
Словно воины, встали вокруг кипарисы,
И залитые светом кварталы Тбилиси
О грядущих веках до утра говорят.

1947

САГУРАМО

Я твой родничок, Сагурамо,
Наверно, вовек не забуду.
Здесь каменных гор панорама
Вставала, подобная чуду.

Здесь гор изумрудная груда
В одежде из груш и кизила,
Как некое древнее чудо,
Навек мое сердце пленила.

Спускаясь с высот Зедазени,
С развалин старинного храма,
Я видел, как тропы оленьи
Бежали к тебе, Сагурамо.

Здесь птицы, как малые дети,
Смотрели в глаза человечьи
И пели мне песню о лете
На птичьем блаженном наречье.

И в нише из древнего камня,
Где ласточек плакала стая,
Звучала струя родника мне,
Дугою в бассейн упадая.

И днем, над работой склоняясь,
И ночью, проснувшись в постели,
Я слышал, как, в окна врываясь,
Холодные струи звенели.

И мир превращался в огромный
Певучий источник величья,
И, песней его изумленный,
Хотел его тайну постичь я.

И спутники Гурамишвили,
Вставая из бездны столетий,
К постели моей подходили,
Рыдая, как малые дети.

И туч поднимались волокна,
И дождь барабанил по крыше,
И с шумом в открытые окна
Врывались летучие мыши.

И сердце Ильи Чавчавадзе
Гремело так громко и близко,
Что молнией стала казаться
Вершина его обелиска.

Я вздрагивал, я просыпался,
Я с треском захлопывал ставни,
И снова мне в уши врывался
Источник, звенящий на камне.

И каменный храм Зедазени
Пылал над блистательным Мцхетом,
И небо тропинки оленьи
Своим заливало рассветом.

1947

НОЧЬ В ПАСАНАУРИ

Сияла ночь, играя на пандури,
Луна плыла в убежище любви,
И снова мне в садах Пасанаури
На двух Арагвах пели соловьи.

С Крестового спустившись перевала,
Где в мае снег и каменистый лед,
Я так устал, что не желал нимало
Ни соловьев, ни песен, ни красот.

Под звуки соловьиного напева
Я взял фонарь, разделся догола,
И вот река, как бешеная дева,
Мое большое тело обняла.

И я лежал, схватившись за каменья,
И надо мной, сверкая, выл поток,
И камни шевелились в исступленье
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,
Который колебался вдалеке,
И с берега огромная овчарка
Величественно двигалась к реке.

И вышел я на берег, словно воин,
Холодный, чистый, сильный и земной,
И гордый пес как божество спокоен,
Узнав меня, улегся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,
Изведав холод первобытных струй,
Я принял в сердце первый звук пандури,
Как в отрочестве — первый поцелуй.

1947

Я ТРОГАЛ ЛИСТЫ ЭВКАЛИПТА

Я трогал листы эвкалипта
И твердые перья агавы,
Мне пели вечернюю песню
Аджарии сладкие травы.
Магнолия в белом уборе
Склоняла туманное тело,
И синее-синее море
У берега бешено пело.

Но в яростном блеске природы
Мне снились московские рощи,
Где синее небо бледнее,
Растенья скромнее и проще.
Где нежная иволга стонет
Над светлым видением луга,
Где взоры печальные клонит
Моя дорогая подруга.

И вздрогнуло сердце от боли,
И светлые слезы печали
Упали на чаши растений,
Где белые птицы кричали.
А в небе, седые от пыли,
Стояли камфарные лавры
И в бледные трубы трубили,
И в медные били литавры.

1947

УРАЛ

Отрывок

Зима. Огромная, просторная зима.
Деревьев громкий треск звучит, как канонада.
Глубокий мрак ночей выводит терема
Сверкающих снегов над выступами сада.
В одежде кристаллической своей
Стоят деревья. Темные вороны,
Сшибая снег с опущенных ветвей,
Шарахаются, немощны и сонны.
В оттенках грифеля клубится ворох туч,
И звезды, пробиваясь посредине,
Свой синеватый движущийся луч
Едва влачат по ледяной пустыне.

Но лишь заря прорежет небосклон
И встанет солнце, как, подобно чуду,
Свет тысячи огней возникнет отовсюду,
Частицами снегов в пространство отражен.
И девственный пожар январского огня
Вдруг упадет на школьный палисадник,
И хоры петухов сведут с ума курятник,
И зимний день всплывет, ликуя и звеня.

В такое утро русский человек,
Какое б с ним ни приключилось горе,
Не может тосковать. Когда на косогоре
Вдруг заскрипел под валенками снег
И большеглазых розовых детей
Опять мелькнули радостные лица, —
Лариса поняла: довольно ей томиться,
Довольно мучиться. Пора очнуться ей!

В тот день она рассказывала детям
О нашей родине. И в глубину времен,

К прошедшим навсегда тысячелетьям
Был взор ее духовный устремлен.
И дети видели, как в глубине веков,
Образовавшись в огненном металле,
Платформы двух земных материков
Средь раскаленных лав затвердевали.
В огне и буре плавала Сибирь,
Европа двигала свое большое тело,
И солнце, как огромный нетопырь,
Сквозь желтый пар таинственно глядело.
И вдруг, подобно льдинам в ледоход,
Материки столкнулись. В небосвод
Метнулся камень, образуя скалы;
Расплавы звонких руд вонзились в интервалы
И трещины пород; подземные пары,
Как змеи, извиваясь меж камнями,
Пустоты скал наполнили огнями
Чудесных самоцветов. Все дары
Блистательной таблицы элементов
Здесь улеглись для наших инструментов
И затвердели. Так возник Урал.

Урал, седой Урал! Когда в былые годы
Шумел строительства первоначальный вал,
Кто, покоритель скал и властелин природы,
Коровой черных домн тебя короновал?
Когда магнитогорские мартены
Впервые выбросили свой стальной поток,
Кто отворил твои безжизненные стены,
Кто за собой сердца людей увлек
В кипучий мир бессмертных пятилеток?
Когда бы из могил восстал наш бедный предок
И посмотрел вокруг, чтоб целая страна
Вдруг сделалась ему со всех сторон видна, —
Как изумился б он! Из черных недр Урала,
Где царствуют топаз и турмалин,
Пред ним бы жизнь невиданная встала,
Наполненная пением машин.
Он увидал бы мощные громады
Магнитных скал, сползающих с высот,
Он увидал бы полный сил народ,
Трудящийся в громах подземной канонады,
И землю он свою познал бы в первый раз...

Не отрывая от Ларисы глаз,
Весь класс молчал, как бы завороженный.
Лариса чувствовала: огонек, зажженный
Ее словами, будет вечно жить
В сердцах детей. И совершилось чудо:
Воспоминаний горестная груда
Вдруг перестала сердце ей томить.
Что сердце? Сердце— воск. Когда ему блеснет
Огонь сочувственный, огонь родного края,
Растопится оно и, медленно сгорая,
Навстречу жизни радостно плывет.

1947

ГОРОД В СТЕПИ

1

Степным ветрам не писаны законы.
Пирамидальный склон воспламеня,
Всю ночь над нами тлеют терриконы —
Живые горы дыма и огня.
Куда ни глянь, от края и до края
На пьедесталах каменных пород
Стальные краны, в воздухе ныряя,
Свой медленный свершают оборот.
И вьется дым в искусственном ущелье,
И за составом движется состав,
И свищет ветер в бешеном веселье,
Над Казахстаном крылья распластав.

2

Какой простор для мысли и труда!
Какая сила дерзости и воли!
Кто, чародей, в необозримом поле
Воздвиг потомству эти города?
Кто выстроил пролеты колоннад,
Кто вылепил гирлянды на фронтонах,
Кто средь степей разбил испепеленных
Фонтанами взрывающийся сад?
А ветер стонет, свищет и гудит,
Рвет вымпела, над башнями играя,
И изваянье Ленина стоит,
В седые степи руку простирая.
И степь пылает на исходе дня,
И тень руки ложится на равнины,
И в честь вождя заводят песнь акыны,
Над инструментом голову склоня.
И затихают шорохи и вздохи,
И замолкают птичьи голоса,

И вопль певца из струнной суматохи,
Как вольный беркут, мчится в небеса.
Летит, летит, летит... остановился...
И замер где-то в солнце... А внизу
Переполох восторга прокатился,
С туманных струн рассыпав бирюзу.
Но странный голос, полный ликованья,
Уже вступил в особый мир чудес,
И целый город, затаив дыханье,
Следит за ним под куполом небес.
И Ленин смотрит в глубь седых степей,
И думою чело его объято,
И песнь летит, привольна и крылата,
И, кажется, конца не будет ей.
И далеко, в сиянии зари,
В своих широких шляпах из брезента
Шахтеры вторят звону инструмента
И поднимают к небу фонари.

3

Гомер степей на пегой лошаденке
Несется вдаль, стремительно красив.
Вослед ему летят сизоворонки,
Головки на закат поворотив.
И вот, ступив ногой на солончак,
Стоит верблюд, Ассаргадон пустыни,
Дитя печали, гнева и гордыни,
С тысячелетней тяжестью в очах.
Косматый лебедь каменного века,
Он плачет так, что слушать нету сил,
Как будто он, скиталец и калека,
Вкусив пространства, счастья не вкусил.
Закинув темя за предел земной,
Он медленно ворочает глазами,
И тамариск, обрызганный слезами,
Шумит пред ним серебряной волной.

4

Надев остроконечные папахи
И наклонясь на гриву скакуна,
Вокруг отар во весь опор казахи

Несутся, вьются, стиснув стремена.
И стрепет, вылетев из-под копыт,
Шарахается в поле, как лазутчик,
И солнце жжет верхи сухих колючек,
И на сто верст простор вокруг открыт.
И Ленин на холме Караганды
Глядит в необозримые просторы,
И вкруг него ликуют птичьи хоры,
Звенит домбра и плещет ток воды.
И за составом движется состав,
И льется уголь из подземной клети,
И ветер гонит тьму тысячелетий,
Над Казахстаном крылья распластав.

1947

В ТАЙГЕ

За высокий сугроб закатилась звезда,
Блещет месяц — глазам невтерпеж.
Кедр, владыка лесов, под наростами льда
На бриллиантовый замок похож.

Посреди кристаллически-белых громад
На седом телеграфном столбе,
Оседлав изоляторы, совы сидят,
И в лицо они смотрят тебе.

Запахнув на груди исполинский тулуп,
Ты стоишь над землянкой звена.
Крепко спит в тишине молодой лесоруб,
Лишь тебе одному не до сна.

Обнимая огромный канадский топор,
Ты стоишь, неподвижен и хмур.
Пред тобой голубую пустыню простер
Замурованный льдами Амур.

И далеко внизу полыхает пожар,
Рассыпая огонь по реке,
Это печи свои отворил сталевар
В Комсомольске, твоем городке.

Это он подмигнул в ледяную тайгу,
Это он побратался с тобой,
Чтобы ты не заснул на своем берегу,
Не замерз, околдован тайгой.

Так растет человеческой дружбы зерно,
Так в январской морозной пыли
Два могучие сердца, сливаясь в одно,
Пламенеют над краем земли.

1947

ТВОРЦЫ ДОРОГ

1

Рожок поет протяжно и *уныло*, —
Давно знакомый утренний сигнал!
Покуда медлит сонное светило,
В свои права вступает аммонал.
Над крутизною старого откоса
Уже трещат бикфордовы шнуры,
И вдруг — удар, и вздрогнула береза,
И взвыло чрево каменной горы.
И выдохнув короткий белый пламень
Под напряженьем многих атмосфер,
Завыл, запел, взлетел под небо камень,
И заволокся дымом весь карьер.
И равномерным грохотом обвала
До глубины своей потрясена,
Из тьмы лесов трущоба простонала,
И, простонав, замолкнула она.
Поет рожок над дальнею горою,
Восходит солнце, заливая лес,
И мы бежим нестройною толпою,
Подняв ломы, громам наперерез.
Так под напором сказочных гигантов,
Работающих тысячами рук,
Из недр вселенной ад поднялся Дантов
И, грохнув наземь, раскололся вдруг.
При свете солнца разлетелись страхи,
Исчезли толпы духов и теней.
И вот лежит, сверкающий во прахе,
Подземный мир блистательных камней.
И все черней становится и краше
Их влажный и неправильный излом.
О, эти расколовшиеся чаши,
Обломки звезд с оторванным крылом!
Кубы и плиты, стрелы и квадраты,
Мгновенно отвердевшие *грома*, —

Они лежат передо мной, разъяты
Одним усильем светлого ума.
Еще прохлада дышит вековая
Над грудью их, еще курится пыль,
Но экскаватор, черный ковш вздымая,
Уж сыплет их, урча, в автомобиль.

2

Угрюмый Север хмурился ревниво,
Но с каждым днем все жарче и быстрей
Навстречу льдам Берингова пролива
Неслась струя тропических морей.
Под непрерывный грохот аммонала,
Весенними лучами озарен,
Уже летел, раскинув опахала,
Огромный, как ракета, махаон.
Сиятельный и пышный самозванец,
Он, как светило, вздрагивал и плыл,
И вслед ему неслась толпа созданьиц,
Подвесив тельца меж лазурных крыл.
Кузнечики, согретые лучами,
Отщелкивали в воздухе часы,
Тяжелый жук, летающий скачками,
Влачил, как шлейф, гигантские усы.
И сотни тварей, на своей свирели
Однообразный поднимая вой,
Ползли, толклись, метались, пили, ели,
Вились, как столб, над самой головой.
И в куполе звенящих насекомых,
Среди болот и неподвижных мхов,
С вершины сопок, зноем опаленных,
Вздымался мир невиданных цветов.
Соперничая с блеском небосвода,
Здесь, посредине хлябей и камней,
Казалось, в небо бросила природа
Всю ярость красок, собранную в ней.
Над суматохой лиственных сплетений,
Над ураганом зелени и трав
Здесь расцвела сама душа растений,
Огромные цветы образовав.
Когда горят над сопками Стожары
И пенье сфер проносится вдали,

Колокола и сонные гитары
Им нежно откликаются с земли.
Есть хор цветов, не уловимый ухом,
Концерт тюльпанов и квартет лилей.
Быть может, только бабочкам и мухам
Он слышен ночью посреди полей.
В такую ночь соперница лазурей,
Вся сопка дышит, звуками полна,
И тварь земная музыкальной бурей
До глубины души потрясена.
И засыпая в первобытных норах,
Твердит она уже который век
Созвучья тех мелодий, о которых
Так редко вспоминает человек.

3

Рожок гудел, и сопка клокотала,
Узкоколейка пела у реки.
Подобье циклопического вала
Пересекало древний мир тайги.
Здесь, в первобытном капище природы,
В необозримом вареве болот,
Врубаясь в лес, проваливаясь в воды,
Срываясь с круч, мы двигались вперед.
Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,
Но все, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.
В стране, где кедрам светят метеоры,
Где молится березам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Охотский вал ударил в наши ноги,
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.

1947

ЗАВЕЩАНИЕ

Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя
И, погасив свечу, опять отправлюсь я
В необозримый мир туманных превращений,
Когда мильоны новых поколений
Наполнят этот мир сверканием чудес
И довершат строение п р и р о д ы , —
Пускай мой бедный прах покроют эти воды,
Пусть приютит меня зеленый этот лес.

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.

Над головой твоей, далекий правнук мой,
Я в небе пролечу, как медленная птица,
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.
Нет в мире ничего прекрасней бытия.
Безмолвный мрак могил — томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.

Не я родился в мир, когда из колыбели
Глаза мои впервые в мир г л я д е л и , —
Я на земле моей впервые мыслить стал,
Когда почуял жизнь безжизненный кристалл,

Когда впервые капля дождевая
Упала на него, в лучах изнемогая.
О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний
мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.

1947

ЖЕНА

Откинув со лба шевелюру,
Он хмуро сидит у окна.
В зеленую рюмку микстуру
Ему наливает жена.

Как робко, как пристально-нежно
Болезненный светится взгляд,
Как эти кудряшки потешно
На тощей головке висят!

С утра он все пишет да пишет,
В неведомый труд погружен.
Она еле ходит, чуть дышит,
Лишь только бы здравствовал он.

А скрипнет под ней половица,
Он брови взметнет, — и тотчас
Готова она провалиться
От взгляда пронзительных глаз.

Так кто же ты, гений вселенной?
Подумай: ни Гете, ни Дант
Не знали любви столь смиренной,
Столь трепетной веры в талант.

О чем ты скребешь на бумаге?
Зачем ты так вечно сердит?
Что ищешь, копаясь во мраке
Своих неудач и обид?

Но коль ты хлопочешь на деле
О благе, о счастье людей,
Как мог ты не видеть доселе
Сокровища жизни своей?

1948

ЖУРАВЛИ

Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе, —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

1948

ПРОХОЖИЙ

Исполнен душевной тревоги,
В треухе, с солдатским мешком,
По шпалам железной дороги
Шагает он ночью пешком.

Уж поздно. На станцию Нара
Ушел предпоследний состав.
Луна из-за края амбара
Сияет, над кровлями встав.

Свернув в направлении к мосту,
Он входит в весеннюю глушь,
Где сосны, склоняясь к погосту,
Стоят, словно скопища душ.

Тут летчик у края аллеи
Покоится в ворохе лент,
И мертвый пропеллер, белея,
Венчает его монумент.

И в темном чертоге вселенной,
Над сонною этой листвой
Встает тот нежданно мгновенный,
Пронзающий душу покой,

Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором
Живая людская душа.

И в легком шуршании почек,
И в медленном шуме ветвей
Невидимый юноша-летчик
О чем-то беседует с ней.

А тело бредет по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его, и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.

1948

ЧИТАЯ СТИХИ

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

1948

КОГДА ВДАЛИ УГАСНЕТ СВЕТ ДНЕВНОЙ

Когда вдали угаснет свет дневной
И в черной мгле, склоняющейся к хатам,
Все небо заиграет надо мной,
Как колоссальный движущийся атом, —

В который раз томит меня мечта,
Что где-то там, в другом углу вселенной,
Такой же сад, и та же темнота,
И те же звезды в красоте нетленной.

И может быть, какой-нибудь поэт
Стоит в саду и думает с тоскою,
Зачем его я на исходе лет
Своей мечтой туманной беспокою.

1948

ОТТЕПЕЛЬ

Оттепель после метели.
Только утихла пурга,
Разом сугробы осели
И потемнели снега.

В клочьях разорванной тучи
Блещет осколок луны.
Сосен тяжелые сучья
Мокрого снега полны.

Падают, плавятся, льются
Льдинки, втыкаясь в сугроб.
Лужи, как тонкие блюдца,
Светятся около троп.

Пусть молчаливой дремотой
Белые дышат поля,
Неизмеримой работой
Занята снова земля.

Скоро проснутся деревья,
Скоро, построившись в ряд,
Птиц перелетных кочевья
В трубы весны затрубят.

1948

ПРИБЛИЖАЛСЯ АПРЕЛЬ К СЕРЕДИНЕ

Приближался апрель к середине,
Бил ручей, упадая с откоса,
День и ночь грохотал на плотине
Деревянный лоток водосброса.

Здесь, под сенью дряхлеющих ветел,
Из которых любая — калека,
Я однажды, гуляя, заметил
Незнакомого мне человека.

Он стоял и держал пред собою
Непочатого хлеба ковригу
И свободной от груза рукою
Перелистывал старую книгу.

Лоб его бороздила забота,
И здоровьем не выдалось тело,
Но упорная мысли работа
Глубиной его сердца владела.

Пробежав за страницей страницу,
Он вздымал удивленное око,
Наблюдая ручьев вереницу,
Устремленную в пену потока.

В этот миг перед ним открывалось
То, что было незримо доселе,
И душа его в мир поднималась,
Как дитя из своей колыбели.

А грачи так безумно кричали,
И так яростно ветлы шумели,
Что, казалось, остаток печали
Отнимать у него не хотели.

1948

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА

Осветив черепицу на крыше
И согрев древесину сосны,
Поднимается выше и выше
Запоздалое солнце весны.

В розовато-коричневом дыме
Не покрытых листами ветвей,
Весь пронизан лучами косыми,
Бьет крылом и поет соловей.

Как естественно здесь повторенье
Лаконически-медленных фраз,
Точно малое это творенье
Их поет специально для нас!

О любимые сердцем обманы,
Заблужденья младенческих лет!
В день, когда зеленеют поляны,
Мне от вас избавления нет.

Я, как древний Коперник, разрушил
Пифагорово пенье светил
И в основе его обнаружил
Только лепет и музыку крыл.

1948

ПОЛДЕНЬ

Понемногу вступает в права
Ослепительно знойное лето.
Раскаленная солнцем трава
Испареньями влаги одета.

Пожелтевший от зноя лопух
Развернул розоватые латы
И стоит, задыхаясь от мух,
Под высокими окнами хаты.

Есть в расцвете природы моей
Кратковременный миг пресыщенья,
Час, когда перламутровый клей
Выделяют головки растенья.

Утомились орудья любви,
Страсть иссякла, но пламя былое
Дотлевает и бродит в крови,
Уж не тело, но ум беспокоя.

Но к полудню заснет и оно,
И в средине небесного свода
Лишь смертельного зноя пятно
Различит, замирая, природа.

1948

ЛЕБЕДЬ В ЗООПАРКЕ

Сквозь летние сумерки парка
По краю искусственных вод
Красавица, дева, дикарка —
Высокая лебедь плывет.

Плывет белоснежное диво,
Животное, полное грез,
Колебля на лоне залива
Лиловые тени берез.

Головка ее шелковиста,
И мантия снега белей,
И дивные два аметиста
Мерцают в глазницах у ней,

И светлое льется сиянье
Над белым изгибом спины,
И вся она как изваянье
Приподнятой к небу волны.

Скрежещут над парком трамваи,
Скрипит под машинами мост,
Истошно кричат попугаи,
Поджав перламутровый хвост.

И звери сидят в отдаленье,
Приделаны к выступам нор,
И смотрят фигуры оленьи
На воду сквозь тонкий забор.

И вся мировая столица,
Весь город сверкающий наш,
Над маленьким парком теснится,
Этаж громоздя на этаж.

И слышит, как в сказочном мире
У самого края стены
Крылатое диво на лире
Поет нам о счастье весны.

1948

СКВОЗЬ ВОЛШЕБНЫЙ ПРИБОР ЛЕВЕНГУКА

Сквозь волшебный прибор Левенгука
На поверхности капли воды
Обнаружила наша наука
Удивительной жизни следы.

Государство смертей и рождений,
Нескончаемой цепи *звено*,—
В этом мире чудесных творений
Сколь ничтожно и мелко оно!

Но для бездн, где летят метеоры,
Ни большого, ни малого нет,
И равно беспредельны просторы
Для микробов, людей и планет.

В результате их общих усилий
Зажигается пламя Плеяд,
И кометы летят легкокрылей,
И быстрее созвездья летят.

И в углу невысокой вселенной,
Под стеклом кабинетной трубы,
Тот же самый поток неизменный
Движет тайная воля судьбы.

Там я звездное чую дыханье,
Слышу речь органических масс
И стремительный шум созиданья,
Столь знакомый любому из нас.

1948

ТБИЛИССКИЕ НОЧИ

Отчего, как восточное диво,
Черноока, печальна, бледна,
Ты сегодня всю ночь молчаливо
До рассвета сидишь у окна?

Распластались во мраке платаны,
Ночь брильянтовой чашей горит,
Дремлют горы, темны и туманны,
Кипарис, как живой, говорит.

Хочешь, завтра под звуки пандури,
Сквозь вина золотую струю
Я умчу тебя в громе и буре
В ледяную отчизну мою?

Вскрикнут кони, разломится время,
И по руслу реки до зари
Полетим мы, забытые всеми,
Разрывая лучей янтари.

Я закутаю смуглые плечи
В снежный ворох сибирских полей,
Будут сосны гореть, словно свечи,
Над мерцаньем твоих соболей.

Там, в огромном безмолвном просторе,
Где поет, торжествуя, пурга,
Позабудешь ты южное море,
Золотые его берега.

Ты наутро поднимешь ресницы:
Пред тобой, как лесные царьки,
Золотые песцы и куницы
Запоют, прибежав из тайги.

Поднимая мохнатые лапки,
Чтоб тебя не обидел мороз,
Принесут они в лапках охапки
Перламутровых северных роз.

Гордый лось с голубыми рогами
На своей величавой трубе,
Окруженный седыми снегами,
Песню свадьбы сыграет тебе.

И багровое солнце, пылая
Всей громадой холодных огней,
Как живой великан, дорогая,
Улыбнется печали твоей.

Что случилось сегодня в Тбилиси?
Льется воздух, как льется вино.
Спят стрижи на оконном карнизе,
Кипарисы глядятся в окно.

Сквозь туманную дымку вуали
Пробиваются брызги огня.
Посмотри на меня, генацвале,
Оглянись, посмотри на меня!

1948

НА РЕЙДЕ

Был поздний вечер. На террасах
Горы, сползающей на дно,
Дремал поселок, опоясав
Лазурной бухточки пятно.

Туманным кругом акварели
Лежала в облаке луна,
И звезды еле-еле тлели,
И еле двигалась волна.

Под равномерный шум прибоя
Качались в бухте корабли.
И вдруг, утробным воем воя,
Все море вспыхнуло вдали.

И в ослепительном сплетенье
Огней, пронзивших небосвод,
Гигантский лебедь, белый гений,
На рейде встал электроход.

Он встал над бездной вертикальной
В тройном созвучии октав,
Обрывки бури музыкальной
Из окон щедро раскидав.

Он весь дрожал от этой бури,
Он с морем был в одном ключе,
Но тяготел к архитектуре,
Подняв антенну на плече.

Он в море был явленьем смысла,
Где электричество и звук,
Как равнозначащие числа,
Передо мной предстали вдруг.

1949

ГУРЗУФ

В большом полукружии горных пород,
Где, темные ноги разув,
В лазурную чашу сияющих вод
Спускается сонный Гурзуф,
Где скалы, вступая в зеркальный затон,
Стоят по колено в воде,
Где море поет, подперев небосклон,
И зеркалом служит звезде, —
Лишь здесь я познал превосходство морей
Над нашею тесной землей,
Услышал медлительный ход кораблей
И отзвук равнины морской.
Есть таинство отзвуков. Может быть, нас
Затем и волнует оно,
Что каждое сердце предчувствует час,
Когда оно канет на дно.
О, что бы я только не отдал взамен
За то, чтобы даль донесла
И стон Персефоны, и пенье сирен,
И звон боевого весла!

1949

СВЕТЛЯКИ

Слова — как светляки с большими фонарями.
Пока рассеян ты и не всмотрелся в мрак,
Ничтожно и темно их девственное пламя
И неприметен их одушевленный прах.

Но ты взгляни на них весною в южном Сочи,
Где олеандры спят в торжественном цвету,
Где море светляков горит над бездной ночи
И волны в берег бьют, рыдая на лету.

Сливая целый мир в единственном дыханье,
Там из-под ног твоих земной уходит шар,
И уж не их огни твердят о мирозданье,
Но отдаленных гроз колеблется пожар.

Дыхание фанфар и бубнов незнакомых
Там медленно гудит и бродит в вышине.
Что жалкие слова? Подобье насекомых!
И все же эта тварь была послушна мне.

1949

БАШНЯ ГРЕМИ [1]

Ух, башня проклятая! Сто ступеней!
Соратник огню и железу,
По выступам ста треугольных камней
Под самое небо я лезу.

Винтом извивается башенный ход,
Отверстье, пробитое в камне.
Сорвись-ка! Никто и костей не найдет.
Вгрызается в сердце тоска мне.

А следом за мною, в холодном поту,
Как я, распростершие руки,
Какие-то люди ползут в высоту,
Таща самопалы и луки.

О черные стены бряцает кинжал,
На шлемах сияние брезжит.
Доносится снизу, заполнив провал,
Кольчуг несмолкаемый скрежет.

А там, в подземелье соборных руин,
Где царская скрыта гробница,
Леван-полководец, Леван-властелин [2]
Из каменной ниши стучится:

---

[1] Греми — древняя столица Кахетии, развалины которой сохранились до сих пор. *(Примеч. Н. З.)*

[2] Леван — кахетинский царь, проводивший в XVI в. политику сближения с Московским государством. *(Примеч. Н. З.)*

«Вперед, кахетинцы, питомцы орлов!
Да здравствует родина наша!
Вовеки не сгинет отеческий кров
Под черной пятой кизилбаша![1]»

И мы на последнюю всходим ступень,
И солнце ударило в очи,
И в сердце ворвался стремительный день
Всей силой своих полномочий.

В парче винограда, в живом янтаре,
Где дуб переплелся с гранатом,
Кахетия пела, гордясь в октябре
Своим урожаем богатым.

Как пламя, в марани[2] струилось вино,
Веселье лилось из давилен,
И был кизилбаш, позабытый давно,
Пред этой страною бессилен.

И реял над нею свободный орлан,
Вздувающий перья на шлеме,
И так же, как некогда витязь Леван,
Стерег опустевшую Греми.

1950

---

[1] Кизилбаши — персы. *(Примеч. Н. З.)*
[2] Марани — погреб для вина. *(Примеч. Н. З.)*

СТАРАЯ СКАЗКА

В этом мире, где наша особа
Выполняет неясную роль,
Мы с тобою состаримся оба,
Как состарился в сказке король.

Догорает, светясь терпеливо,
Наша жизнь в заповедном краю,
И встречаем мы здесь молчаливо
Неизбежную участь свою.

Но когда серебристые пряди
Над твоим засверкают виском,
Разорву пополам я тетради
И с последним расстанусь стихом.

Пусть душа, словно озеро, плещет
У порога подземных ворот
И багровые листья трепещут,
Не касаясь поверхности вод.

1952

ОБЛЕТАЮТ ПОСЛЕДНИЕ МАКИ

Облетают последние маки,
Журавли улетают, трубя,
И природа в болезненном мраке
Не похожа сама на себя.

По пустынной и голой аллее
Шелестя облетевшей листвой,
Отчего ты, себя не жалея,
С непокрытой бредешь головой?

Жизнь растений теперь затаилась
В этих странных обрубках ветвей.
Ну, а что же с тобой приключилось,
Что с душой приключилось твоей?

Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу твою,
Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далеком краю?

Пусть непрочны домашние стены,
Пусть дорога уводит во т ь м у , —
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.

1952

ВОСПОМИНАНИЕ

Наступили месяцы дремоты...
То ли жизнь действительно прошла,
То ль она, закончив все работы,
Поздней гостьей села у стола.

Хочет пить — не нравятся ей вина,
Хочет есть — кусок не лезет в рот.
Слушает, как шепчется рябина,
Как щегол за окнами поет.

Он поет о той стране далекой,
Где едва заметен сквозь пургу
Бугорок могилы одинокой
В белом кристаллическом снегу.

Там в ответ не шепчется береза,
Корневищем вправленная в лед.
Там над нею в обруче мороза
Месяц окровавленный плывет.

1953

ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята...
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.

1952

СОН

Жилец земли, пятидесяти лет,
Подобно всем счастливый и несчастный,
Однажды я покинул этот свет
И очутился в местности безгласной.
Там человек едва существовал
Последними остатками привычек,
Но ничего уж больше не желал
И не носил ни прозвищ он, ни кличек.
Участник удивительной игры,
Не вглядываясь в скученные лица,
Я там ложился в дымные костры
И поднимался, чтобы вновь ложиться.
Я уплывал, я странствовал вдали,
Безвольный, равнодушный, молчаливый,
И тонкий свет исчезнувшей земли
Отталкивал рукой неторопливой.
Какой-то отголосок бытия
Еще имел я для существованья,
Но уж стремилась вся душа моя
Стать не душой, но частью мирозданья.
Там по пространству двигались ко мне
Сплетения каких-то матерьялов,
Мосты в необозримой вышине
Висели над ущельями провалов.
Я хорошо запомнил внешний вид
Всех этих тел, плывущих из пространства:
Сплетенье ферм, и выпуклости плит,
И дикость первобытного убранства.
Там тонкостей не видно и следа,
Искусство форм там явно не в почете,
И не заметно тягостей труда,
Хотя весь мир в движенье и работе.
И в поведенье тамошних властей
Не видел я малейшего насилья,

И сам, лишенный воли и страстей,
Все то, что нужно, делал без усилья.
Мне не было причины не хотеть,
Как не было желания стремиться,
И был готов я странствовать и впредь,
Коль то могло на что-то пригодиться.
Со мной бродил какой-то мальчуган,
Болтал со мной о массе пустяковин.
И даже он, похожий на туман,
Был больше материален, чем духовен.
Мы с мальчиком на озеро пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли.
Не торопясь, рукою отодвинул.

1953

ВЕСНА В МИСХОРЕ

1. ИУДИНО ДЕРЕВО

Когда, страдая от простуды,
Ай-Петри высится в снегу,
Кривое деревце Иуды
Цветет на южном берегу.
Весна блуждает где-то рядом,
А из долин уже глядят
Цветы, напитанные ядом
Коварства, горя и утрат.

2. ПТИЧЬИ ПЕСНИ

Пусть в зеленую книгу природы
Не запишутся песни синиц, —
Величайшие наши рапсоды
Происходят из общества птиц.
Пусть не слушает их современник,
Путешествуя в этом краю, —
Им не нужно ни славы, ни денег
За бессмертную песню свою.

3. УЧАН-СУ

Внимая собственному вою,
С недосягаемых высот
Висит над самой головою
Громада падающих вод.
И веет влажная прохлада
Вокруг нее, и каждый куст,
Обрызган пылью водопада,
Смеется тысячами уст.

4. У МОРЯ

Посмотри, как весною в Мисхоре,
Где серебряный пенится вал,
Непрерывно работает море,
Разрушая окраины скал.
Час настанет, и в сердце поэта,
Разрушая последние сны,
Вместо жизни останется эта
Роковая работа волны.

1953

ПОРТРЕТ

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

1953

* * *

Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твердый клинок.

Чем обычней простое растенье,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появленье
На рассвете весеннего дня.

В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поет,
Пролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Все лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.

1953

ПОЭТ

Черен бор за этим старым домом,
Перед домом — поле да овсы.
В нежном небе серебристым комом
Облако невиданной красы.
По бокам туманно-лиловато,
Посредине грозно и светло, —
Медленно плывущее куда-то
Раненого лебедя крыло.
А внизу на стареньком балконе —
Юноша с седою головой,
Как портрет в старинном медальоне
Из цветов ромашки полевой.
Щурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком согрет, —
Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт.
А леса, как ночь, стоят за домом,
А овсы, как бешеные, прут...
То, что было раньше незнакомым,
Близким сердцу делается тут.

1953

ДОЖДЬ

В тумане облачных развалин
Встречая утренний рассвет,
Он был почти нематериален
И в формы жизни не одет.

Зародыш, выкормленный тучей,
Он волновался, он кипел,
И вдруг, веселый и могучий,
Ударил в струны и запел.

И засияла вся дубрава
Молниеносным блеском слез,
И листья каждого сустава
Зашевелились у берез.

Натянут тысячами нитей
Меж хмурым небом и землей,
Ворвался он в поток событий,
Повиснув книзу головой.

Он падал издали, с наклоном
В седые скопища дубрав,
И вся земля могучим лоном
Его пила, затрепетав.

1953

НОЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Расступились на площади зданья
Листья клена целуют звезду.
Нынче ночью — большое гулянье,
И веселье, и праздник в саду.

Но когда пиротехник из рощи
Бросит в небо серебряный свет,
Фантастическим выстрелам ночи
Не вполне доверяйся, поэт.

Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха...
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.

1953

НЕУДАЧНИК

По дороге, пустынной обочиной,
Где лежат золотые пески,
Что ты бродишь такой озабоченный,
Умирая весь день от тоски?

Вон и старость, как ведьма глазастая,
Притаилась за ветхой ветлой.
Целый день по кустарникам шастая,
Наблюдает она за тобой.

Ты бы вспомнил, как в ночи походные
Жизнь твоя, загораясь в борьбе,
Руки девичьи, крылья холодные,
Положила на плечи тебе.

Милый взор, истомленно-внимательный,
Залил светом всю душу твою,
Но подумал ты трезво и тщательно
И вернулся в свою колею.

Крепко помнил ты старое правило —
Осторожно по жизни идти.
Осторожная мудрость направила
Жизнь твою по глухому пути.

Пролетела она в одиночестве
Где-то здесь, на задворках села,
Не спросила об имени-отчестве,
В золотые дворцы не ввела.

Поистратил ты разум недюжинный
Для каких-то бессмысленных дел.
Образ той, что сияла жемчужиной,
Потускнел, побледнел, отлетел.

Вот теперь и ходи и рассчитывай,
Сумасшедшие мысли тая,
Да смотри, как под тенью ракитовой
Усмехается старость твоя.

Не дорогой ты шел, а обочиной,
Не нашел ты пути своего,
Осторожный, всю жизнь озабоченный,
Неизвестно, во имя чего!

1953

ХОДОКИ

В зипунах домашнего покроя,
Из далеких сел, из-за Оки,
Шли они, неведомые, трое —
По мирскому делу ходоки.

Русь металась в голоде и буре,
Все смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик в комендатуре,
Человечье горе без прикрас.

Только эти трое почему-то
Выделялись в скопище людей,
Не кричали бешено и люто,
Не ломали строй очередей.

Всматриваясь старыми глазами
В то, что здесь наделала нужда,
Горевали путники, а сами
Говорили мало, как всегда.

Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом о д н и м , —
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.

Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум и сердце без опаски
На одном наречье говорят.

Эти трое мало говорили.
Что слова! Была не в этом суть.
Но зато в душе они скопили
Многое за долгий этот путь.

Потому, быть может, и таились
В их глазах тревожные огни
В поздний час, когда остановились
У порога Смольного они.

Но когда радушный их хозяин,
Человек в потертом пиджаке,
Сам работой до смерти измаян,
С ними говорил накоротке,

Говорил о скудном их районе,
Говорил о той поре, когда
Выйдут электрические кони
На поля народного труда.

Говорил, как жизнь расправит крылья,
Как, воспрянув духом, весь народ
Золотые хлебы изобилья
По стране, ликуя, понесет, —

Лишь тогда тяжелая тревога
В трех сердцах растаяла, как сон,
И внезапно видно стало много
Из того, что видел только он.

И котомки сами развязались,
Серой пылью в комнате пыля,
И в руках стыдливо показались
Черствые ржаные кренделя.

С этим угощеньем безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был и вкусным
Скудный дар истерзанной земли.

1954

ВОЗВРАЩЕНИЕ С РАБОТЫ

Вокруг села бродили грозы,
И часто, полные тоски,
Удары молнии сквозь слезы
Ломали небо на куски.

Хлестало, словно из баклаги,
И над собранием берез
Пир электричества и влаги
Сливался в яростный хаос.

А мы шагали по дороге
Среди кустарников и трав,
Как древнегреческие боги,
Трезубцы в облако подняв.

1954

ШАКАЛЫ

Среди черноморских предгорий,
На первой холмистой гряде,
Высокий стоит санаторий,
Купая ступени в воде.

Давно уже черным сапфиром
Склонился над ним небосклон,
Давно уж над дремлющим миром
Молчит ожерелье колонн.

Давно, утомившись от зноя,
Умолкли концерты цикад,
И люди в тиши и покое
Давно в санатории спят.

Лишь там, наверху, по оврагам,
Средь зарослей горной реки,
Полночным окутаны мраком,
Не гаснут всю ночь огоньки.

На всем полукружье залива,
То там появляясь, тот тут,
И хищно они и трусливо
Мерцают, мигают, снуют.

Сперва боязливо и тонко,
Потом все слышней и слышней
С холмов верещанье ребенка
Доносится к миру людей.

И вот уже плачем и визгом
Наполнен небесный зенит.
Луна перламутровым диском
Испуганно в чащу глядит.

И видит: теснясь друг за другом
И мордочки к небу задрав,
Шакалы сидят полукругом
За темными листьями трав.

О чем они воют и плачут?
Кого проклиная, вопят?
Под ними у моря маячит
Колонн ослепительный ряд.

Там мир золотого сиянья,
Там жизнь, непонятная им...
Не эти ли светлые зданья
Клянут они воплем своим?

Но меркнет луна Черноморья,
И солнце встает в синеву,
И враз умолкают предгорья,
Туманом укутав траву.

И звери по краю потока
Трусливо бегут в тростники,
Где в каменных норах глубоко
Беснуются их двойники.

1954

В КИНО

Утомленная после работы,
Лишь за окнами стало темно,
С выраженьем тяжелой заботы
Ты пришла почему-то в кино.

Ражий малый в коричневом фраке,
Как всегда, выбиваясь из сил,
Плел с эстрады какие-то враки
И бездарно и нудно острил.

И смотрела когда на него ты
И вникала в остроты его,
Выраженье тяжелой заботы
Не сходило с лица твоего.

В низком зале, наполненном густо,
Ты смотрела, как все, на экран,
Где напрасно пыталось искусство
К правде жизни припутать обман.

Озабоченных черт не меняли
Судьбы призрачных, плоских людей,
И тебе удавалось едва ли
Сопоставить их с жизнью своей.

Одинока, слегка седовата,
Но еще моложава на вид,
Кто же ты? И какая утрата
До сих пор твое сердце томит?

Где твой друг, твой единственно милый,
Соучастник далекой весны,
Кто наполнил живительной силой
Бесприютное сердце жены?

Почему его нету с тобою?
Неужели погиб он в бою
Иль, оторван от дома судьбою,
Пропадает в далеком краю?

Где б он ни был, но в это мгновенье
Здесь, в кино, я уверился вновь:
Бесконечно людское терпенье,
Если в сердце не гаснет любовь.

1954

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелен
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы,
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радужном огне
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой —

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах, —

Вскрикнул я и пробудился...
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

1955

ОСЕННИЕ ПЕЙЗАЖИ

1. ПОД ДОЖДЕМ

Мой зонтик рвется, точно птица,
И вырывается, треща.
Шумит над миром и дымится
Сырая хижина дождя.
И я стою в переплетенье
Прохладных вытянутых тел,
Как будто дождик на мгновенье
Со мною слиться захотел.

2. ОСЕННЕЕ УТРО

Обрываются речи влюбленных,
Улетает последний скворец.
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец.
Что ты, осень, наделала с нами!
В красном золоте стынет земля.
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля.

3. ПОСЛЕДНИЕ КАННЫ

Все то, что сияло и пело,
В осенние скрылось леса,
И медленно дышат на тело
Последним теплом небеса.
Ползут по деревьям туманы,
Фонтаны умолкли в саду,

Одни неподвижные канны
Пылают у всех на виду.
Так, вытянув крылья, орлица
Стоит на уступе скалы,
И в клюве ее шевелится
Огонь, выступая из мглы.

1955

НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, —

Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то чт*о* есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

1955

* * *

При первом наступлении зимы,
Блуждая над просторною Невою,
Сиянье лета сравниваем мы
С разбросанной по берегу листвою.

Но я любитель старых тополей,
Которые до первой зимней вьюги
Пытаются не сбрасывать с ветвей
Своей сухой заржавленной кольчуги.

Как между нами сходство описать?
И я, подобно тополю, не молод,
И мне бы нужно в панцире встречать
Приход зимы, ее смертельный холод.

1955

ОСЕННИЙ КЛЕН

(Из С. Галкина)

Осенний мир осмысленно устроен
И населен.
Войди в него и будь душой спокоен,
Как этот клен.

И если пыль на миг тебя покроет,
Не помертвей.
Пусть на заре листы твои умоет
Роса полей.

Когда ж гроза над миром разразится
И ураган,
Они заставят до земли склониться
Твой тонкий стан.

Но даже впав в смертельную истому
От этих мук,
Подобно древу осени простому,
Смолчи, мой друг.

Не забывай, что выпрямится снова,
Не искривлен,
Но умудрен от разума земного
Осенний клен.

1955

СТАРАЯ АКТРИСА

В позолоченной комнате стиля ампир,
Где шнурками затянуты кресла,
Театральной Москвы позабытый кумир
И владычица наша воскресла.

В затрапезе похожа она на щегла,
В три погибели скорчилось тело.
А ведь, боже, какая актриса была
И какими умами владела!

Что-то было нездешнее в каждой черте
Этой женщины, юной и стройной,
И лежал на тревожной ее красоте
Отпечаток Италии знойной.

Ныне домик ее превратился в музей,
Где жива ее прежняя слава,
Где старуха подчас удивляет друзей
Своевольем капризного нрава.

Орденов ей и званий немало дано,
И она пребывает в надежде,
Что красе ее вечно сиять суждено
В этом доме, как некогда прежде.

Здесь картины, портреты, альбомы, венки,
Здесь дыхание южных растений,
И они ее образ, годам вопреки,
Сохранят для иных поколений.

И не важно, не важно, что в дальнем углу,
В полутемном и низком подвале,
Бесприютная девочка спит на полу,
На тряпичном своем одеяле!

Здесь у тетки-актрисы из милости ей
Предоставлена нынче квартира.
Здесь она выбивает ковры у дверей,
Пыль и плесень стирает с ампира.

И когда ее старая тетка бранит,
И считает и прячет монеты, —
О, с каким удивленьем ребенок глядит
На прекрасные эти портреты!

Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства!

1956

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

1955

ГДЕ-ТО В ПОЛЕ ВОЗЛЕ МАГАДАНА

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед.
От солдат, от их луженых глоток,
От бандитов шайки воровской
Здесь спасали только околодок
Да наряды в город за мукой.
Вот они и шли в своих бушлатах —
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека.
Вся душа у них перегорела
Вдалеке от близких и родных,
И усталость, сгорбившая тело,
В эту ночь снедала души их.
Жизнь над ними в образах природы
Чередою двигалась своей.
Только звезды, символы свободы,
Не смотрели больше на людей.
Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный
До людей уже не доходил.
Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мерзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая, сели старики.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.

1956

ПОЭМА ВЕСНЫ

Ты и скрипку с собой принесла,
И заставила петь на свирели,
И, схватив за плечо, повела
Сквозь поля, голубые в апреле.
Пессимисту дала ты шлепка,
Настежь окна в домах растворила,
Подхватила в сенях старика
И плясать по дороге пустила.
Ошалев от твоей красоты,
Скряга вытащил пук ассигнаций,
И они превратились в листы
Засиявших на солнце акаций.
Бюрократы, чинуши, попы,
Столяры, маляры, стеклодувы,
Как птенцы из своей скорлупы,
Отворили на радостях клювы.
Даже те, кто по креслам сидят,
Погрузившись в чины и медали,
Улыбнулись и, как говорят,
На мгновенье счастливыми стали.
Это ты, сумасбродка весна!
Узнаю твои козни, плутовка!
Уж давно мне из окон видна
И улыбка твоя, и сноровка.
Скачет по полю жук-менестрель,
Реет бабочка, став на пуанты.
Развалившись по книгам, апрель
Нацепил васильков аксельбанты.
Он-то знает, что поле да лес —
Для меня ежедневная тема,
А весна, сумасбродка небес, —
И подружка моя, и поэма.

1956

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

1. ЧЕРТОПОЛОХ

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар, и суматоха,
И огней багровый хоровод.
Эти звезды с острыми концами,
Эти брызги северной зари
И гремят и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.
Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетенный из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей.
Это башня ярости и славы,
Где к копью приставлено копье,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо в сердце врезаны мое.
Снилась мне высокая темница
И решетка, черная, как ночь,
За решеткой — сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встает стена чертополоха
Между мной и радостью моей.
И простерся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный и прекрасный
Взор ее неугасимых глаз.

1956

2. МОРСКАЯ ПРОГУЛКА

На сверкающем глиссере белом
Мы заехали в каменный грот,
И скала опрокинутым телом

Заслонила от нас небосвод.
Здесь, в подземном мерцающем зале,
Над лагуной прозрачной воды,
Мы и сами прозрачными стали,
Как фигурки из тонкой слюды.
И в большой кристаллической чаше,
С удивлением глядя на нас,
Отраженья неясные наши
Засияли мильонами глаз.
Словно вырвавшись вдруг из пучины,
Стаи девушек с рыбьим хвостом
И подобные крабам мужчины
Оцепили наш глиссер кругом.
Под великой одеждою моря,
Подражая движеньям людей,
Целый мир ликованья и горя
Жил диковинной жизнью своей.
Что-то там и рвалось, и кипело,
И сплеталось, и снова рвалось,
И скалы опрокинутой тело
Пробивало над нами насквозь.
Но водитель нажал на педали,
И опять мы, как будто во сне,
Полетели из мира печали
На высокой и легкой волне.
Солнце в самом зените пылало,
Пена скал заливала корму,
И Таврида из моря вставала,
Приближаясь к лицу твоему.

1956

3. ПРИЗНАНИЕ

Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!

Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.

Что прибавится — не убавится,
Что не сбудется — позабудется...
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только чудится?

1957

4. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Задрожала машина и стала,
Двое вышли в вечерний простор,
И на руль опустился устало
Истомленный работой шофер.
Вдалеке через стекла кабины
Трепетали созвездья огней.
Пожилой пассажир у куртины
Задержался с подругой своей.
И водитель сквозь сонные веки
Вдруг заметил два странных лица,
Обращенных друг к другу навеки
И забывших себя до конца.
Два туманные легкие света
Исходили из них, и вокруг
Красота уходящего лета
Обнимала их сотнями рук.
Были тут огнеликие канны,
Как стаканы с кровавым вином,
И седых аквилегий султаны,
И ромашки в венце золотом.
В неизбежном предчувствии горя,
В ожиданье осенних минут,
Кратковременной радости море
Окружало любовников тут.

И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные дети ночей,
Молча шли по цветочному кругу
В электрическом блеске лучей,
А машина во мраке стояла,
И мотор трепетал тяжело,
И шофер улыбался устало,
Опуская в кабине стекло.
Он-то знал, что кончается лето,
Что подходят ненастные дни,
Что давно уж их песенка спета, —
То, что, к счастью, не знали они.

1957

5. ГОЛОС В ТЕЛЕФОНЕ

Раньше был он звонкий, точно птица,
Как родник, струился и звенел,
Точно весь в сиянии излиться
По стальному проводу хотел.

А потом, как дальнее рыданье,
Как прощанье с радостью души,
Стал звучать он, полный покаянья,
И пропал в неведомой глуши.

Сгинул он в каком-то диком поле,
Беспощадной вьюгой занесен...
И кричит душа моя от боли,
И молчит мой черный телефон.

1957

6. * * *

Клялась ты — до гроба
Быть милой моей.
Опомнившись, оба
Мы стали умней.

Опомнившись, оба
Мы поняли вдруг,
Что счастья до гроба
Не будет, мой друг.

Колеблется лебедь
На пламени вод.
Однако к земле ведь
И он уплывет.

И вновь одиноко
Заблещет вода,
И глянет ей в око
Ночная звезда.

1957

7. * * *

Посредине панели
Я заметил у ног
В лепестках акварели
Полумертвый цветок.
Он лежал без движенья
В белом сумраке дня,
Как твое отраженье
На душе у меня.

1957

8. МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

1957

9. ВСТРЕЧА

> И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавевшая дверь, — улыбнулось...
>
> *Л. Толстой. Война и мир*

Как открывается заржавевшая дверь,
С трудом, с усилием,— забыв о том, что было,
Она, моя нежданная, теперь
Свое лицо навстречу мне открыла.
И хлынул свет — не свет, но целый сноп
Живых лучей, — не сноп, но целый ворох
Весны и радости, и вечный мизантроп,
Смешался я... И в наших разговорах,
В улыбках, в восклицаньях, — впрочем, нет,
Не в них совсем, но где-то там, за ними,
Теперь горел неугасимый свет,
Овладевая мыслями моими.
Открыв окно, мы посмотрели в сад,
И мотыльки бесчисленные сдуру,
Как многоцветный легкий водопад,
К блестящему помчались абажуру.
Один из них уселся на плечо,
Он был прозрачен, трепетен и розов.
Моих вопросов не было еще,
Да и не нужно было их — вопросов.

1957

10. СТАРОСТЬ

Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, —
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Их речь уже немногословна,
Без слов понятен каждый взгляд,
Но души их светло и ровно
Об очень многом говорят.

В неясной мгле существованья
Был неприметен их удел,
И животворный свет страданья
Над ними медленно горел.

Изнемогая, как калеки,
Под гнетом слабостей своих,
В одно единое навеки
Слились живые души их.

И знанья малая частица
Открылась им на склоне лет,
Что счастье наше — лишь зарница,
Лишь отдаленный слабый свет.

Оно так редко нам мелькает,
Такого требует труда!
Оно так быстро потухает
И исчезает навсегда!

Как ни лелей его в ладонях
И как к груди ни прижимай, —
Дитя зари, на светлых конях
Оно умчится в дальний край!

Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком о н а , —
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Теперь уж им, наверно, легче,
Теперь всё страшное ушло,
И только души их, как свечи,
Струят последнее тепло.

1958

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА

Подобный огненному зверю,
Глядишь на землю ты мою,
Но я ни в чем тебе не верю
И славословий не пою.
Звезда зловещая! Во мраке
Печальных лет моей страны
Ты в небесах чертила знаки
Страданья, крови и войны.
Когда над крышами селений
Ты открывала сонный глаз,
Какая боль предположений
Всегда охватывала нас!
И был он в руку — сон зловещий:
Война с ружьем наперевес
В селеньях жгла дома и вещи
И угоняла семьи в лес.
Был бой и гром, и дождь и слякоть,
Печаль скитаний и разлук,
И уставало сердце плакать
От нестерпимых этих мук.
И над безжизненной пустыней
Подняв ресницы в поздний час,
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Тот дух, что выстроил каналы
Для неизвестных нам судов
И стекловидные вокзалы
Средь марсианских городов.
Дух, полный разума и воли,
Лишенный сердца и души,

Кто о чужой не страждет боли,
Кому все средства хороши.
Но знаю я, что есть на свете
Планета малая одна,
Где из столетия в столетье
Живут иные племена.
И там есть муки и печали,
И там есть пища для страстей,
Но люди там не утеряли
Души естественной своей.
Там золотые волны света
Плывут сквозь сумрак бытия,
И эта малая планета —
Земля злосчастная моя.

1956

ГУРЗУФ НОЧЬЮ

Для северных песен ненадобен юг:
Родились они средь туманов и вьюг,
Качанию лиственниц вторя.
Они — чужестранцы на этой земле,
На этой покрытой цветами скале,
В сиянии южного моря.

В Гурзуфе всю ночь голосят петухи.
Здесь улица — род коридора.
Здесь спит парикмахер, любитель ухи,
Который стрижет Черномора.
Царапая кузов о камни крыльца,
Здесь утром автобус гудит без конца,
Таща ротозеев из Ялты.
Здесь толпы лихих санаторных гуляк
Несут за собой аромат кулебяк,
Как будто в харчевню попал ты.

Наплававшись п*о* морю, стая парней
Здесь бродит с заезжей сиреной.
Питомцы Нептуна блаженствуют с ней,
Гитарой бренча несравненной.
Здесь две затонувшие в море скалы,
К которым стремился и Плиний,
Вздымают из влаги тупые углы
Своих переломанных линий.

А ночь, как царица на троне из туч,
Колеблет прожектора медленный луч,
И море шумит до рассвета,
И слушая, как голосят петухи,

Внизу у калитки толпятся стихи —
Свидетели южного лета.
Толпятся без страха и тычут свой нос
В кувшинчики еле открывшихся роз,
И пьют их дыханье, и странно,
Что, спавшие где-то на севере, вдруг
Они залетели на пламенный юг —
Холодные дети тумана.

1956

НАД МОРЕМ

Лишь запах чабреца, сухой и горьковатый,
Повеял на меня — и этот сонный Крым,
И этот кипарис, и этот дом, прижатый
К поверхности горы, слились навеки с ним.

Здесь море — дирижер, а резонатор — дали,
Концерт высоких волн здесь ясен наперед.
Здесь звук, задев скалу, скользит по вертикали,
И эхо средь камней танцует и поет.

Акустика вверху настроила ловушек,
Приблизила к ушам далекий ропот струй.
И стал здесь грохот бурь подобен грому пушек,
И, как цветок, расцвел девичий поцелуй.

Скопление синиц здесь свищет на рассвете,
Тяжелый виноград прозрачен здесь и ал.
Здесь время не спешит, здесь собирают дети
Чабрец, траву степей, у неподвижных скал.

1956

СМЕРТЬ ВРАЧА

В захолустном районе,
Где кончается мир,
На степном перегоне
Умирал бригадир.
То ли сердце устало,
То ли солнцем нажгло,
Только силы не стало
Возвратиться в село.
И смутились крестьяне:
Каждый подлинно знал,
Что и врач без сознанья
В это время лежал.
Надо ж было случиться,
Что на горе-беду
Он, забыв про больницу,
Сам томился в бреду.
И, однако ж, в селенье
Полетел верховой.
И ресницы в томленье
Поднял доктор больной.
И под каплями пота,
Через сумрак и бред,
В нем разумное что-то
Задрожало в ответ.
И к машине несмело
Он пошел, темнолиц,
И в безгласное тело
Ввел спасительный шприц,
И в степи, на закате,
Окруженный толпой,
Рухнул в белом халате
Этот старый герой.
Человеческой силе
Не положен предел:
Он, и стоя в могиле,
Сделал то, что хотел.

1957

ДЕТСТВО

Огромные глаза, как у нарядной куклы,
Раскрыты широко. Под стрелами ресниц,
Доверчиво-ясны и правильно округлы,
Мерцают ободки младенческих зениц.
На что она глядит? И чем необычаен
И сельский этот дом, и сад, и огород,
Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин,
И что-то вяжет там, и режет, и поет?
Два тощих петуха дерутся на заборе,
Шершавый хмель ползет по столбику крыльца.
А девочка глядит. И в этом чистом взоре
Отображен весь мир до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал ее, как чудо из чудес,
И в глубь души ее, как спутники живые,
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.
И много минет дней. И боль сердечной смуты,
И счастье к ней придет. Но и жена и мать,
Она блаженный смысл короткой той минуты
Вплоть до седых волос все будет вспоминать,

1957

ЛЕСНАЯ СТОРОЖКА

Скрипело, свистало и выло в лесу,
И гром ударял в отдаленье, как молот,
И тучи рвались в небесах, но внизу
Царили затишье, и сумрак, и холод.
В гигантском колодце сосновых стволов,
В своей одинокой убогой сторожке
Лесник пообедал и хлебные крошки
Смахнул на ладонь, молчалив и суров.
Над миром великая буря ходила,
Но здесь, в тишине, у древесных корней,
Старик, отдыхая, не думал о ней,
И только собака ворчала уныло
На каждую вспышку далеких зарниц,
И в гнездах смолкало селение птиц.

Однажды в грозу, навалившись на двери,
Тут зверь появился, высок и космат,
И так же, как многие прочие звери,
Узнав человека, отпрянул назад.
И сторож берданку схватил, и с окошка
Пружиной метнулась под лестницу кошка,
И разом короткий ружейный удар
Потряс основанье соснового бора.

Вернувшись, лесник успокоился скоро:
Он, видимо, был уж достаточно стар,
Он знал, что покой — только призрак покоя,
Он знал, что, когда полыхает гроза,
Все тяжко-животное, злобно-живое
Встает и глядит человеку в глаза.

1957

БОЛЕРО

Итак, Равель, танцуем болеро!
Для тех, кто музыку не сменит на перо,
Есть в этом мире праздник изначальный —
Напев волынки скудный и печальный
И эта пляска медленных крестьян...
Испания! Я вновь тобою пьян!
Цветок мечты возвышенной взлелеяв,
Опять твой образ предо мной горит
За отдаленной гранью Пиренеев!
Увы, замолк истерзанный Мадрид,
Весь в отголосках пролетевшей бури,
И нету с ним Долорес Ибаррури!
Но жив народ и песнь его жива.
Танцуй, Равель, свой исполинский танец.
Танцуй, Равель! Не унывай, испанец!
Вращай, История, литые жернова,
Будь мельничихой в грозный час прибоя!
О, болеро, священный танец боя!

1957

ПТИЧИЙ ДВОР

Скачет, свищет и бормочет
Многоликий птичий двор.
То могучий грянет кочет,
То индеек взвизгнет хор.

В бесшабашном этом гаме,
В писке маленьких цыплят
Гуси толстыми ногами
Землю важно шевелят.

И шатаясь с боку на бок,
Через двор наискосок,
Перепонки красных лапок
Ставят утки на песок.

Будь бы я такая птица, —
Весь пылая, весь дрожа,
Поспешил бы в небо взвиться,
Ускользнув из-под ножа!

А они, не веря в чудо,
Вечной заняты едой,
Ждут, безумные, покуда
Распростятся с головой.

Вечный гам и вечный топот,
Вечно глупый, важный вид.
Им, как видно, жизни опыт
Ни о чем не говорит.

Их сердца послушно бьются
По желанию людей,
И в душе не отдаются
Крики вольных лебедей.

1957

ОДИССЕЙ И СИРЕНЫ

Однажды аттическим утром
С отважной дружиною всей
Спешил на кораблике утлом
В отчизну свою Одиссей.
Шумело Эгейское море,
Коварный туманился вал.
Скиталец в пернатом уборе
Лежал на корме и дремал.
И вдруг через дымку мечтанья
Возник перед ним островок,
Где три шаловливых созданья
Плескались и пели у ног.
Среди гармоничного гула
Они отражались в воде.
И тень вожделенья мелькнула
У грека, в его бороде.
Ведь слабость сродни человеку,
Любовь — вековечный недуг,
А этому древнему греку
Все было к жене недосуг.
И первая пела сирена:
«Ко мне, господин Одиссей!
Я вас исцелю несомненно
Усердной любовью моей!»
Вторая богатство сулила:
«Ко мне, корабельщик, ко мне!
В подводных дворцах из берилла
Мы счастливы будем вполне!»
А третья сулила забвенье
И кубок вздымала вина:
«Испей — и найдешь исцеленье
В объятьях волшебного сна!»
Но хмурится житель Итаки,

Красоток не слушает он,
Не верит он в сладкие враки,
В мечтанья свои погружен.
И смотрит он н*а* берег в оба,
Где в нише из каменных плит
Супруга его Пенелопа,
Рыдая, за прялкой сидит.

1957

ЭТО БЫЛО ДАВНО

Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шел по кладбищу он
И уже выходил за ворота.
Вдруг под свежим крестом,
С невысокой могилы сырой
Заприметил его
И окликнул невидимый кто-то.

И седая крестьянка
В заношенном старом платке
Поднялась от земли,
Молчалива, печальна, сутула,
И творя поминанье,
В морщинистой темной руке
Две лепешки ему
И яичко, крестясь, протянула.

И как громом ударило
В душу его, и тотчас
Сотни труб закричали
И звезды посыпались с неба.
И, смятенный и жалкий,
В сиянье страдальческих глаз,
Принял он подаянье,
Поел поминального хлеба.

Это было давно.
И теперь он, известный поэт,
Хоть не всеми любимый,
И понятый также не всеми, —
Как бы снова живет
Обаянием прожитых лет
В этой грустной своей
И возвышенно чистой поэме.

И седая крестьянка,
Как добрая старая мать,
Обнимает его...
И бросая перо, в кабинете
Все он бродит один
И пытается сердцем понять
То, что могут понять
Только старые люди и дети.

1957

КАЗБЕК

С хевсурами после работы
Лежал я и слышал сквозь сон,
Как кто-то, шальной от дремоты,
Окно распахнул на балкон.

Проснулся и я. Наступала
Заря, и, закованный в снег,
Двуглавым обломком кристалла
В окне загорался Казбек.

Я вышел на воздух железный.
Вдали, у подножья высот,
Курились туманные бездны
Провалами каменных сот.

Из горных курильниц взлетая
И тая над миром камней,
Летела по воздуху стая
Мгновенных и легких теней.

Земля начинала молебен
Тому, кто блистал и царил.
Но был он мне чужд и враждебен
В дыхании этих кадил.

И бедное это селенье,
Скопленье домов и закут,
Казалось мне в это мгновенье
Разумно устроенным тут.

У ног ледяного Казбека
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила.

А он, в отдаленье от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен
И людям опасен вдвойне.

Недаром, спросонок понуры,
Внизу, из села своего,
Лишь мельком смотрели хевсуры
На мертвые грани его.

1957

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Говорят, что в Гималаях где-то,
Выше храмов и монастырей,
Он живет, неведомый для света,
Первобытный выкормыш зверей.

Безмятежный, белый и косматый,
Он порой спускается с высот,
И танцует, словно бесноватый,
И в снежки играет у ворот.

Но когда буддийские монахи
Со стены завоют на трубе,
Он бежит в смятении и страхе
В горное убежище к себе.

Если эти россказни — не бредни,
Значит, в наш всеведающий век
Существует все-таки последний
Полузверь и получеловек.

Ум его, как видно, не обширен,
И приют заоблачный суров,
И ни школ, ни пагод, ни кумирен
Не имеет этот зверолов.

В горные упрятан катакомбы,
Он и знать не знает, что под ним
Громоздятся атомные бомбы,
Верные хозяевам своим.

Никогда их тайны не откроет
Гималайский этот троглодит,
Даже если, словно астероид,
Весь пылая, в бездну полетит.

Но пока над свежими следами
Ламы причитают и поют,
И пока, расставленные в храме,
Барабаны бешеные бьют,

И пока тысячелетний Будда
Ворожит над собственным пупом,
Он себя сравнительно не худо
Чувствует в убежище своем.

Там, наверно, горного оленя
Он свежует около ключа
И из слов одни местоименья
Произносит, громко хохоча.

1957

ОДИНОКИЙ ДУБ

Дурная почва: слишком узловат
И этот дуб, и нет великолепья
В его ветвях. Какие-то отрепья
Торчат на нем и глухо шелестят.

Но скрученные намертво суставы
Он так развил, что, кажется, ударь —
И запоет он колоколом славы,
И из ствола закапает янтарь.

Вглядись в него: он важен и спокоен
Среди своих безжизненных равнин.
Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле, даже и один.

1957

СТИРКА БЕЛЬЯ

В стороне от шоссейной дороги,
В городишке из хаток и лип,
Хорошо постоять на пороге
И послушать колодезный скрип.
Здесь, среди голубей и голубок,
Меж амбаров и мусорных куч,
Бьются по ветру тысячи юбок,
Шароваров, рубах и онуч.
Отдыхая от потного тела
Домотканой основой холста,
Здесь с монгольского ига висела
Этих русских одежд пестрота.
И виднелись на ней отпечатки
Человеческих выпуклых тел,
Повторяя в живом беспорядке,
Кто и как в них лежал и сидел.
Я сегодня в сообществе прачек,
Благодетельниц здешних мужей.
Эти люди не давят лежачих
И голодных не гонят взашей.
Натрудив вековые мозоли,
Побелевшие в мыльной воде,
Здесь не думают о хлебосолье,
Но зато не бросают в беде.
Благо тем, кто смятенную душу
Здесь омоет до самого дна,
Чтобы вновь из корыта на сушу
Афродитою вышла она!

1957

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Вечерний день томителен и ласков.
Стада коров, качающих бока,
В сопровожденье маленьких подпасков
По берегам идут издалека.
Река, переливаясь под обрывом,
Все так же привлекательна на вид,
И небо в сочетании счастливом,
Обняв ее, ликует и горит.
Из облаков изваянные розы
Свиваются, волнуются и вдруг,
Меняя очертания и позы,
Уносятся на запад и на юг.
И влага, зацелованная ими,
Как девушка в вечернем полусне,
Едва колеблет волнами своими,
Еще не упоенными вполне.
Она еще как будто негодует
И слабо отстраняется, но ей
Уже сквозь сон предчувствие рисует
Восторг и пламя августовских дней.

1957

ГОМБОРСКИЙ ЛЕС

В Гомборском лесу на границе Кахети
Раскинулась осень. Какой бутафор
Устроил такие поминки о лете
И киноварь с охрой на листьях растер?

Меж кленом и буком ютился шиповник,
Был клен в озаренье и в зареве бук,
И каждый из них оказался виновник
Моих откровений, восторгов и мук,

В кизиловой чаще кровавые жилы
Топорщил кустарник. За чащей вдали
Рядами стояли дубы-старожилы
И тоже к себе, как умели, влекли.

Здесь осень сумела такие пассажи
Наляпать из охры, огня и белил,
Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,
А клен, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лег на поляне, украшенной дубом,
Я весь растворился в пыланье огня.
Подобно бесчисленным арфам и трубам,
Кусты расступились и скрыли меня.

Я сделался нервной системой растений,
Я стал размышлением каменных скал,
И опыт осенних моих наблюдений
Отдать человечеству вновь пожелал.

С тех пор мне собратьями сделались горы,
И нет мне покоя, когда на трубе
Поют в сентябре золотые Гомборы,
И гонят в просторы, и манят к себе.

1957

СЕНТЯБРЬ

Сыплет дождик большие горошины,
Рвется ветер, и даль нечиста.
Закрывается тополь взъерошенный
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,
Как сквозь арку из каменных плит,
В это царство тумана и морока
Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена
Облаками, и значит, не зря,
Словно девушка, вспыхнув, орешина
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай
Кисть за кистью, и на полотне
Золотой, как огонь, и гранатовой
Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце, зыбкую
Молодую царевну в венце
С беспокойно скользящей улыбкою
На заплаканном юном лице.

1957

ВЕЧЕР НА ОКЕ

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.
С утра обремененная работой,
Трудом лесов, заботами полей,
Природа смотрит как бы с неохотой
На нас, неочарованных людей.
И лишь когда за темной чащей леса
Вечерний луч таинственно блеснет,
Обыденности плотная завеса
С ее красот мгновенно упадет.
Вздохнут леса, опущенные в воду,
И, как бы сквозь прозрачное стекло,
Вся грудь реки приникнет к небосводу
И загорится влажно и светло.
Из белых башен облачного мира
Сойдет огонь, и в нежном том огне,
Как будто под руками ювелира,
Сквозные тени лягут в глубине.
И чем ясней становятся детали
Предметов, расположенных вокруг,
Тем необъятней делаются дали
Речных лугов, затонов и излук.
Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
В его живых чертах распознаешь.

1957

* * *

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Старый ли дуб зашептался с сосной,
Или вдали заскрипела рябина,
Или запела щегла окарина,
Или малиновка, маленький друг,
Мне на закате ответила вдруг?

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Ты ли, которая снова весной
Вспомнила наши прошедшие годы,
Наши заботы и наши невзгоды,
Наши скитанья в далеком краю, —
Ты, опалившая душу мою?

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Утром и вечером, в холод и зной,
Вечно мне слышится отзвук невнятный,
Словно дыханье любви необъятной,
Ради которой мой трепетный стих
Рвался к тебе из ладоней моих...

1957

ГРОЗА ИДЕТ

Движется нахмуренная туча,
Обложив полнеба вдалеке,
Движется, огромна и тягуча,
С фонарем в приподнятой руке.

Сколько раз она меня ловила,
Сколько раз, сверкая серебром,
Сломанными молниями била,
Каменный выкатывала гром!

Сколько раз, ее увидев в поле,
Замедлял я робкие шаги
И стоял, сливаясь поневоле
С белым блеском вольтовой дуги!

Вот он — кедр у нашего балкона.
Надвое громами расщеплен,
Он стоит, и мертвая корона
Подпирает темный небосклон.

Сквозь живое сердце древесины
Пролегает рана от огня,
Иглы почерневшие с вершины
Осыпают звездами меня.

Пой мне песню, дерево печали!
Я, как ты, ворвался в высоту,
Но меня лишь молнии встречали
И огнем сжигали на лету.

Почему же, надвое расколот,
Я, как ты, не умер у крыльца,
И в душе все тот же лютый голод,
И любовь, и песни до конца!

1957

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

Золотой светясь оправой
С синим морем наравне,
Дремлет город белоглавый,
Отраженный в глубине.

Он сложился из скопленья
Белой облачной гряды
Там, где солнце на мгновенье
Полыхает из воды.

Я отправлюсь в путь-дорогу,
В эти дальние края,
К белоглавому чертогу
Отыщу дорогу я.

Я открою все ворота
Этих облачных высот,
Заходящим оком кто-то
Луч зеленый мне метнет.

Луч, подобный изумруду,
Золотого счастья ключ —
Я его еще добуду,
Мой зеленый слабый луч.

Но бледнеют бастионы,
Башни падают вдали,
Угасает луч зеленый,
Отдаленный от земли.

Только тот, кто духом молод,
Телом жаден и могуч,
В белоглавый прянет город
И зеленый схватит луч!

1958

У ГРОБНИЦЫ ДАНТЕ

Мне мачехой Флоренция была,
Я пожелал покоиться в Равенне.
Не говори, прохожий, о измене,
Пусть даже смерть клеймит ее дела.

Над белой усыпальницей моей
Воркует голубь, сладостная птица,
Но родина и до сих пор мне снится,
И до сих пор я верен только ей.

Разбитой лютни не берут в поход,
Она мертва среди родного стана.
Зачем же ты, печаль моя, Тоскана,
Целуешь мой осиротевший рот?

А голубь рвется с крыши и летит,
Как будто опасается кого-то,
И злая тень чужого самолета
Свои круги над городом чертит.

Так бей, звонарь, в свои колокола!
Не забывай, что мир в кровавой пене!
Я пожелал покоиться в Равенне,
Но и Равенна мне не помогла.

1958

ГОРОДОК

Целый день стирает прачка,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.

Целый день она таращит
Умные глазенки,
Если дома кто заплачет —
Заскулит в сторонке.

А кому сегодня плакать
В городе Тарусе?
Есть кому в Тарусе плакать —
Девочке Марусе.

Опротивели Марусе
Петухи да гуси.
Сколько ходит их в Тарусе,
Господи Исусе!

«Вот бы мне такие перья
Да такие крылья!
Улетела б прямо в дверь я,
Бросилась в ковыль я!

Чтоб глаза мои на свете
Больше не глядели,
Петухи да гуси эти
Больше не галдели!»

Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси,
Господи Исусе!

1958

ЛАСТОЧКА

Славно ласточка щебечет,
Ловко крыльями стрижет,
Всем ветрам она перечит,
Но и силы бережет.
Реет верхом, реет низом,
Догоняет комара
И в избушке под карнизом
Отдыхает до утра.

Удивлен ее повадкой,
Устремляюсь я в зенит,
И душа моя касаткой
В отдаленный край летит.
Реет, плачет, словно птица,
В заколдованном краю,
Слабым клювиком стучится
В душу бедную твою.

Но душа твоя угасла,
На дверях висит замок.
Догорело в лампе масло,
И не светит фитилек.
Горько ласточка рыдает
И не знает, как помочь,
И с кладбища улетает
В заколдованную ночь.

1958

ПЕТУХИ ПОЮТ

На сараях, на банях, на гумнах
Свежий ветер вздувает верхи.
Изливаются в возгласах трубных
Звездочеты ночей — петухи.

Нет, не бьют эти птицы баклуши,
Начиная торжественный зов!
Я сравнил бы их темные души
С циферблатами древних часов.

Здесь, в деревне, и вы удивитесь,
Услыхав, как в полуночный час
Трубным голосом огненный витязь
Из курятника чествует вас.

Сообщает он кучу известий,
Непонятных, как вымерший стих,
Но таинственный разум созвездий
Несомненно присутствует в них.

Ярко светит над миром усталым
Семизвездье Большого Ковша,
На земле ему фокусом малым
Петушиная служит душа.

Изменяется угол паденья,
Напрягаются зренье и слух,
И, взметнув до небес оперенье,
Как ужаленный, кличет петух.

И приходят мне в голову сказки
Мудрецами отмеченных дней,
И блуждаю я в них по указке
Удивительной птицы моей.

Пел петух каравеллам Колумба,
Магеллану средь моря кричал,
Не сбиваясь с железного румба,
Корабли приводил на причал.

Пел Петру из коломенских далей,
Собирал конармейцев в поход,
Пел в годину великих печалей,
Пел в эпоху железных работ.

И теперь, на границе историй,
Поднимая свой гребень к луне,
Он, как некогда витязь Егорий,
Кличет песню надзвездную мне!

1958

ПОДМОСКОВНЫЕ РОЩИ

Жучок ли точит древесину
Или скоблит листочек тля,
Сухих листов своих корзину
Несет мне осенью земля.

В висячем золоте дубравы
И в серебре березняки
Стоят, как знамения славы,
На берегах Москвы-реки.

О эти рощи Подмосковья!
С каких давно минувших дней
Стоят они у изголовья
Далекой юности моей!

Давно все стрелы отсвистели
И отгремели все щиты,
Давно отплакали метели
Лихое время нищеты,

Давно умолк Иван Великий,
И только рощи в поздний час
Все с той же грустью полудикой
Глядят с окрестностей на нас.

Леса с обломками усадеб,
Места с остатками церквей
Все так же ждут вороньих свадеб
И воркованья голубей.

Они, как комнаты, просторны,
И ранней осенью с утра
Поют в них маленькие горны
И вторит горнам детвора.

А мне-то, господи помилуй,
Все кажется, что вдалеке
Трубит коломенец служилый
С пищалью дедовской в руке.

1958

НА ЗАКАТЕ

Когда, измученный работой,
Огонь души моей иссяк,
Вчера я вышел с неохотой
В опустошенный березняк.

На гладкой шелковой площадке,
Чей тон был зелен и лилов,
Стояли в стройном беспорядке
Ряды серебряных стволов.

Сквозь небольшие расстоянья
Между стволами, сквозь листву,
Небес вечернее сиянье
Кидало тени на траву.

Был тот усталый час заката,
Час умирания, когда
Всего печальней нам утрата
Незавершенного труда,

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Несоответствия огромны,
И несмотря на интерес,
Лесок березовый Коломны
Не повторял моих чудес.

Душа в невидимом блуждала,
Своими сказками полна,
Незрячим взором провожала
Природу внешнюю она.

Так, вероятно, мысль нагая,
Когда-то брошена в глуши,
Сама в себе изнемогая,
Моей не чувствует души.

1958

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

1958

РУБРУК В МОНГОЛИИ

НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

Мне вспоминается доныне,
Как с небольшой командой слуг,
Блуждая в северной пустыне,
Въезжал в Монголию Рубрук.

«Вернись, Рубрук!» — кричали птицы.
«Очнись, Рубрук! — скрипела ель. —
Слепил мороз твои ресницы,
Сковала бороду метель.

Тебе ль, монах, идти к монголам
По гребням голым, по степям,
По разоренным этим селам,
По непроложенным путям?

И что тебе, по сути дела,
До измышлений короля?
Ужели вправду надоела
Тебе французская земля?

Небось в покоях Людовика
Теперь и пышно и тепло,
А тут лишь ветер воет дико
С татарской саблей наголо.

Тут ни тропинки, ни дороги,
Ни городов, ни деревень,
Одни лишь Гоги да Магоги
В овчинных шапках набекрень!»

А он сквозь Русь спешил упрямо,
Через пожарища и тьму,
И перед ним вставала драма
Народа, чуждого ему.

В те дни, по милости Батыев,
Ладони выев до костей,
Еще дымился древний Киев
У ног непрошеных гостей.

Не стало больше песен дивных,
Лежал в гробнице Ярослав,
И замолчали девы в гривнах,
Последний танец отплясав.

И только волки да лисицы
На диком празднестве своем
Весь день бродили по столице
И тяжелели с каждым днем.

А он, минуя все берлоги,
Уже скакал через Итиль
Туда, где Гоги и Магоги
Стада упрятали в ковыль.

Туда, к потомкам Чингисхана,
Под сень неведомых шатров,
В чертог восточного тумана,
В селенье северных ветров!

ДОРОГА ЧИНГИСХАНА

Он гнал коня от яма к яму,
И жизнь от яма к яму шла
И раскрывала панораму
Земель, обугленных дотла.

В глуши восточных территорий,
Где ветер бил в лицо и грудь,
Как первобытный крематорий,
Еще пылал Чингисов путь.

Еще дымились цитадели
Из бревен рубленных капелл,
Еще раскачивали ели
Останки вывешенных тел.

Еще на выжженных полянах,
Вблизи низинных родников
Виднелись груды трупов странных
Из-под сугробов и снегов.

Рубрук слезал с коня и часто
Рассматривал издалека,
Как, скрючив пальцы, из-под наста
Торчала мертвая рука.

С утра не пивши и не евши,
Прислушивался, как вверху
Визгливо вскрикивали векши
В своем серебряном меху.

Как птиц тяжелых эскадрильи,
Справляя смертную кадриль,
Кругами в воздухе кружили
И простирались на сто миль.

Но, невзирая на молебен
В крови купающихся птиц,
Как был досель великолепен
Тот край, не знающий границ!

Европа сжалась до предела
И превратилась в островок,
Лежащий где-то возле тела
Лесов, пожарищ и берлог.

Так вот она, страна уныний,
Гиперборейский интернат,
В котором видел древний Плиний
Жерло, простершееся в ад!

Так вот он, дом чужих народов
Без прозвищ, кличек и имен,
Стрелков, бродяг и скотоводов,
Владык без тронов и корон!

Попарно связанные лыком,
Под караулом, там и тут
До сей поры в смятенье диком
Они в Монголию бредут.

Широкоскулы, низки ростом,
Они бредут из этих стран,
И кровь течет по их коростам,
И слезы падают в туман.

ДВИЖУЩИЕСЯ ПОВОЗКИ МОНГОЛОВ

Навстречу гостю, в зной и в холод,
Громадой движущихся тел
Многоколесный ехал город
И всеми втулками скрипел,

Когда бы дьяволы играли
На скрипках лиственниц и лип,
Они подобной вакханальи
Сыграть, наверно, не смогли б.

В жужжанье втулок и повозок
Врывалось ржанье лошадей,
И это тоже был набросок
Шестой симфонии чертей.

Орда — неважный композитор,
Но из ордынских партитур
Монгольский выбрал экспедитор
C-dur на скрипках бычьих шкур.

Смычком ему был бич отличный,
Виолончелью бычий бок,
И сам он в позе эксцентричной
Сидел в повозке, словно бог.

Но богом был он в высшем смысле,
В том смысле, видимо, в каком
Скрипач свои выводит мысли
Смычком, попав на ипподром.

С утра натрескавшись кумыса,
Он ясно видел все вокруг —
То из-под ног метнется крыса,
То юркнет в норку бурундук,

То стрепет, острою стрелою,
На землю падает, подбит,
И дико движет головою,
Дополнив общий колорит.

Сегодня возчик, завтра воин,
А послезавтра божий дух,
Монгол и вправду был достоин
И жить, и пить, и есть за двух.

Сражаться, драться и жениться
На двух, на трех, на четырех —
Всю жизнь и воин и возница,
А не лентяй и пустобрех.

Ему нельзя ни выть, ни охать,
Коль он в гостях у росомах,
Забудет прихоть он и похоть,
Коль он охотник и галах.

В родной стране, где по излукам
Текут Онон и Керулен,
Он бродит с палицей и луком,
В цветах и травах до колен.

Но лишь ударит голос меди —
Пригнувшись к гриве скакуна,
Летит он к счастью и победе,
И чашу битвы пьет до дна.

Глядишь — и Русь пощады просит,
Глядишь — и Венгрия горит,
Китай шелка ему подносит,
Париж баллады говорит.

И даже вымершие гунны
Из погребенья своего,
Как закатившиеся луны,
С испугом смотрят на него!

МОНГОЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Здесь у повозок выли волки
И у бесчисленных станиц
Пасли скуластые монголки
Своих могучих кобылиц.

На этих бешеных кобылах,
В штанах из выделанных кож,
Судьбу гостей своих унылых
Они не ставили ни в грош.

Они из пыли, словно пули,
Летели в стойбище свое
И, став ли боком, на скаку ли,
Метали дротик и копье.

Был этих дам суров обычай,
Они не чтили женский хлам
И свой кафтан из кожи бычьей
С грехом носили пополам.

Всю жизнь свою тяжелодумки,
Как в этом принято краю,
Они в простой таскали сумке
Поклажу дамскую свою.

Но средь бесформенных иголок
Здесь можно было отыскать
Искусства древнего осколок
Такой, что моднице под стать

Литые серьги из Дамаска,
Запястья хеттских мастеров,
И то, чем красилась кавказка,
И то, чем славился Ростов.

Все то, что было взято с бою,
Что было снято с мертвеца,
Свыкалось с модницей такою
И ей служило до конца.

С глубоко спрятанной ухмылкой
Глядел на всадницу Рубрук,
Но вникнуть в суть красотки пылкой
Монаху было недосуг.

Лишь иногда, в потемках лежа,
Не ставил он себе во грех
Воображать, на что похожа
Она в постели без помех.

Но как ни шло воображенье,
Была работа свыше сил,
И, вспомнив про свое служенье,
Монах усилья прекратил.

ЧЕМ ЖИЛ КАРАКОРУМ

В те дни состав народов мира
Был перепутан и измят,
И был ему за командира
Незримый миру азиат.

От Танаида до Итили
Коман, хозар и печенег
Таких могил нагородили,
Каких не видел человек.

В лесах за Русью горемычной
Ютились мокша и мордва,
Пытаясь в битве необычной
Свои отстаивать права.

На юге — персы и аланы,
К востоку — прадеды бурят,
Те, что, ударив в барабаны,
«Ом, мани падме кум!» — твердят.

Уйгуры, венгры и башкиры,
Страна китаев, где врачи
Из трав готовят эликсиры
И звезды меряют в ночи.

Из тундры северные гости,
Те, что проносятся стремглав,
Отполированные кости
К своим подошвам привязав.

Весь этот мир живых созданий,
Людей, племен и целых стран
Платил и подати и дани,
Как предназначил Чингисхан.

Живи и здравствуй, Каракорум,
Оплот и первенец земли,
Чертог Монголии, в котором
Нашли могилу короли!

Где перед каменной палатой
Был вылит дуб из серебра
И наверху трубач крылатый
Трубил, работая с утра!

Где хан, воссев на пьедестале,
Смотрел, как буйно и легко
Четыре тигра изрыгали
В бассейн кобылье молоко!

Наполнив грузную утробу
И сбросив тяжесть портупей,
Смотрел здесь волком на Европу
Генералиссимус степей.

Его бесчисленные орды
Сновали, выдвинув полки,
И были к западу простерты,
Как пятерня его руки.

Весь мир дышал его гортанью,
И власти подлинный секрет
Он получил по предсказанью
На восемнадцать долгих лет.

КАК БЫЛО ТРУДНО РАЗГОВАРИВАТЬ С МОНГОЛАМИ

Еще не клеились беседы,
И с переводчиком пока
Сопровождала их обеды
Игра на гранях языка.

Трепать язык умеет всякий,
Но надо так трепать язык,
Чтоб щи не путать с кулебякой
И с запятыми закавык.

Однако этот переводчик,
Определившись толмачом,
По сути дела был наводчик
С железной фомкой и ключом.

Своей коллекцией отмычек
Он колдовал и вкривь и вкось
И в силу действия привычек
Плел то, что под руку пришлось.

Прищурив умные гляделки,
Сидели воины в тени,
И, явно не в своей тарелке,
Рубрука слушали они.

Не то чтоб сложной их натуры
Не понимал совсем м о н а х , —
Здесь пели две клавиатуры
На двух различных языках.

Порой хитер, порой наивен,
С мотивом спорил здесь мотив,
И был отнюдь не примитивен
Монгольских воинов актив.

Здесь был особой жизни опыт,
Особый дух, особый тон.
Здесь речь была как конский топот,
Как стук мечей, как копий звон.

В ней водопады клокотали
Подобно реву Ангары,
И часто мелкие детали
Приобретали роль горы.

Куда уж было тут латынцу,
Будь он и тонкий дипломат,
Псалмы втолковывать ордынцу
И бить в кимвалы наугад!

Как прототип башибузука,
Любой монгольский мальчуган
Всю казуистику Рубрука,
Смеясь, засовывал в карман.

Он до последней капли мозга
Был практик, он просил еды,
Хотя, по сути дела, розга
Ему б не сделала беды.

РУБРУК НАБЛЮДАЕТ НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА

С началом зимнего сезона
В гигантский вытянувшись рост,
Предстал Рубруку с небосклона
Амфитеатр восточных звезд.

В садах Прованса и Луары
Едва ли видели когда,
Какие звездные отары
Вращает в небе Кол-звезда.

Она горит на всю округу,
Как скотоводом вбитый кол,
И водит медленно по кругу
Созвездий пестрый ореол.

Идут небесные Бараны,
Шагают Кони и Быки,
Пылают звездные Колчаны,
Блестят астральные Клинки.

Там тот же бой и стужа та же,
Там тот же общий интерес.
Земля — лишь клок небес и даже,
Быть может, лучший клок небес.

И вот уж чудится Рубруку:
Свисают с неба сотни рук,
Грозят, светясь на всю округу:
«Смотри, Рубрук! Смотри, Рубрук!

Ведь если бог монголу нужен,
То лишь постольку, милый мой,
Поскольку он готовит ужин
Или быков ведет домой.

Твой бог пригоден здесь постольку,
Поскольку может он помочь
Схватить венгерку или польку
И в глушь Сибири уволочь.

Поскольку он податель мяса,
Поскольку он творец еды!
Другого бога-свистопляса
Сюда не пустят без нужды.

И пусть хоть лопнет папа в Риме,
Пускай напишет сотни булл, —
Над декретальями твоими
Лишь посмеется Вельзевул.

Он тут не смыслит ни бельмеса
В предначертаниях небес,
И католическая месса
В его не входит интерес».

Идут небесные Бараны,
Плывут астральные Ковши,
Пылают реки, горы, страны,
Дворцы, кибитки, шалаши,

Ревет медведь в своей берлоге,
Кричит стервятница-лиса,
Приходят боги, гибнут боги,
Но вечно светят небеса!

КАК РУБРУК ПРОСТИЛСЯ С МОНГОЛИЕЙ

Срывалось дело минорита,
И вскоре выяснил Рубрук,
Что мало толку от визита,
Коль дело валится из рук.

Как ни пытался божью манну
Он перед ханом рассыпать,
К предусмотрительному хану
не шла господня благодать.

Рубрук был толст и крупен ростом,
Но по природе не бахвал,
И хан его простым прохвостом,
Как видно, тоже не считал.

Но на святые экивоки
Он отвечал: «Послушай, франк!
И мы ведь тоже на Востоке
Возводим бога в высший ранг.

Однако путь у нас различен.
Ведь вы, Писанье получив,
Не обошлись без зуботычин
И не сплотились в коллектив.

Вы рады бить друг друга в морды,
Кресты имея на груди.
А ты взгляни на наши орды,
На наших братьев погляди!

У нас, монголов, дисциплина,
Убил — и сам иди под меч.
Выходит, ваша писанина
Не та, чтоб выгоду извлечь!»

Тут дали страннику кумысу
И, по законам этих мест,
Безотлагательную визу
Сфабриковали на отъезд.

А между тем вокруг становья,
Вблизи походного дворца
Трубили хану славословья
Несториане без конца.

Живали муллы тут и ламы,
Шаманы множества племен,
И снисходительные дамы
К ним приходили на поклон.

Тут даже диспуты бывали,
И хан, присутствуя на них,
Любил смотреть, как те канальи
Кумыс хлестали за двоих.

Монаха здесь, по крайней мере,
Могли позвать на арбитраж,
Но музыкант ему у двери
Уже играл прощальный марш.

Он в ящик бил четырехструнный,
Он пел и вглядывался в даль,
Где серп прорезывался лунный,
Литой, как выгнутая сталь.

1958

КНИГА ТРЕТЬЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

/НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ/

«СТОЛБЦЫ» 1929 ГОДА

1

КРАСНАЯ БАВАРИЯ

В глуши бутылочного рая,
где пальмы высохли давно,—
под электричеством играя,
в бокале плавало окно;
оно на лопастях блестело,
потом садилось, тяжелело;
над ним пивной дымок вился...
Но это описать нельзя.

И в том бутылочном раю
сирены дрогли на краю
кривой эстрады. На поруки
им были отданы глаза.
Они простерли к небесам
эмалированные руки
и ели бутерброд от скуки.

Вертятся двери на цепочках,
спадает с лестницы народ,
трещит картонною сорочкой,
с бутылкой водит хоровод;
сирена бледная за стойкой
гостей попотчует настойкой,
скосит глаза, уйдет, придет,
потом, с гитарой наотлет,
она поет, поет о милом:

как милого она кормила,
как ласков к телу и жесток —
впивался шелковый шнурок,
как по стаканам висла виски,
как, из разбитого виска
измученную грудь обрызгав,
он вдруг упал. Была тоска,
и все, о чем она ни п е л а , —
в бокале отливалось мелом.

Мужчины тоже все кричали,
они качались по столам,
по потолкам они качали
бедлам с цветами пополам;
один — язык себе откусит,
другой кричит: я — иисусик,
молитесь мне — я на кресте,
под мышкой гвозди и везде...
К нему сирена подходила,
и вот, колено оседлав,
бокалов бешеный конклав
зажегся как паникадило.

Глаза упали точно гири,
бокал разбили — вышла ночь,
и жирные автомобили,
схватив под мышки Пикадилли,
легко откатывали прочь.
Росли томаты из прохлады,
и вот, опущенные вниз —
краснобаварские закаты
в пивные днища улеглись,
а за окном — в глуши времен
блистал на мачте лампион.

Там Невский в блеске и тоске,
в ночи переменивший кожу,
гудками сонными воспет,
над баром вывеску тревожил;
и под свистками Германдады,
через туман, толпу, бензин,
над башней рвался шар крылатый
и имя «Зингер» возносил.

Авг. 1926

БЕЛАЯ НОЧЬ

Гляди: не бал, не маскарад,
здесь ночи ходят невпопад,
здесь, от вина неузнаваем,
летает хохот попугаем;
раздвинулись мосты и кручи,
бегут любовники толпой,
один — горяч, другой — измучен,
а третий — книзу головой...
Любовь стенает под листами,
она меняется местами,
то подойдет, то отойдет...
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,
вдруг барабан заговорил —
ракеты, в полукруг сомкнувшись,
вставали в очередь. Потом
летели огненные груши,
вертя бенгальским животом.

Качались кольца на деревьях,
спадали с факелов отрепья
густого дыма. А на Невке
не то сирены, не то девки —
но нет, сирены — шли наверх,
все в синеватом серебре,
холодноватые — но звали
прижаться к палевым губам
и неподвижным как медали.
Но это был один обман.

Я шел подальше. Ночь легла
вдоль по траве, как мел бела:
торчком кусты над нею встали
в ножнах из разноцветной стали,
и куковали соловьи
верхом на веточке. Казалось,
они испытывали жалость,
как неспособные к любви.

А там, надувшись, точно ангел,
подкарауливший святых,
на корточках привстал Елагин,

ополоснулся и затих:
он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, шел пароходик
с музыкой томной по бортам,
к нему навстречу лодки ходят,
гребцы не смыслят ни черта;
он их толкнет — они бежать,
бегут-бегут, потом опять
идут — задорные — навстречу.
Он им кричит: я искалечу!
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред,
и белый воздух липнет к крышам,
а ночь уже на ладан дышит,
качается как на весах.
Так недоносок или ангел,
открыв молочные глаза,
качается в спиртовой банке
и просится на небеса.

Июль 1926

ФУТБОЛ

Ликует форвард на бегу,
теперь ему какое дело? —
как будто кости берегут
его распахнутое тело.
Как плащ, летит его душа,
ключица стукается звонко
о перехват его плаща,
танцует в ухе перепонка,
танцует в горле виноград,
и шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,
его отравою поят,
но каблуков железный яд
ему страшнее во сто крат.
Назад!
Свалились в кучу беки,
опухшие от сквозняка,
и вот — через моря и реки,
просторы, площади, снега —

расправив пышные доспехи
и накренясь в меридиан,
слетает шар.

Ликует форвард на пожар,
свинтив железные колена,
но уж из горла бьет фонтан,
он падает, кричит: измена!
А шар вертится между стен,
дымится, пучится, хохочет,
глазок сожмет — спокойной ночи!
глазок откроет — добрый день!
и форварда замучить хочет.

Четыре гола пали в ряд,
над ними трубы не гремят,
их сосчитал и тряпкой вытер
меланхолический голкипер
и крикнул ночь. Приходит ночь.
Бренча алмазною заслонкой,
она вставляет черный ключ
в атмосферическую лунку —
открылся госпиталь.
        Увы!
Здесь форвард спит
        без головы.

Над ним два медные копья
упрямый шар веревкой вяжут,
с плиты загробная вода
стекает в ямки вырезные
и сохнет в горле виноград.
Спи, форвард, задом наперед!
Спи, бедный форвард!
Над землею
заря упала глубока,
танцуют девочки с зарею
у голубого ручейка;
все так же вянут на покое
и лиловом домике обои,
стареет мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.

Авг. 1926

2

МОРЕ

Вставали горы старины,
война вставала. Вкруг войны
скрипя, летели валуны,
сиянием окружены.
Чернело море в пароход,
и волны на его дорожке,
как бы серебряные ложки,
стучали. Как слепые кошки,
мерцая около бортов,
бесились весело. Из ртов,
из черных ртов у них стекал
поток горячего стекла,
стекал и падал, надувался,
качался, брызгал, упадал,
навстречу поднимался вал,
и шторм кружился в буйном вальсе,
и в пароход кричал: «Попался!
Ага, попался!» Или: «Ну-с,
вытаскивай из трюма груз!»

Из трусости или забавы
прожектор волны надавил
и, точно каменные бабы,
они ослепли. Ветер был
все осторожней, тише к флагу,
и флаг трещал как бы бумага
надорванная. Шторм упал
и вышел месяц наконец,
скользнул сияньем между палуб,
и мокрый глянец лег погреться

у труб. На волнах шел румянец,
зеленоватый от руля,
губами плотно шевеля...

Ноябрь 1926

ОФОРТ

И грянул на весь оглушительный зал:
— Покойник из царского дома бежал!

Покойник по улицам гордо идет,
его постояльцы ведут под уздцы;
он голосом трубным молитву поет
и руки ломает наверх.
Он — в медных очках, перепончатых рамах,
переполнен до горла подземной водой,
над ним деревянные птицы со стуком
смыкают на створках крыла.
А кругом — громобой, цилиндров бряцанье
и курчавое небо, а тут —
городская коробка с расстегнутой дверью
и за стеклышком — розмарин.

Янв. 1927

ЧЕРКЕШЕНКА

Когда заря прозрачной глыбой
придавит воздух над землей,
с горы, на колокол похожей,
летят двускатные орлы;
идут граненые деревья
в свое волшебное кочевье;
верхушка тлеет, как свеча,
пустыми кольцами бренча;
а там за ними, наверху,
вершиной пышною качая,
старик Эльбрус рахат-лукум
готовит нам и чашку чая.

И выплывает вдруг Кавказ
пятисосцовою громадой,
как будто праздничный баркас,

в провал парадный Ленинграда,
а там — черкешенка поет
перед витриной самоварной,
ей Тула делает фокстрот,
Тамбов сапожки примеряет,
но Терек мечется в груди,
ревет в разорванные губы —
и трупом падает она,
смыкая руки в треугольник.

Нева Арагвою течет,
а звездам — слава и почет:
они на трупик известковый
венец построили свинцовый,
и спит она... прости ей бог!
Над ней колышется венок,
и вкось несется по теченью
луны путиловской движенье.

И я стою — от света белый,
я в море черное гляжу,
и мир двоится предо мною
на два огромных сапога —
один шагает по Эльбрусу,
другой по-фински говорит,
и оба вместе убегают,
гремя по морю — на восток.

Янв. 1926

ЛЕТО

Пунцовое солнце висело в длину,
и весело было не мне одному —
людские тела наливались, как груши,
и зрели головки, качаясь, на них.
Обмякли деревья. Они ожирели
как сальные свечи. Казалося нам —
под ними не пыльный ручей пробегает,
а тянется толстый обрывок слюны.
И ночь приходила. На этих лугах
колючие звезды качались в цветах,

шарами легли меховые овечки,
потухли деревьев курчавые свечки;
пехотный пастух, заседая в овражке,
чертил диаграмму луны,
и грызлись собаки за свой перекресток
кому на часах постоять...

Авг. 1927

3

ЧАСОВОЙ

На карауле ночь густеет,
стоит, как кукла, часовой,
в его глазах одервенелых
четырехгранный вьется штык.
Тяжеловесны, как лампады,
знамена пышные полка
в серпах и молотах измятых
пред ним свисают с потолка.
Там пролетарий на коне
гремит, играя при луне;
там вой кукушки полковой
угрюмо тонет за стеной;
тут белый домик вырастает
с квадратной башенкой вверху,
на стенке девочка витает,
дудит в прозрачную трубу;
уж к ней сбегаются коровы
с улыбкой бледной на губах...
А часовой стоит впотьмах
в шинели конусообразной;
над ним звезды пожарик красный
и серп заветный в головах.
Вот — в щели каменные плит
мышиные просунулися лица,
похожие на треугольники из мела
с глазами траурными по бокам...
Одна из них садится у окошка
с цветочком музыки в руке,
а день в решетку пальцы тянет,
но не достать ему знамен.
Он напрягается и видит:
стоит, как кукла, часовой

и пролетарий на коне
его хранит, расправив копья,
ему знамена — изголовье
и штык ружья — сигнал к войне...
И день доволен им вполне.

Февр. 1927

НОВЫЙ БЫТ

Выходит солнце над Москвой,
старухи бегают с тоской:
куда, куда идти теперь?
Уж новый быт стучится в дверь!
Младенец нагладко обструган,
сидит в купели как султан,
прекрасный поп поет как бубен,
паникадилом осиян;
прабабка свечку выжимает,
младенец будто бы мужает,
но новый быт несется вскачь —
младенец лезет окарачь.
Ему не больно, не досадно,
ему назад не близок путь,
и звезд коричневые пятна
ему наклеены на грудь.
Уж он и смотрит свысока
(в его глазах — два оселка),
потом пирует до отказу
в размахе жизни трудовой,
гляди! гляди! он выпил квасу,
он девок трогает рукой
и вдруг, шагая через стол,
садится прямо в комсомол.
А время сохнет и желтеет,
стареет папенька-отец,
и за окошками в аллее
играет сваха в бубенец.
Ступни младенца стали шире,
от стали ширится рука,
уж он сидит в большой квартире,
невесту держит за рукав.

Приходит поп, тряся ногами,
в ладошке мощи бережет,
благословить желает стенки,
невесте — крестик подарить...
— Увы! — сказал ему младенец, —
уйди, уйди, кудрявый поп,
я — новой жизни ополченец,
тебе ж — один остался гроб! —
Уж поп тихонько плакать хочет,
стоит на лестнице, бормочет,
уходит в рощу, плачет лихо;
младенец в хохот ударял —
с невестой шепчется: «Шутиха,
скорей бы час любви настал!»

Но вот знакомые скатились,
завод пропел: ура! ура! —
и новый быт, даруя милость,
в тарелке держит осетра.
Варенье, ложечкой носимо,
успело сделаться свежо,
жених проворен нестерпимо,
к невесте лепится ужом,
и председатель на отвале,
чете играя похвалу,
приносит в выборгском бокале
вино солдатское, халву,
и, принимая красный спич,
сидит на столике кулич.

Ура! ура! — заводы воют,
картошкой дым под небеса,
и вот супруги па покое
сидят и чешут волоса.
И стало все благоприятно:
приходит ночь, ушла обратно,
и за окошком через миг
погасла свечка-пятерик.

Апр. 1927

ДВИЖЕНИЕ

Сидит извозчик как на троне,
из ваты сделана броня,
и борода, как на иконе,
лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
то вытянется, как налим,
то снова восемь ног сверкают
в его блестящем животе.

Дек. 1927

НА РЫНКЕ

В уборе из цветов и крынок
открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,
их шаль — невиданной красы,
и огурцы, как великаны,
прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
их глазки маленькие кротки,
но вот — разрезаны ножом —
они свиваются ужом;
и мясо властью топора
лежит, как красная дыра;
и колбаса кишкой кровавой
в жаровне плавает корявой;
и вслед за ней кудрявый пес
несет на воздух постный нос,
и пасть открыта словно дверь,
и голова — как блюдо,
и ноги точные идут,
сгибаясь медленно посередине.
Но что это?
Он с видом сожаленья
остановился наугад,
и слезы, точно виноград,
из глаз по воздуху летят.

Калеки выстроились в ряд,
один — играет на гитаре;
он весь откинулся назад,
ему обрубок помогает,
а на обрубке том — костыль
как деревянная бутыль.

Росток руки другой нам кажет,
он ею хвастается, машет,
он вырвал палец через рот,
и визгнул палец, словно крот,
и хрустнул кости перекресток,
и сдвинулось лицо в наперсток.

А третий — закрутив усы,
глядит воинственным героем,
в глазах татарских, чуть косых —
ни беспокойства, ни покоя;
он в банке едет на колесах,
во рту запрятан крепкий руль,
в могилке где-то руки сохнут,
в какой-то речке ноги спят...
На долю этому герою
осталось брюхо с головою
да рот большой, как рукоять,
рулем веселым управлять!

Вон — бабка с пленкой вместо глаз
сидит на стуле одиноком,
и книжка в дырочках волшебных
(для пальцев — милая сестра)
поет чиновников служебных,
и бабка пальцами быстра...

Ей снится пес.
И вот — поставлен
судьбы исправною рукой,
он перед ней стоит, раздавлен
своей прекрасною душой!
А вкруг — весы как магелланы,
отрепья масла, жир любви,
уроды словно истуканы
в густой расчетливой крови,
и визг молитвенной гитары,
и шапки полны, как тиары,

блестящей медью... Недалек
тот миг, когда в норе опасной
он и она, он — пьяный, красный
от стужи, пенья и вина,
безрукий, пухлый, и она —
слепая ведьма — спляшут мило
прекрасный танец-козерог,
да так, что затрещат стропила
и брызнут искры из-под ног...
И лампа взвоет как сурок.

Дек. 1927

ПИР

В железной комнате военной,
где спит винтовок небосклон,
я слышу гром созвездий медный,
копыт размеренный трезвон.
Она летит — моя телега,
гремя квадратами колес,
в телеге — громкие герои
в красноармейских колпаках.
Тут пулемет, как палец, бьется,
тут пуля вьется сосунком,
тут клич военный раздается,
врага кидая кверху дном.
А конь струится через воздух,
спрягает тело в длинный круг
и режет острыми ногами
оглобель ровную тюрьму.

Шумят точеные цветочки,
ладони жмутся горячей,
а ночь нам пива ставит бочку,
бочонок тостов и речей.
Под грохот каменных стаканов,
пивную медную струю —
мы пьем становье истуканов,
в штыки построенных в бою!
Мы пьем — и волосы трясутся,
от потных рук струится пар,
но лица плоски точно блюдца,

и лампы маленький пожар
сползает синими струями
на потемневшую ладонь;
знамена подняты баграми,
и в буквах — вдавленный огонь,
и хохот заячий винтовок,
шум споров, кочки недомолвок,
и штык, пронзающий стакан
через разорванный туман!

О, штык, летающий повсюду,
холодный тельцем, кровяной,
о, штык, пронзающий Иуду,
коли еще — и я с тобой!
Я вижу — ты летишь в тумане,
сияя плоским острием,
я вижу — ты плывешь морями
граненым вздернутым копьем.
Где раньше бог клубился чадный
и мир шумел — ему свеча;
где стаи ангелов печатных
летели в небе, волоча
пустые крылья шалопаев, —
там ты несешься, искупая
пустые вымыслы вещей —
ты, светозарный как Кащей!

Тебе еще не та забота,
тебе еще не тот полет —
за море стелется пехота,
и ты за море правишь ход.
За море стелются отряды,
вон — я стою, на мне — шинель
(с глазами белыми солдата
младенец нескольких недель).
Я вынул маленький кисетик,
пустую трубку без огня,
и пули бегают как дети,
с тоскою глядя на меня...

Янв. 1928

ИВАНОВЫ

Стоят чиновные деревья,
почти влезая в каждый дом;
давно их кончено кочевье —
они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
домами плотно заперта.

Но вот — все двери растворились,
повсюду шепот пробежал:
на службу вышли Ивановы
в своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
им подают свои скамейки;
герои входят, покупают
билетов хрупкие дощечки,
сидят и держат их перед собой,
не увлекаясь быстрою ездой.

А мир, зажатый плоскими домами,
стоит, как море, перед нами,
грохочут волны мостовые,
и через лопасти колес —
сирены мечутся простые
в клубках оранжевых волос.
Иные — дуньками одеты,
сидеть не могут взаперти:
ногами делая балеты,
они идут. Куда идти,
кому нести кровавый ротик,
кому сказать сегодня «котик»,
у чьей постели бросить ботик
и дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?!

О, мир, свинцовый идол мой,
хлещи широкими волнами
и этих девок упокой
на перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня — грозный мир,
в домах — спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
где ждет меня моя невеста,
где стулья выстроились в ряд,
где горка — словно Арарат,
повитый кружевцем бумажным,
где стол стоит и трехэтажный
в железных латах самовар
шумит домашним генералом?

О, мир, свернись одним кварталом,
одной разбитой мостовой,
одним проплеванным амбаром,
одной мышиною норой,
но будь к оружию готов:
целует девку — Иванов!

Янв. 1928

СВАДЬБА

Сквозь бревна хлещет длинный луч,
могучий дом стоит во мраке,
огонь раздвинулся горюч
сквозь окна в каменной рубахе;
медали вывесками меди
висят, фонарь пустынный бредит
над цифрой, выдавленной пальцем
мансарды бедным постояльцем.
И сквозь большие коридоры,
где балки лезут в потолок,
где человеческие норы
домашний выдавил сурок, —
нам кухня кажется органом,
она поет в сто двадцать дудок,
она сверкает толстым краном,
играет в свадебное блюдо;
кофейных мельниц на ветру
мы слышим громкую игру —
они качаются во мраке
четырехгранны, стройны, наги,
и на огне, как тамада,
сидит орлом сковорода.

Как солнце черное амбаров,
как королева грузных шахт,
она спластала двух омаров,
на постном масле просияв!
Она яичницы кокетство
признала сердцем бытия,
над нею проклинает детство
цыпленок, синий от мытья —
он глазки детские закрыл,
наморщил разноцветный лобик
и тельце сонное сложил
в фаянсовый столовый гробик.
Над ним не поп ревел обедаю,
махая п*о* ветру крестом,
ему кукушка не певала
коварной песенки своей —
он был закован в звон капусты,
он был томатами одет,
над ним, как крестик, опускался
на тонкой ножке сельдерей.
Так он почил в расцвете дней —
ничтожный карлик средь людей.

Часы гремят. Настала ночь.
В столовой пир горяч и пылок,
бокалу винному невмочь
расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая
сидит вокруг, пером блистая,
и лысый венчик горностая
венчает груди, ожирев
в поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
хрипят в неутоленной страсти,
и, распуская животы,
в тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужья
сидят как выстрел из ружья,
но крепость их воротников
до крови вырезала шеи,
а на столе — гремит вино,
и мяса жирные траншеи,
и в перспективе гордых харь

багровых, чопорных и скучных —
как сон земли благополучной,
парит на крылышках мораль.

О, пташка божья, где твой стыд?
И что́ к твоей прибавит чести
жених, приделанный к невесте
и позабывший гром копыт?
Его лицо передвижное
еще хранит следы венца;
кольцо на пальце молодое
сверкает с видом удальца;
и поп — свидетель всех ночей —
раскинув бороду забралом,
сидит как башня перед балом,
с большой гитарой на плече,

Так бей, гитара! Шире круг!
Ревут бокалы пудовые.
Но вздрогнул поп, завыл и вдруг
ударил в струны золотые!
И вот — окончен грозный ужин,
последний падает бокал,
и танец истуканом кружит
толпу в расселину зеркал,
руками скорченными машет,
кофейной мельницей вертит,
ладонями по роже мажет,
потом кричит: иди, иди,
ну что ж, иди!
И по засадам,
ополоумев от вытья,
огромный дом, виляя задом,
летит в пространство бытия.
А там — молчанья грозный сон,
нагие полчища заводов,
и над становьями народов —
труда и творчества закон.

Февр. 1928

ФОКСТРОТ

В ботинках кожи голубой,
в носках блистательного франта,
парит на воздухе герой
в дыму гавайского джаз-банда.
Внизу — бокалов воркотня,
внизу — ни ночи нет, ни дня,
внизу — на выступе оркестра,
как жрец, качается маэстро,
он бьет рукой по животу,
он машет палкой в пустоту,
и легких галстуков извилина
на грудь картонную пришпилена.

Ура! ура! Герой парит —
гавайский фокус над Невою!
То ручки сложит горбылем,
то ногу на ногу закинет,
то весь дугою изогнется,
но нету девки перед ним —
и улетает херувим,
и ножка в воздухе трясется.

А бал гремит — единорог,
и бабы выставили в пляске
у перекрестка гладких ног
чижа на розовой подвязке.
Смеется чиж — гляди! гляди!
но бабы дальше ускакали,
и медным лесом впереди
гудит фокстрот на пьедестале.

И, так играя, человек
родил в последнюю минуту
прекраснейшего из калек —
женоподобного Иуду.
Его музыкой не буди —
он спит сегодня помертвелый
с цыплячьим знаком на груди
росток болезненного тела.
А там — над бедною землей,

во славу винам и кларнетам —
парит на женщине герой,
стреляя в воздух пистолетом!

Март 1928

ФИГУРЫ СНА

Под одеялом, укрощая бег,
фигуру сна находит человек.

Не месяц — длинное бельмо
прельщает чашечки умов;
не звезды — канарейки ночи
блестящим реют многоточьем.
А в темноте — кроватей ряд,
на них младенцы спят подряд;
большие белые тела
едва покрыло одеяло,
они заснули как попало:
один в рубахе голубой
скатился к полу головой;
другой, застыв в подушке душной,
лежит сухой и золотушный,
а третий — жирный как паук,
раскинув рук живые снасти,
храпит и корчится от страсти,
лаская призрачных подруг.

А там — за черной занавеской,
во мраке дедовских времен,
старик-отец, гремя стамеской,
премудрости вкушает сон.
Там шкаф глядит царем Давидом —
он спит в короне, толстопуз;
кушетка Евой обернулась —
она — как девка в простыне.
И лампа медная в окне,
как голубок веселый Н о е в , —
едва мерцает, мрак утроив,
с простой стамеской наравне.

Март 1928

ПЕКАРНЯ

Спадая в маленький квартал,
покорный вечер умирал,
как лампочка в стеклянной банке.
Зари причудливые ранки
дымились, упадая ниц;
на крышах чашки черепиц
встречали их подобьем лиц,
слегка оскаленных от злости.
И кот в трубу засунул хвостик.

Но крендель, вывихнув дугу,
застрял в цепи на всем скаку
и закачался над пекарней,
мгновенно делаясь центральной
фигурой. Снизу пекаря
видали: плавает заря
как масло вдоль по хлебным формам,
но этим формам негде лечь —
повсюду огненная течь,
храпит беременная печь
и громыхает словно Сормов.

Тут тесто, вырвав квашен днище,
как лютый зверь, в пекарне рыщет
ползет, клубится, глотку давит,
огромным рылом стену трет;
стена трещит: она не вправе
остановить победный ход.
Уж воют вздернутые бревна,
но вот — через туман и дождь,
подняв фонарь шестиугольный,
ударил в сковороду в о ж д ь, —
и хлебопеки сквозь туман,
как будто идолы в тиарах,
летят, играя на цимбалах
кастрюль неведомый канкан.

Как изукрашенные стяги,
лопаты ходят тяжело,
и теста ровные корчаги
плывут в квадратное жерло.

И в этой красной от натуги
пещере всех метаморфоз
младенец-хлеб приподнял руки
и слово стройно произнес.
И пекарь огненной трубой
трубил о нем во мрак ночной.

А печь, наследника родив
и стройное поправив чрево,
стоит стыдливая, как дева
с ночною розой на груди.
И кот, в почетном сидя месте,
усталой лапкой рыльце крестит,
зловонным хвостиком вертит,
потом кувшинчиком сидит.
Сидит-сидит и улыбнется,
и вдруг исчез. Одно болотце
осталось в глиняном полу.
И утро выплыло в углу.

Апр. 1928

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

В моем окне — на весь квартал
Обводный царствует канал.

Ломовики как падишахи,
коня запутав медью блях,
идут закутаны в рубахи,
с нелепой важностью нерях.
Вокруг — пивные встали в ряд,
ломовики в пивных сидят
и в окна конских морд толпа
глядит, мотаясь у столба,
и в окна конских морд собор
глядит, поставленный в упор.
А там за ним, за морд собором,
течет толпа на полверсты,
кричат слепцы блестящим хором,
стальные вытянув персты.
Маклак штаны на воздух мечет,
ладонью бьет, поет как кречет:

маклак — владыка всех штанов,
ему подвластен ход миров,
ему подвластно толп движенье,
толпу томит штанов круженье,
и вот — она, забывши честь,
стоит, не в силах глаз отвесть,
вся — прелесть и изнеможенье!

Кричи, маклак, свисти уродом,
мечи штаны под облака!
Но перед сомкнутым народом
иная движется река:
один — сапог несет на блюде,
другой — поет собачку-пудель,
а третий, грозен и румян,
в кастрюлю бьет как в барабан.
И нету сил держаться боле:
толпа в плену, толпа в неволе,
толпа лунатиком идет,
ладони вытянув вперед.

А вкруг — черны заводов замки,
высок под облаком гудок,
и вот опять идут мустанги
на колоннаде пышных ног.
И воют жалобно телеги,
и плещет взорванная грязь,
и над каналом спят калеки,
к пустым бутылкам прислонясь.

Июнь 1928

БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Закинув дудку на плечо
как змея, как сирену,
с которой он теперь течет
пешком, томясь, в геенну,
в которой — рев, в которой — рык
и пятаков летанье золотое —
так вышел музыкант-старик.

За ним бежали двое.
Один — сжимая скрипки тень,
как листиком махал ей;
он был горбатик, разночинец, шаромыжка
с большими щупальцами рук,
его вспотевшие подмышки
протяжный издавали звук.

Другой был дядя и борец
и чемпион гитары —
огромный нес в руках крестец
с роскошной песнею Тамары.
На том крестце — семь струн железных,
и семь валов, и семь колков,
рукой построены полезной,
болтались в виде уголков.

На стогнах солнце опускалось,
неслись извозчики гурьбой,
как бы фигуры пошехонцев
на волокнистых лошадях;
а змей в колодце среди окон
развился вдруг как медный локон,
взметнулся вверх тупым жерлом
и вдруг — завыл... Глухим орлом
был первый звук. Он, грохнув, пал;
за ним второй орел предстал;
орлы в кукушек превращались,
кукушки в точки уменьшались,
и точки, горло сжав в комок,
упали в окна всех домов.

Тогда горбатик, скрипочку
приплюснув подбородком,
слепил перстом улыбочку
на личике коротком
и, визгнув поперечиной
по маленьким струн*а*м,
заплакал — искалеченный —
ти-лим-там-там.

Система тронулась в порядке,
качались знаки вымысла,
и каждый слушатель украдкой

слезою чистой вымылся,
когда на подоконниках
средь музыки и грохота
легла толпа поклонников
в подштанниках и кофтах.

Но богослов житейской страсти
и чемпион гитары
подъял крестец, поправил части
и с песней нежною Тамары
уста тихонько растворил.
И все умолкло...
Звук самодержавный,
глухой как шум Куры,
роскошный как мечта,
пронесся...
И в звуке том — Тамара, сняв штаны,
лежала на кавказском ложе,
сиял поток раздвоенной спины,
и юноши стояли тоже.
И юноши стояли,
махали руками,
и стр-растные дикие звуки
всю ночь р-раздавалися там!!!
Ти-лим-там-там!

Певец был строен и суров,
он пел, трудясь, среди домов,
средь выгребных высоких ям
трудился он, могуч и прям.
Вокруг него — система кошек,
система ведер, окон, дров
висела, темный мир размножив
на царства узкие дворов.
Но что был двор? Он был трубой,
он был туннелем в те края,
где спит Тамара боевая,
где сохнет молодость моя,
где пятаки, жужжа и млея
в неверном свете огонька,
летят к ногам златого змея
и пляшут, падая в века!

Авг. 1928

4

КУПАЛЬЩИКИ

Кто — чернец — покинув печку,
лезет в ванну или тазик —
приходи купаться в речку,
отступись от безобразий!

Кто, кукушку в руку спрятав,
в воду падает с размаха —
во главе плывет отряда,
только дым идет из паха.

Все, впервые сняв одежды
и различные доспехи,
выплывают как невежды,
но потом идут успехи!

Влага нежною гусыней
щиплет части юных тел
и рукою водит синей,
если кто-нибудь вспотел.

Если кто-нибудь не хочет
оставаться долго мокрым —
трет себя сухим платочком
цвета воздуха и охры.

Если кто-нибудь томится
страстью или искушеньем, —
может быстро охладиться,
отдыхая без движенья.

Если кто любить не может,
но изглодан весь тоскою, —
сам себе теперь поможет,
тихо плавая с доскою.

О, река, невеста, мамка,
всех вместившая на лоне,
ты — не девка и не самка,
но святая на иконе!

Ты — не девка и не мамка,
но святая Парасковья,
нас, купальщиков, встречай
где песок и молочай!

Сент. 1928

НЕЗРЕЛОСТЬ

Младенец кашку составляет
из манных зерен голубых;
зерно, как кубик, вылетает
из легких пальчиков двойных.
Зерно к зерну — горшок наполнен
в вот, качаясь, он висит,
как колокол на колокольне,
квадратной силой знаменит.
Ребенок лезет вдоль по чащам,
ореховые рвет листы,
и над деревьями все чаще
его колеблются персты.
И девочки, носимы вместе,
к нему по облаку плывут;
одна из них, снимая крестик,
тихонько падает в траву.
Горшок клубится под ногою,
огня субстанция жива,
и девочка лежит нагою,
в огонь откинув кружева.
Ребенок тихо отвечает:
— Младенец я и не окреп,
как я могу к тебе причалить,
когда любовью не ослеп?
Красот твоих мне стыден вид,
закрой же ножки белой тканью,
смотри, как мой костер горит,
и не готовься к поруганью! —

И, тихо взяв мешалку в руки,
он мудро кашу помешал —
так он урок живой науки
душе несчастной преподал.

Сент. 1928

НАРОДНЫЙ ДОМ

1

Весь мир обоями оклеен —
пещерка малая любви,
окошки в образе расселин
и занавески в виде роз;
знакомых карточки приятные
прибиты клиньями вокруг
стола. «О, ночки, ночки невозвратные!» —
поет гитара во весь дух.
Гитара медная поет,
рыдает брюхо деревянное,
спеши, медовая салопница —
тут девки сели на отлет —
упали ручки вертикальные,
на солнце кожа шелушится,
облуплен нос и плоски лица
подержанные. Девки сели,
плетут в мочалу волоса,
взбивают жирные постели
и говорят: — Мы очень рады,
сидим кружками, ждем награды,
она придет — волшебница приятная,
приедут на колесах женихи,
кафтаны снимут, впечатления
свои изложат от души.
Мы их за ручки все хватаем,
с различным видом все хохочем,
потом чулочки одеваем —
какие ноги у нас длинные —
повыше видимых коленок! —
Так эти девочки невинные
болтали шумно меж собою,
играя весело с судьбою...

Но что за дело до судьбы,
когда в крови волненье,
когда, как мыльные клубы,
несутся впечатленья?
В трамвае движется компания,
проходит Кронверкский в окошке,
и лица лоснятся как плошки,
и платья с красными тюльпанами,
в поту желая быть красивыми,
играют ситцевыми сливами,
и руки кажутся прекрасными —
они все дальше-дальше тянутся,
и вот — сверкает кверху дном
Народный Дом.

2

Народный Дом — курятник радости,
амбар волшебного житья,
корыто праздничное страсти,
густое пекло бытия!
Тут колпаки красноармейские,
а с ними дамочки житейские
неслись задумчивым ручьем —
им шум столичный нипочем;
тут радость пальчиком водила,
она к народу шла потехою:
тут каждый мальчик забавлялся,
кто дамочку кормил орехами,
а кто над пивом забывался.
Тут гор американские хребты,
над ними девочки — богини красоты —
в повозки быстрые запрятались,
повозки катятся вперед,
красотки нежные расплакались,
упав совсем на кавалеров.
И много было тут других примеров.

Тут девка водит на аркане
свою пречистую собачку,
сама вспотела вся до нитки,
и грудки выехали вверх, —
а та собачка пречестная,

весенним соком налитая,
грибными ножками неловко
вдоль по дорожке шелестит.

Подходит к девке именитой
мужик роскошный, апельсинщик,
он держит тазик разноцветный,
в нем апельсины аккуратные лежат.
Как будто циркулем очерченные круги,
они волнисты и упруги,
как будто маленькие солнышки, они
легко катаются по жести
и пальчикам лепечут: лезьте, лезьте!

И девка, кушая плоды,
благодарит рублем прохожего,
она зовет его на «ты»,
но ей другого хочется — хорошего.
Она хорошего глазами ищет,
но перед ней качели свищут.

В качелях девочка-душа
висела, ножкою шурша,
она по воздуху летела,
и теплой ножкою вертела,
и теплой ручкою звала.

Другой же, видев преломленное
свое лицо в горбатом зеркале,
стоял молодчиком оплеванным,
хотел смеяться, но не мог;
желая знать причину искривления,
он как бы делался ребенком
и шел назад на четвереньках —
под сорок лет — четвероног.

Едва волненье улеглось,
опять круженье продолжается;
припухли люди от дыхания,
тут жмутся девочки друг к дружке;
ходить не так уже удобно,
спускаясь к речке, растекаются
они рассеянными парочками,
в коленки нежные садясь.

3

Но перед этим праздничным угаром
иные будто спасовали —
они довольны не амбаром радости,
они тут в молодости побывали;
и вот теперь, шепча с бутылкою,
прощаясь с молодостью пылкою,
они скребут стакан зубами,
они губой его высасывают,
они в Баварии рассказывают
свои веселия шальные;
ведь им бутылка — словно матушка,
души медовая салопница,
целует слаще всякой девки,
а холодит — сильнее Невки...

Они глядят в стекло.
В стекле восходит утро.
Фонарь бескровный, как глиста,
стрелой болтается в кустах.
И по трамваям рай качается —
тут каждый мальчик улыбается,
а девочка наоборот —
закрыв глаза, открыла рот
и ручку выбросила теплую
на приподнявшийся живот.

Трамвай, шатаясь, чуть идет...

1927—1928

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

СЕРДЦЕ-ПУСТЫРЬ

Прозрачней лунного камня
Стынь, сердце-пустырь.
Полный отчаяньем каменным,
Взор я в тебя вперил.
С криком несутся стрижи, —
Лет их тревожен рассеянный,
Грудью стылой лежит
Реки обнаженный бассейн.

О река, невеста мертвая,
Грозным покоем глубокая,
Венком твоим желтым
Осенью сохнет осока.
Я костер на твоем берегу
Разожгу красным кадилом,
Стылый образ твой сберегу,
Милая.

Прозрачней лунного камня
Стынь, сердце-пустырь.
Точно полог, звездами затканный,
Трепещет ширь.
О река, невеста названая,
Смерть твою
Пою.

И, один, по ночам — окаянный —
Грудь
Твою
Целую.

<1921—1922>

DISCIPLINA CLERICALIS

Хлоя

Если сок твой неизменен,
Трубадурская душа,
Если песни, как каменья,
Упадают и блестят,
Если даже в этом мире
Чудотворном и крутом
В мавританские псалтири
Скользкой уткой побежал, —
Не надейся и ушами
На сигнал не поводи,
И морщинистый листочек
В рукаве до утра прячь.

Я

Хлоя, Хлоя, тонкой ранкой
Сердце жалуется мне,
И перо в мохнатой банке
Тушью траурной чертит.
Я не волен жизни верить —
Глаз бежит вокруг оси,
И внизу у самой двери
Встал с решеткой Зурбаран.

Хлоя

Положи ярем, бессильный,
Разломи свое перо,
И малиновые крылья
В узелочек запакуй.
У приказчика Евмена
Каша ходит на воде —
Подними ему полено
И кофейню поверти.

Я

Человеки ходят с брюхом,
От него идут лучи,
И мясистые науки
Машут маслом на него.
А потом, немного треснув,
В ящик бархатный ползет,
И тропическая плесень
Сонным заревом вверху.

Хлоя

Встань, гордец, бумаг водитель,
Развяжи свои глаза:
Розовой водой омыты,
Поднимаются миры,
В бедрах узкая Кастилья,
А в листочке, погляди, —
Приклеились без усилья
Те же Ева и Адам.

Философ

Пойте, пойте, хвалите, хлещите в ладоши —
Я вещам воспеваю хвалу,
И раструбы веков мой голос множат,
Он, как башня, стоит на юру.
Это в них посредине движенья и громы,
Неприметные глазу пока,
Это в них закрутились на конях фаэтоны,
Перекрестки, моря, берега.
И не доски — а сестры, не железы — а братья.
Где рука твоя, Смерть, покажи!
Пойте, пойте, хвалите, валитесь в объятья,
Целовайтесь, никто не дрожи!

V—VI. 1926

ДУЭЛЬ

Петух возвышается стуком,
И падают воздухи вниз,
Но легким домашним наукам
Мы в этой глуши предались.
Матильда, чьей памяти краше,
И выше мое житье,
Чья ручка играет, и машет,
И мысли пугливо метет,
Не надо! И ты, моя корка,
И ты, голенастый стакан,
Рассыпчатой скороговоркой
Припомни, как жил капитан,
Как музыкою батальонов
Вспоенный, сожженный дотла,
Он шел на коне вороненом,
В подзорный моргая кулак.
Я знаю — таков иноземный,
Заморский поставлен закон:
Он был обнаружен под Чесмой,
Потом в Петербург приведен.
На рауты у Виссарьона
Белинского или еще
С флакончиком одеколона
К Матильде он шел на расчет.
Мгновенное поле взмахнуло
Разостланной простыней,
И два гладкоствольные дула
На встречу сошлись предо мной.
Но чесменские карусели
Еще не забыл капитан,
И как канонады кудели
Летели за картой в стакан.
Другой — гейдельбергский малютка
С размахом волос по ушам,
Лазоревую незабудку
Новалиса чтил по ночам.

В те ночи, когда Страдивариус
Вздымал по грифу ладонь,
Лицо его вдруг раздевалось,
Бросало одежды в огонь,
И лезли века из-под шкафа,
И, голову в пальцы зажав,
Он звал рукописного графа
И рвал коленкоровый шарф,
Рыдал, о Матильде скучая,
И рюмки под крышей считая,
И перед собой представляя
Скрипучую Вертера ночь.
Был дождь.
Поднимались рассветы,
По крышам рвались облака,
С крыльца обходили кареты
И вязли в пустые снега, —
А два гладкоствольные дула,
Мгновенно срывая прицел,
Жемчужным огнем полыхнули,
И разом обои вздохнули,
С кровавою брызгой в лице.
Был чесменский выстрел навылет,
Другой — гейдсльбергский — насквозь, —
И что-то в оранжевом мыле
Дымилось и струйкой вилось.
Пока за Матильдой бежали,
Покуда искали попа,
Два друга друг другу пожали
Ладони под кровью рубах.
Наутро, позавтракав уткой,
Рассказывал в клубе корнет,
Что легкой пророс незабудкой
Остывший в дыму пистолет.
И, слушая вздор за окошком
И утку ладонью ловя,
Лакей виссарьоновский Прошка
Готовил обед для себя,
И, глядя на грохот пехоты
И звон отлетевших годин,
Склоняясь в кулак с позевотой,
Роняя страницы, Смирдин.

ВСЕ

11. VI. 26

ВОССТАНИЕ

Фрагменты Даниилу Хармсу, автору «Комедии города Петербурга»

Стругали радугу рубанки
В тот день испуганный, когда
Артиллерийские мустанги
О камни рвали повода,
И танки, всеми четырьмя
Большими банками гремя,
Валились.

. . . .

В мармеладный дом
Въезжал под знаменем закон,
Кроил портреты палашом,
Срывал рубашечки с и к о н , —
Закон брадат, священна власть,
Как пред Законом не упасть?

. . . .

Цари проехали по крыше,
Цари катали катыши,
То издалёка, то поближе,
И вот у самой подлой мыши
Поперло матом из души...
Цари запрятывались в кадку
Грызут песок, едят помадку,
То выпивают сладкий квас,
То замыкают на ночь г л а з , —
Совсем заснули. Ночь кружится
Между корон, между папах;
И вот к царю идет царица

. . . .

Они запрятывались в кадку,
Грызут песок, едят помадку,
То ищут яблоки в штанах,
Читают мрачные альбомы,
Вокруг династии гремят,
А радуга стоит над домом
И тоже, всеми четырьмя
Большими танками гремя,
Вдруг опустилась.

. . . .

                    На заре
Трещал Колчак в паникадило,
И панихиду по царе
Просвирня в дырку говорила,
Она тряслась, клубилась, выла,
Просила выдать ей мандат,—
И многое другое было.

. . . .

В аэроплане жил солдат,
Живет-живет,—вдруг заиграет,
По переулку полетит,—
Ему кричат, а он порхает
И ручку весело вертит,—
Все это ставлю вам на вид.

. . . .

Принц Вид, албанский губернатор,
И пляской Витта одержим,
Поехал ночью на экватор.
Глядит: Албания бежит,
Сама трясется не своя,
И вот на кончике копья,
Чулочки сдернув, над Невою,
Перепотевшею от бою,
На перевернутый гранит
Вознесся Губернатор Вид.
И это ставлю вам на вид.

. . . .

И видит он:
             стоят дозоры,
На ружьях крылья отогрев,

И вдоль чугунного забора
Застекленевшая «Аврора»
Играет жерлами наверх,
И вдруг завыла.
День мотался
Между корон, между папах,
Брюхатых залпов, венских вальсов,
Мотался, падал, спотыкался,
Искал царя — встречал попа,
Искал попа — встречал солдата,
Солдат завел аэроплан,
И вот последняя граната,
Нерасторопна и брюхата,
Разорвалась...
. . . .

Россия взвыла,
Копыта в с т а л и , — день ушел,
И царские мафусаилы,
Надев на голову мешок,
Вдоль по карнизам и окошкам
Развесились по всем гвоздям.
Царь закачался и нарочно
Кричал, что все это — пустяк,
Что все пройдет и все остынет,
И что отныне и навек
На перекошенной Неве
И потревоженной пустыне
Его прольется благостыня.
. . . .

Но уж корона вкруг чела
Другие надписи прочла.
Все.

20.VIII.1926.

БАЛЛАДА ЖУКОВСКОГО

Дворец дубовый словно ларь,
глядит в окно курчавый царь,
цветочки точные пред ним
с проклятьем шепчутся глухим.
Идет луна в пустую ночь,
утопленник всплывает,
идет вода с покатых плеч,
ручьем течет на спину.
Он вытер синие глаза,
склонился и царю сказал:
«Ты, царь, — хранитель мира,
твоя восточная порфира
полмира вытоптала прочь.
Я жил в деревне круглой,
и вот — мой рот обуглен,
жена одна в гробу шумит,
красотка-дочь с тобою спит,
мой домик стал портретом,
а жизнь — подводным бредом!»

Царь смотрит конусом рябым,
в окне ломает руки,
стучит военным молотком,
но все убиты слуги,
одна любовница-жена
к царю спеша подходит,
царя по-братски кличет
и каркает по-птичьи...

Одна нога у ней ушла,
а тело молодое
упало около крыльца,
как столбик молодецкий.
Утопленник был рад вдвойне —

к войне он точит руки,
берет поклажу на дыбы,
к царю поклоном головы
он обратился резко
и опустился в речку.

Луна идет, кидая тень,
царь мечется в окошке,
дворец тихонько умирал,
а время шло — под горку,

Март 1927

* * *

1

Пошли на вечер все друзья,
один остался я, усопший.
В ковше напиток предо мной,
и чайник лезет вверх ногой,
вон паровоз бежит под Ропшей,
и ночь настала. Все ушли,
одни на вечер, а другие
ногами рушить мостовые
идут, идут... глядят, пришли —
какая чудная долина,
кусок избушки за холмом
торчит задумчивым бревном,
бежит вихрастая скотина,
и, клича дядьку на обед,
дудит мальчишка восемь лет.

2

Итак, пришли. Одной ногою
стоят в тарелке бытия,
играют в кости, пьют арак,
гадают — кто из них дурак.
«Увы, — сказала дева Там, —
гадать не подобает вам,
у вас и шансы все равны —
вы все Горфункеля сыны».

3

Все в ужасе свернулись в струнку.
Тогда приходит сам Горфункель:
«Здорово, публика! Здорово,
Испьем во здравие Петровы,
Данило, чашку подавай,
ты, Сашка, в чашку наливай,
а вы, Тамара Алексанна,
порхайте около и пойте нам «осанна!!!».

4

И вмиг начался страшный ад:
друзья испуганы донельзя,
сидят на корточках, кряхтят,
испачкали от страха рельсы,
и сам Горфункель, прыгнув метко,
сидит верхом на некой ветке
и нехотя грызет колено,
рыча и злясь попеременно.

5

Наутро там нашли три трупа.
Лука... простите, не Лука,
Данило, зря в преддверье пупа,
сидел и ждал пока, пока,
пока... всему конец приходит,
писака рифму вдруг находит,
воришка сядет на острог,
солдат приспустит свой курок,
у ночи все иссякнут жилы,
и все, о чем она тужила,
присядет около нее,
солдатское убрав белье...

6

Придет Данило, а за ним
бочком, бочком проникнет Шурка.
Глядят столы. На них окурки.

И стены шепчут им: «Усни,
усните, стрекулисты, это —
удел усопшего поэта».
А я лежу один, убог,
расставив кольца сонных ног,
передо мной горит лампада,
лежат стишки и сапоги,
и Кепка в виде циферблата
свернулась около ноги.

12.III.27

ПОХОД

Шинель двустворчатую гонит,
В какую даль — не знаю *сам*, —
Вокзалы встали коренасты,
Воткнулись в облако кресты,
Свертелась бледная дорога,
Шел батальон, дышали ноги
Мехами кожи, и винтовки —
Стальные дула обнажив —
Дышали холодом. Лежит,
Она лежит — дорога хмурая,
Дорога бледная моя.
Отпали облака усталые,
Склонились лица *тополей*, —
И каждый помнит, где жена,
Спокойствием окружена,
И плач трехлетнего ребенка,
В стакане капли, на стене —
Плакат войны: война войне.
На перевале меркнет день,
И тело тонет, словно тень,
И вот казарма встала рядом
Громадой жирных кирпичей —
В воротах меркнут часовые,
Занумерованные сном.

И шел, смеялся батальон,
И по пятам струился сон,
И по пятам дорога хмурая
Крепилась, падая. Вдали
Шеренги коек рисовались,
И наши тени раздевались,
И падали... И снова шли...

Ночь вылезала по бокам,
Надув глаза, легла к ногам,
Собачья ночь в глаза глядела,
Дышала потом, тяготела
По головам... Мы шли, мы шли...

В тумане плотном поутру
Труба, бодрясь, пробила зорю,
И лампа, споря с потолком,
Всплыла оранжевым пятном, —
Еще дымился под ногами
Конец дороги, день вставал,
И наши тени шли рядами
По бледным стенам — на привал.

<1927>

ПОПРИЩИН

Когда замерзают дороги
И ветер шатает кресты,
Безумными пальцами Гоголь
Выводит горбатые сны.
И вот, костенея от стужи,
От непобедимой тоски,
Качается каменный ужас,
А ветер стреляет в виски,
А ветер крылатку срывает,
Взрывает седые снега
И вдруг, по суставам спадая,
Ложится — покорный — к ногам.
Откуда такое величье?
И вот уж не демон, а тот —
Бровями взлетает Поприщин,
Лицо поднимает вперед.
Крутись в департаментах, ветер,
Разбрызгивай перья в поток,
Раскрыв перламутровый веер,
Испания встанет у ног.
Лиловой червонной мантильей
Взмахнет на родные поля,
И шумная выйдет Севилья
Встречать своего короля.
А он — исхудалый и тонкий,
В сиянье страдальческих глаз,
Поднимется...
...Снова потемки,
Кровать, сторожа, матрас,
Рубаха под мышками режет,
Скулит, надрывается Меджи,
И брезжит в окошке рассвет.

Хлещи в департаментах, ветер,
Взметай по проспекту снега,
Вали под сугробы карету
Сиятельного седока.
По окнам, колоннам, подъездам,
По аркам бетонных свай,
Срывай генеральские звезды,
В сугробы мосты зарывай.
Он вытянул руки, несется,
Ревет в ледяную трубу,
За ним снеговые уродцы,
Свернувшись, по крышам бегут.
Хватаются
За колокольни,
Врываются
В колокола,
Ложатся в кирпичные бойни
И снова летят из угла
Туда, где в последней отваге
Встречая слепой ураган, —
Качается в белой рубахе
И с мертвым лицом —
Фердинанд.

<1928>

РУКИ

Пером спокойным вам не передать,
Что чувствует сегодня сердце, роясь
В глубинах тела моего.
Стою один — опущенный по пояс
В большое горе. Горе, как вода,
Течет вокруг; как темная звезда —
Стоит над головой. Просторное, большое —
Оно отяготело навсегда, —
Большая темная вода.
Возьму крупицами разбросанное счастье,
Переломлю два лучика звезды,
У девушки лицо перецелую,
Переболею до конца искусство,
Всегда один, — я сохраню мою
Простую жизнь. Но почему она,
Она меня переболеть не хочет?
И каждый час, и каждый миг
Сознанья открывается родник:
У жизни два крыла, и каждое из них
Едва касается трудов моих.
Они летят — распахнуты, далече,
Ночуют на холодных площадях,
Наутро бьются в окна учреждений,
В заводские летают корпуса, —
И вот — теплом обвеянные лица
Готовы на работе слиться.
Мне кажется тогда:
Какая жизнь!
И неужели это так и нужно,
Чтоб в отдаленье жил писатель
И вечно неудобный, как ребенок?
Я говорю себе: не может быть,
И должен я совсем иначе жить.
Не может быть!

И жарок лёт минут,
И длится ожиданье,
И тонкие часы поют,
И вечер опустился на ладони,
И вот я увидал большие руки —
Они росли всегда со мной,
Чуть розоватые и выпуклые, и в морщинках,
И в узелочках жил, — сейчас они тверды,
Напряжены едва заметной дрожью,
Они спокойные и просятся к труду.
Я руки положу на подоконник —
Они спокойнее и тише станут,
Их ночью звезды обольют,
К ним утром зори прикоснутся,
Согреет кожу трудовое солнце,
Ну, а сейчас...
Сейчас пускай дрожат, —
Им все равно за мыслью не угнаться,
Она растрескалась, летит, изнемогая,
И все-таки еще твердит:
Простая,
Совсем простая — наша жизнь!

<1928>

МЕЧТЫ О ЖЕНИТЬБЕ

Через двадцать или тридцать лет
Стану я, наверно, лыс и сед.
Вот и встанет тогда передо мной
Вопрос о женитьбе моей роковой.
Всю жизнь врачуя,
Как больного, болеющего грыжей,
В тот миг ужасный полечу я
В объятия бесстыжей.
Уж гроб, пронзительно летая,
Вокруг меня жужжит всю ночь,
Уж пальцев судорожных стая
Свое перо прогонит прочь;
И, убелясь своей сединой,
Я буду двигать челюстью ослиной
И над красоткою шептать:
«О милая, быть может, спать
Пора». И вот перстом дрожащим
С табачным желтым ноготком
Я проберусь по ножке восходящей
И, заливаясь хохотком,
Два мерзкие бесстыдные словечка
Шепну в ушко. Застонет свечка,
Застонет юность, обернувшись вспять,
Застонет теплая квадратная кровать,
И под костлявым стариковским тазом
Две хари на стене причмокнут разом.

Авг. 1928

ПАДЕНИЕ ПЕТРОВОЙ

1

В легком шепоте ломаясь,
среди пальмы пышных веток,
она сидела, колыхаясь,
в центре однолетних деток.
Красотка нежная Петрова —
она была приятна глазу.
Платье тонкое лилово
ее охватывало сразу.
Она руками делала движенья,
сгибая их во всех частях,
как будто страсти приближенье
предчувствовала при гостях.
То самоварчик открывала
посредством маленького крана,
то колбасу ножом стругала —
белолица, как Светлана.
То очень долго извинялась,
что комната не прибрана,
то, сияя, улыбалась
молоденькому Киприну.

Киприн был гитары друг,
сидел на стуле он в штанах
и среди своих подруг
говорил красотке «ах!» —
что не стоят беспокойства
эти мелкие досады,
что домашнее устройство
есть для женщины преграда,
что, стремяся к жизни новой,
обедать нам приходится в столовой,
и как ни странно это утверждать —
женщину следует обожать.

Киприн был при этом слове
неожиданно красив,
вдохновенья неземного
он почувствовал прилив.
«Ах,—сказал он,—это не бывало
среди всех злодейств судьбы,
чтобы с женщин покрывало
мы сорвать теперь могли...
Рыцарь должен быть мужчина!
Свою даму обожать!
Посреди другого чина
стараться ручку ей пожать,
глядеть в глазок с возвышенной любовью,
едва она лишь только бровью
между прочим поведет —
настоящий мужчина свою жизнь отдает!
А теперь, друзья, какое
всюду отупенье нрава —
нету женщине покоя,
повсюду распущенная орава,—
деву за руки хватают,
всюду трогают ее —
О нет! Этого не понимает
все мое существо!»

Он кончил. Девочки, поправив
свои платья у коленок,
разгореться были вправе —
какой у них явился пленник!
Иная, зеркальце открыв,
носик трет пуховкой нежной,
другая в этот перерыв
запела песенку, как будто бы небрежно:
«Ах, как это благородно
с вашей стороны!»
Сказала третья, закатив глазок дородный, —
«Мы пред мужчинами как будто бы
обнажены,
все мужчины — фу, какая низость! —
на телесную рассчитывают близость,
иные — прямо неудобно
сказать — на что способны!».

«О, какое униженье! —
вскричал Киприн, вскочив со стула: —
На какое страшное крушенье
наша движется культура!
Не хвастаясь перед вами, заявляю —
всех женщин за сестер я почитаю».

Девочки, надувши губки,
молча стали удаляться
и, поправив свои юбки,
стали перед хозяйкой извиняться.
Петрова им в ответ слагает
тоже много извинений,
их до двери провожает
и приглашает заходить без промедленья.

2

Вечер дышит как магнит,
лампа тлеет оловянно.
Киприн за столиком сидит,
улыбаясь грядущему туманно.
Петрова входит розовая вся,
снова плещет самоварчик,
хозяйка, чашки разнося,
говорит: «Какой вы мальчик!
Вам недоступны треволненья,
движенья женские души,
любови тайные стремленья,
когда одна в ночной тиши
сидишь, как детка, на кровати,
бессонной грезою томима,
тихонько книжечку читаешь,
себя героиней воображаешь,
то маслишь губки красной краской,
то на дверь глядишь с опаской —
а вдруг войдет любимый мой?
Ах, что я говорю! Боже мой!»

Петрова вся зарделась нежно,
Киприн задумчивый сидит,
чешет волосы небрежно
и про себя губами шевелит.

Наконец с тоской пророка
он вскричал, от муки бледен:
«Увы, такого страшного урока
не мыслил я найти на свете!
Вы мне казались женщиной иной
среди тех бездушных кукол,
и я — безумец дорогой, —
как мечту свою баюкал,
как имя нежное шептал,
Петрову звал во мраке ночи!
Ты была для меня идеал —
пойми, Петрова, если хочешь!»

Петрова вскрикнула, рыдая,
гостю руки протянула
и шепчет: «Я — твоя Аглая,
бери меня скорей со стула!
Неужели сказка любви дорогой
между нами зародилась?»

Киприн отпрянул: «Боже мой,
как она развеселилась!
Нет! Прости мечты былые,
прости довольно частые визиты —
мои желанья неземные
с сегодняшнего дня неизвестностью покрыты.
Образ неземной мадонны
в твоем лице я почитал —
и что же ныне я узнал?
Среди тех бездушных кукол
вы — бездушная змея!
Покуда я мечту баюкал,
свои желанья затая,
вы сами проситесь к любови!
О, как унять волненье крови?
Безумец! Что я здесь нашел?
Пошел отсюдова, дурак, пошел!»

Киприн исчез. Петрова плачет,
дрожа, играет на рояле,
припудрившись с соседями судачит,

и спит, не раздевшись, на одеяле.
Наутро, службу соблюдая,
сидит с машинкой, увядая,
стучит на счетах одной рукой...
А жизнь идет сама собой.

11—15 ноября 1928

ОБЕД

Мы разогнем усталые тела.
Прекрасный вечер тает за окошком.
Приготовленье пищи так приятно —
кровавое искусство жить!

Картофелины мечутся в кастрюльке,
головками младенческими шевеля,
багровым слизняком повисло мясо,
тяжелое и липкое, едва
его глотает бледная вода —
полощет медленно и тихо розовеет,
а мясо расправляется в длину
и — обнаженное — идет ко дну.

Вот луковицы выбегают,
скрипят прозрачной скорлупой
и вдруг, вывертываясь из нее,
прекрасной наготой блистают;
тут шевелится толстая морковь,
кружками падая на блюдо,
там прячется лукавый сельдерей
в коронки тонкие кудрей,
и репа твердой выструганной грудью
качается атланта тяжелей.

Прекрасный вечер тает за окном,
но овощи блистают, словно днем.
Их соберем спокойными руками,
омоем бледною водой,
они согреются в ладонях
и медленно опустятся ко дну.
И вспыхнет примус венчиком звенящим —
коротконогий карлик домовой.

И это — смерть. Когда б видали мы
не эти площади, не эти стены,
а недра тепловатые земель,
согретые весеннею истомой;
когда б мы видели в сиянии лучей
блаженное младенчество растений, —
мы, верно б, опустились на колени
перед кипящею кастрюлькой овощей.

1929

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Видишь — воздух шевелится?
в нем, как думают студенты,
кислородные частицы
падают, едва заметны.

Если, в случае мороза,
мы, в трамвае сидя, дышим —
словно столб, идет из носа
дым, дыханием колышим.

Если ж человек невиден,
худ и бледен, — очень просто! —
не сиди на стуле, сидень,
выходи гулять на воздух!

Оттого, детина, вянешь,
что в квартире воздух тяжкий,
ни духами не обманешь,
ни французскою бумажкой.

В нем частицы все свалялись
вроде войлока сухого,
оттого у всех вначале
грудь бывает нездорова.

Если где-нибудь писатель
ходит с трубкою табачной —
значит, он имеет сзади
вид унылый и невзрачный.

Почему он ходит задом?
Отчего пропала сила?
Оттого, что трубка с ядом,
а в груди сидит бацилла.

Почему иная дева
вид имеет некрасивый,
ходит тощая, как древо,
и глаза висят, как сливы?

Потому плоха девица
и на дерево походит,
что полезные частицы
в нос девице не проходят.

У красотки шарфик модный
вокруг шеи так намотан,
что под носом воздух — плотный
и дышать осталось — п*о*том.

О полезная природа,
исцели страданья наши,
дай частицу кислорода
или две частицы даже!

Дай сознанью удивиться,
и тотчас передо мной
отвори свою больницу —
холод, солнце и покой!

1929

ДЕТСТВО ЛУТОНИ

Бабка

В поле ветер-великан
Ломит дерево-сосну.
Во хлеву ревет баран.
А я чашки сполосну.
А я чашки вытираю,
Тихим гласом напеваю:
«Ветер, ветер, белый конь,
Нашу горницу не тронь».

Лутоня

Баба, баба, ветер где?

Бабка

Ветер ходит по воде.

Лутоня

Баба, баба, где вода?

Бабка

Убежала в города.

Лутоня

Баба, баба, мне приснился
Чудный город Ленинград.
Там на крепости старинной
Пушки длинные стоят.
Там на крепости старинной
Мертвый царь сидит в меху,
Люди воют, дети плачут,
Царь танцует, как дитя.

Бабка

Успокойся, мой Лутоня,
Разум ночью не пытай.
За окошком вьюга стонет,
Налетая на сарай.
Погасили бабы свечки,
Сядем, дети, возле печки,
Перед печкой, над огнем
Мы Захарку запоем.

Дети садятся вокруг печки. Бабка раздает каждому по зажженной лучинке. Дети машут ими в воздухе и поют.

Дети

Гори, гори жарко,
Приехал Захарка.
Сам на тележке,
Жена на кобылке,
Детки в санках,
В черных шапках.

Бабка

Закачался мир подлунный,
Вздрогнул месяц и погас.
Кто тут ходит весь чугунный,
Кто тут бродит возле нас?
Велики его ладони,
Тяжелы его шаги.
Под окном топочут кони.
Боже, деткам помоги.

Захарка

(входит)

Поднимите руки, дети,
Разогните пальцы мне.
Вон Лутонька на повети,
Как чертенок, при луне.

(Бросается на Лутоню.)

Лутоня

Пощади меня, луна!
Защити меня, стена!

Перед Лутоней поднимается стена.

З а х а р к а

Дети, дети, руки выше,
Слышу, как Лутонька дышит.
Вон сидит он за стеной,
Закрывается травой.

(Бросается на Лутоню.)

Л у т о н я

Встаньте, травки, до небес,
Станьте, травки, словно лес!

Трава превращается в лес.

З а х а р к а

Дети, вытяните руки
Выше, выше, до небес.
Стал Лутонька меньше мухи,
Вкруг него дремучий лес.
Вкруг него лихие звери
Словно ангелы стоят.
Это кто стучится в двери?

З в е р и

(вбегая в комнату)

Чудный город Ленинград!

Л у т о н я

В чудном граде Ленинграде
На возвышенной игле
Светлый вертится кораблик
И сверкает при лупе.
Под корабликом железным
Люди в дудочки поют,
Убиенного Захарку
В домик с башнями ведут!

1931

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Винтовка в гости прилетела,
Винтовка тульского двора.
Она садилась на колени
И песню грустную вела:

«Ты чего грустишь, хозяин,
Чего ты ручки опустил?
Иль тоска тебя заела,
Иль задумал о другом?»

«Я того грущу, конечно,
Что разлука между нас.
Когда я гулять имею,
Ты единая лежишь.

А когда ты гулять имеешь,
Я один, как перст, стою.
Лишь горьки слезыньки глотаю
Да на дорогу выхожу».

А на дороге разны люди
Промеж собою говорят:
«Сколько жалко пропадает
Здесь Калинкина душа».

ОСЕНЬ

1

В овчинной мантии, в короне из собаки,
стоял мужик на берегу реки,
сияли на траве, как водяные знаки,
его коровьи сапоги.
Его лицо изображало
так много мук,
что даже дерево — и то, склонясь, дрожало
и нитку вить переставал паук.

Мужик стоял и говорил:
«Холм предков мне не мил.
Моя изба стоит как дура,
и рушится ее старинная архитектура,
и печки дедовский портал
уже не посещают тараканы —
ни черные, ни рыжие, ни великаны,
ни маленькие. А внутри сооружения,
где раньше груда бревен зажигалась,
чтобы сварить убитое животное, —
там дырка до земли образовалась,
и холодное
дыханье ветра, вылетая из подполья,
колеблет колыбельное дреколье,
спустившееся с потолка и тяжко
храпящее.
Приветствую тебя, светило заходящее,
которое избу мою ласкало
своим лучом! Которое взрастило
в моем старинном огороде
большие бомбы драгоценных свекол!
Как много ярких стекол

ты зажигало вдруг над головой быка,
чтобы очей его соединение
не выражало первобытного страдания!
О солнце, до свидания!
Недолго жить моей избе:
едят жуки ее сухие массы,
и ломят гусеницы нужников контрфорсы,
и червь земли, большой и лупоглазый,
сидит на крыше и как царь поет».

Мужик замолк. Из торбы достает
пирог с говяжьей требухою
и наполняет пищею плохою
свой невзыскательный желудок.
Имея пару женских грудок,
журавль на циркульном сияет колесе,
и под его печальным наблюденьем
деревья кажутся унылым сновиденьем,
поставленным над крышами избушек.
И много желтых завитушек
летает в воздухе. И осень входит к нам,
рубаху дерева ломая пополам.

О, слушай, слушай хлопанье рубах!
Ведь в каждом дерево сидит могучий Бах
и в каждом камне Ганнибал таится.
Вот наступает ночь. Река не шевелится.
Не дрогнет лес. И в страшной тишине,
как только ветер пролетает,
ночное дерево к луне
большие руки поднимает
и начинает петь. Качаясь и дрожа,
оно поет, и вся его душа
как будто хочет вырваться из древесины,
по сучья заплелись в огромные корзины,
и корни крепки, и земля кругом,
и нету выхода, и дерево с открытым ртом
стоит, сражаясь с воздухом и плача.

Нелегкая задача —
разбить синонимы: природа и тюрьма.

Мужик молчал, и все способности ума
в нем одновременно и чудно напрягались,
но мысли складывались, и рассыпались,

и снова складывались. И наконец, поймав
себя на созерцании растенья,
мужик сказал: «Достойно удивленья,
что внутренности таракана
на маленькой ладошке микроскопа
меня волнуют так же, как Европа
с ее безумными сраженьями.
Мы свыклись с многочисленными положеньями
своей судьбы, но это нестерпимо —
природу миновать безумно мимо?».
И туловище мужика
вдруг принимает очертания жука,
скатавшего последний шарик мысли,
и ночь кругом, и бревна стен нависли,
и предки равнодушною толпой
сидят в траве и кажутся травой.

2

Мужик идет в колхозный новый дом,
построенный невиданным трудом,
в тот самый дом, который есть начало
того, что жизнь сквозь битвы обещала.
Мужик идет на общие поля,
он наблюдает хлеба помещенье,
он слушает, как плотная земля
готова дать любое превращенье
посеянному семени, глядит
в скелет машин, которые, как дети,
стоят, мерцая в неподвижном свете
осенних звезд и важно шевелит
при размышлении тяжелыми бровями.
Корова хвастается жирными кровями,
дом хвалится и светом и теплом,
но у машины есть иное свойство —
она внушает страх и беспокойство
тому, кто жил печальным бирюком
среди даров и немощей природы.
Мужик идет в большие огороды,
где посреди сияющих теплиц
лежат плоды, закрытые от птиц
и первых заморозков. Круглые, литые,
плоды лежат как солнца золотые,

исполненные чистого тепла.
И каждая фигура так кругла,
так чисто выписана, так полна собою,
что, истомленный долгою борьбою,
мужик глядит и чувствует, что в нем
вдруг зажигается неведомым огнем
его душа. В природе откровенной,
такой суровой, злой, несовершенной,
такой роскошной и такой *скупой*, —
есть сила чудная. Бери ее рукой,
дыши ей, обновляй ее частицы —
и будешь ты свободней легкой птицы
средь совершенных рек и просвещенных скал.
От мужика все дале отступал
дом прадедов с его высокой тенью,
и чувство нежности к живому поколенью
влекло его вперед на много дней.
Мир должен быть иным. Мир должен быть
круглей,
величественней, чище, справедливей,
мир должен быть разумней и счастливей,
чем раньше был и чем он есть сейчас.
Да, это так. Мужик в последний раз
глядит на яблоки и, набивая трубку,
спешит домой. Над ним, подобно кубку,
сияет в небе чистая звезда,
и тихо все. И только шум листа,
упавшего с ветвей, и посредине мира —
лик Осени, заснувшей у клавира.

1932

[ПАСТУХИ]

Пастухи

— Возникновение этих фигурок
В чистом пространстве небосклона
Для меня более чем странно.
— Струи фонтана
Менее прозрачны, чем их крылья.
— Обратите внимание на изобилие
Пальмовых веток, которые они держат в своих
ручках.
— Некоторые из них в туфельках, другие
в онучках.
— Смотрите, как сверкают у них перышки.
— Некоторые — толстяки, другие — заморышки.
— Горлышки
Этих созданий трепещут от пения.
— Терпение!
Через минуту мы узнаем кой-какие новости.
— В нашей волости
Была икона с подобными изображениями.
— А я видал у бати книгу,
Где мужичок такой пернатый
Из пальцев сделанную фигу
Казал рукой продолговатой.
— Дурашка! Он благословлял народы.
— И эти тоже ангелочки
Благословляют, сняв порточки,
Земли возвышенные точки.
— Послушайте, они дудят в серебряные дудочки.
— Только что они были там, а теперь туточки.

Пение

Из глубин, где полдень ярок,
Где прозрачный воздух жарок,
Мы, подобье малых деток,

Принесли земле подарок,
Мы — подобье малых деток,
Смотрит месяц между веток,
Звезды робкие проснулись,
В небесах пошевельнулись.

Бык

Смутно в очах,
Мир на плечах,
В землю гляжу,
Тяжко хожу.

Пение

Бык ты, бык, ночной мыслитель,
Отвори глаза слепые,
Дай в твое проникнуть сердце,
Прочитать страданий книгу!
Дай в твое проникнуть сердце,
Дай твою подумать думу,
Дай твою земную силу
Силой неба опоясать!

Пастухи

— Кажется, эти летающие дурни разговаривают с коровами?
— Уже небеса делаются багровыми.
— Скоро вечер. Не будем на них обращать внимания,
— Эй, создания!

ПТИЦЫ
Поэма

Если строение голубя хочешь узнать ты — какие
жилы в нем есть, как крылья устроены, ноги,
как расположены органы в нем и, подвешены чудно,
между костей образуют они тройную фигурку, —
надобно прежде доску найти; острым рубанком
нагладко всю обстругать, натереть ее маслом,
дать на ветру повисеть, чтобы масло в древесные поры
плотно вошло и неровности все затянуло.
Дале свои приготовь, ученик, инструменты:
ванночку с дном восковым, чашку с водою прозрачной,
острых булавок кошель, бечевку, весы с разновесом,
руки начисто вымой и будь предо мной наготове.

Птицы, пустынники воздуха, жители неба!
Певчие славки, дрозды, соловьи, коноплянки!
Флейточки бросьте свои, полно свистать вам да щелкать.
Также и ты, дятел, оставь деревянный органчик.
Старый ты органист, твои мне известны проказы,
как о сухие сучки барабанишь ты клювом, —
гулко дрожит инструмент, дребезжащие звуки
Арр и Эрр по окрестностям ветер разносит.
После, я знаю, ты выберешь сук подлиннее,
звук получается тоньше, а третий урчит колотушкой.
О, деревянная музыка старого чистого леса!
Первый существ разговор, колыбель человеческой речи!

Будь же мне, дятел, свидетелем, также и вы, музыканты,
с птицами я не враждую, жертва моя не кровава.
Скуден мой разум, ногами к земле пригвожденный,

вы же по воздуху, чистые птицы, парите.
Ястребом быть я хотел бы, но тонки и немощны руки,
соколом быть я хотел бы, но тело летать не умеет,
был бы орлом я, но вместо орлиного клюва
мягкий мой рот в бороде шевелится косматой.
Птицы, откройте глаза мне! Птицы, скажите — откуда
вы появились? Какую вы носите тайну?
Как разгадать мне кукушки таинственной время,
азбуку ворона, голубя счет и гербовник?

Делай так, ученик, как я говорю. Приготовь свою доску.
Голубя навзничь рукой опрокинь. Маховые
перья вверх оттяни, закрепи на доске их винтами
так, чтобы крыльев вершины в углах оказались.
Дале две тонких бечевки возьми, завяжи на них петли,
петли на ножки закинь и концы закрепи на свободных
нижних углах, только смотри, чтоб бечевки
крепко натянуты были и тело не двигалось больше.

Вот он лежит перед нами — голубь, небесная птица,
гость колоколен, житель стропил деревянных.
Сбоку имеет он чистые синие крылья,
сверху головку в венчике тонкого света.
Ты же не бойся, но, руку в сосуд окуная,
перья и пух торопись ощипать на груди и на брюшке,
далее — скальпелем сделай надрез посредине
маленькой грудки, где киль возвышается длинный.
Славен киль в кораблях, острый могуч в пароходах,
крепко устроил его человек себе на потребу.
Как же, подумай, должны мы прославить легчайший,
маленький голубя киль — прообраз людского строенья!

Ну-ка, мальчик, придвинь свою доску. Но что там
случилось?
Ты побледнел и к окошку бросился. Чьи это крики
ветер донес до меня? Крики все громче и громче.
Птицы! Птицы летят! Воздух готов разорваться,
сотнями крыл рассекаемый. Вот уж и солнце померкло,
крыша пошла ходуном — птицы на ней. А другие
лезут в трубу. Третьи к стеклу прислонились,
кажут мне клювы свои, давят стекло, друг на дружку
прыгают, бьются, с криком щеколду ломают.
Птицы, чур меня, чур! Стойте, я сам! Подождите!

Ты, сорока, черт бы побрал тебя! Вечно
хочешь вперед заскочить. Перестань своим клювом
дубасить!
Полно стучать по стеклу. Сломаешь стекло —
не поставишь
новое. Ну-ка, пичужки, раздвиньтесь немного,
полно валять дурака. Вы, длинноносые цапли,
прочь подайтесь. Так. Убери свою лапу, ворона!
Как прищемлю — будешь потом две недели,
словно безумная, каркать. Вот и открылось окошко.

Ну, залетайте живей! Вот вам скамейки и стулья.
Вы, малыши: сойки, малиновки, славки,
сядьте вперед, чтобы всем было видно. Вороны,
дятлы, ястребы, совы, за ними садитесь. На спинки
сядут пусть глухари. Ты, синица, садись на подсвечник,
зяблик, ты на часы, только стрелок не трогай. Придется
ширму еще пододвинуть, а то соловью и кукушке
некуда сесть. Сорока, потише ты с лампой!
Хоть и сверкает она, но в гнездо ты ее не утащишь.
Тише теперь. Пора продолжать нам работу.

Странное органов нам приоткрылось селенье:
дудочки, ветви, мешочки; одни красноваты, другие
сини, иные прозрачны... Меж ними тончайшие пленки
всюду проложены. Трубки стеклянный кусочек
ты отыщи, ученик, и, в отверстье трахеи засунув,
дуй осторожно в него. Видишь — прозрачные пленки,
как пузыри, раздуваются. Ну-ка, пичужки, скажите —
как на полете вы дышите? Воздух откуда берете?
Если бы не было в вас этих воздушных мешочков,
разве бы вы наверху не задохнулись от ветра?

Должно теперь нам разбиться на три отдельные группы.
Дятел в первой группе будет вожак. Пересмешник
будет в группе второй, цапля — в третьей. Смотри сюда,
дятел.
В этой сумочке сердце лежит голубиное. В черные лапы
ножницы ты захвати и разрежь ими сумочку. Видишь —
вот оно — сердце! Пересмешник, ты красную печень
вынь, а за ней — селезенку. Теперь из утробы
вытянуть надобно зоб с пищеводом, кишки и желудок,
все разрезать, промыть и в ванночке к дну восковому

крепко пришпилить булавками. А где длинноносая
цапля?
Ты, цапля, мозгом займешься. Возьми-ка головку
покрепче,
кожу на ней заверни и сними, как перчатку. Смотрите,
череп уже обнажился. Теперь, чтобы кость не мешала,
нужно ее сстругать — она не тверда. Начинай же!

Вот и окончены наши труды. Перед нами
голубя тонкие кости, органы, нервы, сосуды
кучкой лежат. Разрезанный ножиком острым,
голубь больше не птица и вместе с подругой на крышу
больше не вылетит он. Даже если бы мы захотели
органы снова сложить и привесить к костям, и сосуды
так протянуть, чтобы кровь побежала по жилам,
мускулы так сочетать, как прежде они сочетались,
чтобы все тело прежний приняло вид, — и тогда бы
голубь не ожил... Бессильна рука человека —
то, что однажды убито, — она воскресить не умеет.

Если бы воля моя уподобилась воле Природы,
если бы слово мое уподобилось вещему слову,
если бы все, что я вижу — животные, птицы, деревья,
камни, реки, озера, — вполне однородным составом
чудного тела мне представлялись — тогда, без сомненья,
был бы я лучший творец, и разум бы мой не метался,
шествуя верным путем. Даже в потемках науки
что-то мне и сейчас говорит о могучем составе
мира, где все перемены направлены мудро
только к тому, чтобы старые, дряхлые формы
в новые отлиты были, лучшего вида сосуды.

Сядем, птицы, за стол. Ужинать будем. Останки
голубя кушайте, вороны! То, что вверху ворковало,
пусть вам на пользу послужит. Вы, перепелки, овсянки,
клюйте крупу — вот она. Прочие птицы,
вот вам лукошко червей и гусениц полная миска.
Видите, как извиваются? Эти, с мохнатою спинкой, —
очень вкусны. Эти как будто колбаски
нитками в разных местах перетянуты. Длинные рожки
эти вперед выставляют. А те на хвосте и головке
прочно стоят, образуя высокую дужку.
Славные это созданья! Клюйте их, рвите, крошите!

Нам же неси, ученик, жирное мясо коровы.
Славно оно уварилось, и суп получился чудесный.
Также и хлеба нарежь, и луку насыпь на тарелку,
перцу поставь, чтобы сразу согрелся желудок.
Чуть не забыл! Посмотри-ка, на полке за ступкой
в сером пакетике должен еще оставаться
старый пучок чесноку. Есть? Тащи его, мальчик.
Эту головку тебе, эту мне. Начинай же.

Тихий закат над землею повис. Красноватые пятна
на пол ложатся от стекол. Таинственный отдых природы
близок. Мальчик, открой-ка нам дверь и вечернюю шляпу
дай мне с гвоздя. Привет тебе, ясный мой вечер,
вечер жизни моей, старость моя! Скоро-скоро
лягу и я отдохнуть, и над вечной моею постелью
пусть плывут облака, и птицы летят, и планеты
ходят своим чередом. И чем ближе мой срок, тем все больше,
птицы, люблю я вас. Малые дети Вселенной,
крошки, зверушки воздушные, жизни животной кусочки,
в воздух подъятые, что вы с таким беспокойством
смотрите все на меня? Что притихли? Давайте-ка вместе
выйдем отсюда и солнце проводим на отдых.

Ну, шагайте, дети мои. За большим вечереющим лесом
село светлое солнце. Лучи из-за края земного
чуть долетают до облак. Верхушки вечерних деревьев
в красном сиянье стоят. Облаков золотые фигуры,
тихо колеблясь и форму свою изменяя,
медленно движутся в воздухе. Вон голова исполина,
вон воздушная лошадь. За нею три облака, слившись,
Лаокоона приняли форму. А там, возле леса,
движется облачный всадник, и ветер ему отделяет
голову с правой рукой и на запад тихонько относит.

Вечер, вечер, привет тебе! Дятлы и грузные цапли
важно шагают рядом со мной. Перепелки,
славки, овсянки стайками носятся, то опускаясь,
то поднимаясь опять, и вверху над моей головою
звонко щебечут. Малиновка, стаю покинув,
вдруг на плечо уселась и мягкой своею головкой
прямо к щеке прислонилась. Дурочка, что ты? Быть может,

хочешь сказать мне что-нибудь? Нет? Посмотри-ка на небо,
видишь — как летят облака? Мы с тобою, малютка,
тоже, наверно, два облачка, только одно с бородою,
с легким другое крылом — и оба растаем навеки.

Вот и дороге конец. На холмик зеленый поднявшись,
дальше мы не пойдем. Маленький краешек солнца
виден отсюда еще. Ну, мои дети, прощайте.
Спать, спать пора. Завтра чудесное утро
выйдет на землю, и солнце, умывшись росою,
в гнезда ваши заглянет и лучиком тонким откроет
чистые ваши глаза! И вот поднимается стая,
с шумом крыла распахнув, с криком уносится к лесу,
словно прощаясь со мной. И вослед ей другая взлетает
прямо от ног. Прощайте, прощайте! И третья,
прыгнув с земли, отделяется в воздух. Все дальше
и дальше
птицы летят, и солнце косыми лучами
их заливает и в розовый красит оттенок.

Только малиновка все еще тут. Глупая птичка!
Что ж ты осталась? Иди в мои руки, малютка!
Разве не видишь — ночь подходит. Люди и те уж ложатся
спать — кто на полатях, кто на большом сеновале.
Звери в берлогах легли, коровы в стойлах дремлют.
Ходит Сон по дворам, в окошки глядит, все-то смотрит:
«Кто тут не спит еще? Я вот его!» Караульщик
все в колотушку стучит: «Тук-тук-тук!» Знаешь, птичка,
руки вытяну я, ты с ладошки подпрыгни и быстро
стаю лети догонять. Хорошо? Ну, готово, лети. Полетела.

Ходит сон по дворам... Земля моя, мать моя, лягу —
скоро лягу и я в твои недра. Тогда, как ребенку,
сказочку эту мне расскажи. Ходит Сон по дворам...
Все-то ходит,
все-то смотрит: «Кто тут не спит еще? Я вот его!»...
Только эти,
эти только слова, и больше ни слова не надо...

1933

КУЗНЕЧИК

Настанет день, и мой забвенный прах
Вернется в лоно зарослей и речек.
Заснет мой ум, но в квантовых мирах
Откроет крылья маленький кузнечик.

Над ним, пересекая небосвод,
Мельчайших звезд возникнут очертанья,
И он, расправив крылья, запоет
Свой первый гимн во славу мирозданья.

Довольствуясь осколком бытия,
Он не поймет, что мир его чудесный
Построила живая мысль моя,
Мгновенно затвердевшая над бездной,

Кузнечик — дурень! Если б он узнал,
Что все его волшебные светила
Давным-давно подобием зеркал
Поэзия в пространствах отразила!

1947

НАЧАЛО СТРОЙКИ

Перед лицом лесов и косогоров,
Там, где повсюду камень и в о д а , —
Самой природы своевольный норов
Препятствует усилиям труда.
Ио в день, когда построятся палатки
И, сгоряча наткнувшись на ружье,
Косматый зверь несется без оглядки
В дремучее убежище свое;
Когда в трущобах кедры вековые,
Под топором треща наперебой,
Вдруг накренят свои седые в ы и , —
Я не владею в этот день собой!

В какое-то короткое мгновенье
Я наполняюсь тем избытком сил,
Той благодатной жаждою творенья,
Что поднимает мертвых из могил.
Сквозь дикий мир нетронутой природы
Мне чудятся над толпами людей
Грядущих зданий мраморные своды
И колоннады новых площадей.
Я вижу бесконечные фронтоны
Просторных улиц, ровных, как стрела,
Сады, заводы, парки, стадионы,
Верхи дворцов, театров купола.
Все движется, все блещет, все бушует,
Прожектора лучи косые льют,
И, управляя миром, торжествует
Свободный, стройный, вдохновенный труд.

Быть может, перед целою вселенной
Когда-нибудь на этих площадях,

Изваяны из бронзы драгоценной,
Предстанем мы с кирками на плечах.
И будут наши маленькие внуки
Играть у ног строителей земли
И трогать эти бронзовые руки,
Которые все знали, все могли.

1947

ПИР В КОЛХОЗЕ «ШРОМА»

Да здравствует «Шрома» [1],
Созданье народа,
Любовь агронома,
Мечта садовода!

В горах и низинах,
И влево и вправо
Литых апельсинов
Сверкает держава.

Огромны, как блюдца,
Плоды молодые,
От тяжести гнутся
Сады золотые.

А в рощах лимонных
На горных уклонах
Живые светила
Повисли на кронах.

Великая сила
Их ныне взрастила,
Водой поливала,
От бурь укрывала.

Да здравствует «Шрома»,
Источник веселья,
Любовь агронома,
Оплот земледелья!

---

[1] «Шрома» цитрусовый и чайный колхоз в Грузии, Шрома — по-грузински труд. *(Примеч. Н. З.)*

И вдруг через марево
Сонных акаций —
Зеленое зарево
Чайных плантаций!

Все поле одето
Огнем изумруда.
Кто вырастил это
Зеленое чудо?

Чьи пальцы летали
Над листьями чая,
По три урожая
В сезон получая?

Чье сердце склонялось
Над грядками сада,
Когда начиналась
Пора винограда?

Да здравствует «Шрома»,
Великая школа,
Мечта агронома,
Любовь комсомола!

И вот — очаги
Зажигаются в доме,
И все старики
Улыбаются в «Шроме».

И десять столов
Под зеленой листвою,
И пар шашлыков,
Как туман, предо мною.

И тучное лоби[1],
И жирное хаши[2],
И светлые наши
Наполнены чаши...

---

[1] Лоби — фасоль. *(Примеч. Н. З.)*
[2] Хаши — похлебка из баранины. *(Примеч. Н. З.)*

Да здравствует «Шрома»,
Могучая сила,
Которая дома
Героев взрастила!

Пусть ею гордится
Родная держава,
И пусть не затмится
В веках ее слава!

1947

* * *

Мир однолик, но двойственна природа,
И, подражать прообразам спеша,
В противоречьях зреет год от года
Свободная и жадная душа.

Не странно ли, что в мировом просторе,
В живой семье созвездий и планет
Любовь уравновешивает горе
И тьму всегда превозмогает свет?

Недаром, совершенствуясь от века,
Разумная природа в свой черед
Сама себя руками человека
Из векового праха создает.

1948

ПЕСНЯ ДОЖДЯ

(Подражание С. Чиковани)

Мы спустились с Мтацминды по тропе в Окроканы.
Запад вдруг обложили темнокожие тучи,
Хлынул ливень, и горы, завернувшись в туманы,
Подхватили, как песню, рокот ливня певучий.

Рощу мы миновали, и в поле пустынном
Только два наших тела колыхались, как стрелы.
Ветер в струны ненастья бил и гнал по долинам
Песнь согласную капель, обжигающих тело.

Дождь застал нас врасплох, мы оглохли от гула,
Нас тяжелые слезы иссекли, исхлестали.
Ты, притронувшись к струнам, руку мне протянула,
И чонгури из мрака нам в ответ простонали.

Растворились цветы, аромат источая.
Композитор дождя, бей по струнам ненастья!
Одинокий боярышник рвется, рыдая,
И в глазах твоих звездных загорается счастье.

Ах, идти бы с тобой до зари, до рассвета,
Чтобы локон волос твоих в поле курился,
Чтоб в осеннем дожде на развалинах лета
Платья мокрый подол вкруг колена лепился!

Словно нити, колеблются капли дождя.
Удаляются горы, монотонно гудя.

1953

* * *

Когда бы я недвижным трупом
Лежал, устав от *бытия*, —
Людским страстям, простым и грубым,
Уж неподвластен был бы я.

Я был бы только горстью глины,
Я превратился бы в сосуд,
Который девушки долины
Порой к источнику несут.

К людским прислушиваясь тайнам
И к перекличке вешних птиц,
Меж ними был бы я случайным
Соединением частиц.

Но и тогда, во тьме кромешной,
С самим собой наедине,
Я пел бы песню жизни грешной
И призывал ее во сне.

1957

* * *

Медленно земля поворотилась
В сторону, несвойственную ей,
Белым светом резко озарилась,
Выделила множество огней.

Звездные припали астрономы
К трубам из железа и стекла:
Источая молнии и громы,
Пламенем планета истекла.

И по всей вселенной полетело
Множество обугленных частиц,
И мое расплавленное тело
Пало, окровавленное, ниц.

И цветок в саду у марсианки
Вырос, полыхая, как костер,
И листок неведомой чеканки
Наподобье сердца распростер.

Мир подобен арфе многострунной:
Лишь струну заденешь — и тотчас
Кто-то сверху, радостный и юный,
Поглядит внимательно на нас.

Красный Марс очами дико светит,
Поредел железный круг планет.
Сердце сердцу вовремя ответит,
Лишь бы сердце верило в ответ.

1957

* * *

Во многом знании — немалая печаль,
Так говорил творец Экклезиаста.
Я вовсе не мудрец, но почему так часто
Мне жаль весь мир и человека жаль?

Природа хочет жить, и потому она
Миллионы зерен скармливает птицам,
Но из миллиона птиц к светилам и зарницам
Едва ли вырывается одна.

Вселенная шумит и просит красоты,
Кричат моря, обрызганные пеной,
Но на холмах земли, на кладбищах вселенной
Лишь избранные светятся цветы.

Я разве только я? Я — только краткий миг
Чужих существований. Боже правый,
Зачем ты создал мир, и милый и кровавый,
И дал мне ум, чтоб я его постиг!

1957

* * *

Разве ты объяснишь мне — откуда
Эти странные образы дум?
Отвлеки мою волю от чуда,
Обреки на бездействие ум.

Я боюсь, что наступит мгновенье,
И, не зная дороги к словам,
Мысль, возникшая в муках творенья,
Разорвет мою грудь пополам.

Промышляя искусством на свете,
Услаждая слепые умы,
Словно малые глупые дети,
Веселимся над пропастью мы.

Но лишь только черед наступает,
Обожженные крылья влача,
Мотылек у свечи умирает,
Чтобы вечно пылала свеча!

ДВЕ ВСТРЕЧИ

1

Княжна Марья... по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу увидела, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастье.

Л. Толстой. Война и мир.

Сраженное бессмысленной судьбой,
Его лицо мне видится далече.
Как неестественно, борясь с самим собой,
Оно работало, пугаясь этой встречи!
Два великана — воля и беда —
Руководили страшной той работой,
И целый мир, огромный, как всегда,
Следил за ним с тоской и неохотой.
Оно работало, а быстрые шаги
Уж доносились издали, и с громом
Открылась дверь, и в облике знакомом
Старик прочел: «О боже, помоги!»

1957

НЕНАСТЬЕ

Словно что-то ожидая
И о чем-то сожалея,
За окном шумит пустая
Полутемная аллея.
Каждый вечер у забора
Голосят и гнутся ивы.
Или осень вправду скоро?
Иль деревья несчастливы?
Нет, до осени далеко,
Не навек ненастье это.
Ведь куда ни кинешь око,
Всюду праздник, всюду лето.
Всюду гонит ввысь природа
Многоцветные наряды,
И несет ей непогода
Море влаги и прохлады.
Слава вам, седые тучи,
И тебе, мое ненастье!
Ожиданье счастья лучше,
Чем потерянное счастье.

1957

ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ

Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.

Бараташвили

— Я хороша с о б о ю ,—
Сказала дочь отцу,
— Мне платье голубое
Особенно к лицу.
Я платье голубое
Ценю не меньше книг! —
И над ее судьбою
Задумался старик.

И вспомнил он прекрасный
Далекий страшный год,
Когда с повязкой красной
Стоял он у ворот.
Весь в лентах пулеметных,
С гранатою в руке,
И отблеск звезд несчетных
Светился на штыке.

В шинелишке бездомной,
Дружинник-костромич,
Стерег он дом огромный,
Где жил тогда Ильич.
Хранил он, как зеницу,
Е г о , — и коченел,
И зорко на столицу
Сквозь сумерки глядел.

— Дитя мое родное,
Я бился в том бою
За платье голубое,

За молодость твою.
За сладкий куст сирени,
За наш родимый край,
И ты ни на мгновенье
О том не забывай.

О чем хочу сказать я?
Дитя, вся жизнь в борьбе!
А голубое платье —
Оно придет к т е б е , —
Тебе, моей бесценной,
В сиянье юных лет,
Тот чистый, неизменный,
Лазурный синий цвет!

1957

ВЕНЕЦИЯ

Покуда на солнце не жарко
И город доступен ветрам,
Войдем по ступеням Сан-Марко
В его перламутровый храм,

Когда-то, ограбив полмира,
Свозили сюда корабли
Из золота, перла, порфира
Различные дива земли.

Покинув собор Соломона,
Египет и пышный Царьград,
С тех пор за колонной колонна
На цоколях этих стоят.

И точно в большие литавры,
Считая теченье минут,
Над ними железные мавры
В торжественный колокол бьют.

И лев на столбе из гранита
Глядит, распростерший крыла,
И черная книга, раскрыта,
Под лапой его замерла.

Молчит громоносная книга,
Владычица древних морей.
Столица темна и двулика,
Молчит, уподобившись ей.

Лишь голуби мечутся тучей
Да толпы чужих заправил
Ленивой слоняются кучей
Среди позабытых могил.

Шагают огромные доги,
И в тонком дыму сигарет
Живые богини и боги
За догами движутся вслед.

Венеция! Сказка вселенной!
Ужель ты средь моря одна
Их власти, тупой и надменной,
Навеки теперь отдана?

Пленяя сердца красотою,
В сомнительный веря барыш,
Ужель ты служанкой простою
У собственной двери стоишь?

А где твои прежние лавры?
И вечно ли время утрат?
И скоро ли древние мавры
В последний ударят набат?

1957

СЛУЧАЙ НА БОЛЬШОМ КАНАЛЕ

На этот раз не для миллионеров,
На этот раз не ради баркарол
Четыреста красавцев-гондольеров
Вошли в свои четыреста гондол.

Был день как день. Шныряли вапоретто.
Заваленная грудами стекла,
Венеция, опущенная в лето,
По всем своим артериям текла.

И вдруг, подняв большие горловины,
Зубчатые и острые, как нож,
Громада лодок двинулась в теснины
Домов, дворцов, туристов и святош.

Сверкая бронзой, бархатом и лаком,
Всем опереньем ветхой красоты,
Она несла по городским клоакам
Подкрашенное знамя нищеты.

Пугая престарелых ротозеев,
Шокируя величественных дам,
Здесь плыл на них бесшумный бунт музеев,
Уже не подчиненных господам.

Здесь плыл вопрос о скудости зарплаты,
О хлебе, о жилище, и вблизи
Пятисотлетней древности палаты,
Узнав его, спускали жалюзи.

Венеция, еще ты спишь покуда,
Еще ты дремлешь в облаке химер.
Но мир не спит, он друг простого люда,
Он за рулем, как этот гондольер!

1957

ТБИЛИСИ

Загремев на всю округу,
Некий витязь, полный сил,
Драгоценную кольчугу
С неба наземь уронил.

Звезды в небе засветились,
Наклонились близко к пей
И в кольчуге отразились
Миллионами огней.

Полтора тысячелетья
Пролетело с той поры,
Как упало то наследье
У Давидовой горы.

Поднимись глубокой ночью
На верхи окрестных скал,
И увидишь ты воочью
То, что бросил Горгасал.

С каждым годом город краше,
Час за часом, день за днем
В нем мы будущее наше
Без усилья узнаем.

Здравствуй, славный город юга!
Здравствуй, вечно молодой!
Здравствуй, древняя кольчуга
С пятикрылою звездой!

1958

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

В полумраке увяданья
Развернулась, как дуга,
Вкруг бревенчатого зданья
Копьеносная тайга.

День в лесу горяч и долог,
Пахнет струганым бревном.
В одиночестве геолог
Буйно пляшет за окном.

Он сегодня в лихорадке
Открывателя наук.
На него дивится с грядки
Ошалевший бурундук.

Смотрит зверь на чародея,
Как, от мира вдалеке,
Он, собою не владея,
Пляшет с камешком в руке.

Поздно вечером с разведки
Возвратится весь отряд,
Накомарники и сетки
Снова в кучу полетят.

Семь здоровых юных глоток
Боевой испустят клич
И пойдут таскать из лодок
Неощипанную дичь.

Загорелые, как черти,
С картузами набекрень,—
Им теперь до самой смерти
Не забыть счастливый день.

1958

НА ВОКЗАЛЕ

В железном сумеречном зале,
Глотая паровозный дым,
Сидит Мадонна на вокзале
С ребенком маленьким своим.

Вокруг нее кульки, баулы,
Дорожной жизни суета.
В блестящих бляхах вельзевулы
Тележку гонят в ворота.

На башне радио играет,
Гудок за окнами гудит,
И лишь она одна не знает,
Который час она сидит.

Который час ребенка держит,
Который час! Который час!
Который час и дым и скрежет
С полузакрытых гонит глаз.

И сколько дней еще придется —
О, сколько дней! О, сколько дней! —
Терпеть, пока не улыбнется
Дитя у матери своей!

Над черной линией портала
Висит вечерняя звезда.
Несутся с Курского вокзала
По всей вселенной поезда.

Летят сквозь топи и туманы,
Сквозь перелески и пески,
И бьют им бездны в барабаны,
И рвут их пламя на куски.

И лишь на бедной той скамейке,
Превозмогая боль и страх,
Мадонна в шубке из цигейки
Молчит с ребенком на руках.

1958

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДАЧА

В Переделкине дача стояла,
В даче жил старичок-генерал,
В перстеньке у того генерала
Незатейливый камень сверкал.

В дымных сумерках небо ночное,
Генерал у окошка сидит,
На колечко свое золотое,
Усмехаясь, подолгу глядит.

Вот уж первые капли упали,
Замолчали в кустах соловьи.
Вспоминаются курские дали,
Затяжные ночные бои.

Вспоминается та, что, прощаясь,
Не сказала ни слова в упрек,
Но, сквозь слезы ему улыбаясь,
С пальца этот сняла перстенек.

«Ты уедешь, — сказала майору, —
Может быть, повстречаешься с той,
Для которой окажется впору
Перстенек незатейливый мой.

Ты подаришь ей это колечко,
Мой горячий, мой белый опал,
Позабудешь, кого у крылечка,
Как безумный, всю ночь целовал.

Отсияют и высохнут росы,
Отпылают и стихнут бои,
И не вспомнишь ты черные косы,
Эти черные косы мои!»

Говорила — как в воду глядела,
Что сказала— и вправду сбылось,
Только той, что колечко надела,
До сих пор для него не нашлось.

Отсияли и высохли росы,
Отпылали и стихли бои,
Позабылись и черные косы,
И отпели в кустах соловьи.

Старый китель с утра разутюжен,
Серебрится в висках седина,
Ждет в столовой нетронутый ужин
С непочатой бутылкой вина.

Что прошло — то навеки пропало,
Что пропало — навек потерял...
В Переделкине дача стояла,
В даче жил старичок-генерал.

1958

ЖЕЛЕЗНАЯ СТАРУХА

«У меня железная старуха, —
Говорил за ужином кузнец. —
Только выпьешь — глядь, и оплеуха,
Мне ж обидно это наконец».

После бани дочиста промытый,
Был он черен, страшен и космат,
Колченогий, оспою изрытый,
Из-под Курска раненый солдат.

«Ведь у бабы только ферма птичья,
У меня же — господи ты мой!
Что ни дай — справляю без различья,
Возвращаюсь за полночь домой!»

Тут у брата кончилась сивуха,
И кузнец качнулся у стола
И, нахмурясь, крикнул: «Эй, старуха!
Аль забыла курского орла?»

И метнулась старая из сенец,
Полушубок вынесла орлу,
И большой обиженный младенец
Потащился с нею по селу.

Тут ему и небо не светило,
Только звезды сыпало на снег,
Точно впрямь счастливцу говорило:
«Мне б такую, милый человек!»

1958

ПОСЛЕ РАБОТЫ

Он у станка до вечера копался —
Все попусту! Лишь дома за столом,
Хлебая щи, внезапно догадался,
Какой детали не хватало в нем.

И соколом взглянул он на старуху,
Что отдыхала, лежа на печи:
«Ну, мать моя! Такую бы стряпуху
Да в ресторан! Значительные щи!»

Старуха знала — с каждым годом реже
Был ласков муж, и думала сквозь сон:
«Заврался старый!» Щи-то были те же,
Что и вчера, когда бранился он.

1958

* * *

Собор, как древний каземат,
Стоит, подняв главу из меди.
Его вершина и фасад
Слепыми окнами сверлят
Даль непроглядную столетий.

Войны седые облака
Летят над куполом, и, воя,
С высот свергается река,
Сменив движенье на кривое,
А тут внутри — почти темно.
Из окон падающий косо
Квадратный луч летит в окно,
И божья матерь кривоноса
И криволица — в алтаре
Стоит, как столп, подняв горе
Подобье маленького бога.
Из алебастра он. Убого
И грубо высечен. Но в нем
Мысль трех веков горит огнем.

Не слишком тонок был резец,
Когда, прикинувшийся греком,
Софию взяв за образец,
Стал бог славянский человеком.
Из окон видим мы вдали
Край очарованной долины.
Славян спокойных корабли
Стоят у берега. Овины
Вдали дымят, и крыши сел
Уже стругает новосел.

ИСЦЕЛЕНИЕ ИЛЬИ МУРОМЦА

Как во городе славном во Муроме,
Как во том ли селе Карачарове
Жил крестьянин старинного времени,
По прозванью Иван Тимофеевич.
Дал господь ему сына единого,
Дал единого сына любимого.
Хоть и люб был Илья отцу-матери,
Да здоровьем Илейка не выдался.

Вот подрос Илья, стал пяти годов,
А на ножки Илья не становится.
Вот уж стал Илья десяти годов,
А с лежанки Илья не поднимется.
Вот уж стал Илья двадцати годов —
Целый день с печи не слезает он.
А как стал Илья тридцати годов,
Так и ждать перестал исцеления.

Закручинились крепко родители,
Думу думают, приговаривают:
«Ох ты, чадушко наше убогое,
Ты убогое чадо, безногое!
Не помощник отцу ты во старости,
Не заступник ты матери в бедности.
Приберет нас бог, ты беды хлебнешь,
Не поешь, не попьешь, на печи помрешь».

Раз пошел Иван Тимофеевич
Со старухою в поле крестьянствовать.
Взял он на руки сына любимого,
Посадил его на печь высокую.
«Ты сиди, сынок, дотемна сиди,
Дотемна сиди, за избой гляди,
А начнешь слезать — не удержишься,
Упадешь, разобьешься до смерти».

Вот ушел Иван Тимофеевич
Со старухою в поле крестьянствовать.
Удалец Илья на печи сидит,
На печи сидит, за избой глядит.
В ту пору мимо города Мурома,
Да того ли села Карачарова
Шли калики домой перехожие,
Перехожие калики, переброжие.
Собирались калики под окнами,
Становились они во единый круг,
Клюки-посохи в землю потыкали,
Подорожные сумки повесили
Да вскричали они зычным голосом;

«Уж ты гой еси, чадо единое,
Ты единое чадо любимое,
Сотвори-ка ты нам подаяние,
Принеси ты нам пива из погреба,
Ты напой нас, калик, крепкой брагою!»

Отвечает Илья свет Иванович:
«Я и рад бы вам дать подаяние,
Рад бы вынести пива из погреба,
Напоить вас, калик, крепкой брагою —
Да уж тридцать лет, как я сиднем сижу,
Как я сиднем сижу, за избой гляжу.
Мне ни с печки слезть, мне ни ковш достать,
Мне ни ковш достать, вам испить подать!»

Говорят калики перехожие:
«Уж ты гой еси, Илья свет Иванович!
Про твое про злосчастье нам ведомо,
Про твои про заботы рассказано.
Растяни ты свои крепки жилочки
Да расправь ты свои белы косточки,
Слезь ты с печки долой да притопни ногой,
Перехожих калик пивом-брагой напой!»

Растянул тут Илья крепки жилочки,
Да расправил свои белы косточки,
Спрыгнул с печки на ножки он резвые,
Да и в погреб пошел, словно век ходил.
Нацедил он там пива домашнего,

Как просили калики перехожие,
Подал чашу с великою радостью,
Поклонился гостям до сырой земли.

Вот испили калики пива сладкого,
Допивать Илейке оставили.
«Ты испей, Илья, да поведай нам,
Каково в себе чуешь здоровьице?»
Отвечает Илья свет Иванович:
«Чую, стал я теперь будто здрав совсем».

Говорят калики перехожие:
«Ты другую нам чашу нацеди, Илья».
Их Илья свет Иванович послушался,
Снова он нацедил пива сладкого.
Отпивали они пива сладкого,
Оставляли полчаши, приговаривали:
«Допивай, Илья, да поведай нам,
Ты какую в себе чуешь силушку?»

Разгорелось у Ильи сердце буйное,
Распотелось у Ильи тело белое:
«Чую силушку в себе я великую!
Кабы было кольцо во сырой земле,
Ухватил бы кольцо я одной рукой,
Повернул бы вокруг землю-матушку».

Говорят калики перехожие:
«Многовато у тебя стало силушки,
Не сносить тебя мать-сырой земле!
Нацеди-ка, Илья, чашу в третий раз»,

Их Илья свет Иванович послушался,
В третий раз нацедил пива сладкого.
Отпивали они пива сладкого,
Чуть Илейке оставили на донышке:
«Допивай, Илья, да поведай нам,
Какова у тебя стала силушка?»
Отвечает Илья свет Иванович:
«Вполовину ее поубавилось».

Говорят калики перехожие:
«Ты купи, Илья, жеребеночка,
Станови его в сруб на три месяца
Да корми его пшеницей белояровой.

Пусть в трех росах конь покатается,
По зеленым лугам поваляется,—
Он послужит тебе верой-правдою,
Он потопчет всю силу неверную,
Своему он поможет хозяину».

Говорят калики перехожие:
«Ты достань себе латы богатырские,
Меч булатный да палицу тяжелую,
Да коню кипарисное седелышко.
Поезжай ты, Илья, во чисто поле,
Смерть тебе в чистом поле не писана.
Совершишь ты дела богатырские,
Всей Руси нашей будешь защитником!»
И, сказав Илье таковы слова,
Потерялись калики перехожие...

Тут пошел Илья во чисто поле,
Видит: спят-почивают родители.
Притомились они, приумаялись,
А дубье-колодье не повырубили.
Расходилась в Илье сила буйная,
Все дубье-колодье он повырубил,
Корневища из пала повытаскал,
В речку быструю с пашни повыгрузил.
Пробудились к полудню родители,
Испугались, глазам не поверили:
Что в неделю всем домом не сделаешь,
То прикончил Илья за единый мах!

А Илья купил жеребеночка,
Становил его в сруб на три месяца,
В трех он росах коня повыкатывал
Да пшеницей кормил белояровой.
Стал поигрывать конь да поплясывать,
Гривой шелковой стал он потряхивать,
Стал проситься конь во чисто поле
Показать свою силу буйную.

Тут взнуздал коня Илья Муромец,
Сам облатился, обкольчужился,
Взял он в руки булатную палицу,
Опоясался дорогим мечом.
То не дуб сырой к земле клонится,

К земле клонится, расстилается —
Расстилается сын перед батюшкой,
Просит отчего благословения:
«Уж ты гой еси, родный батюшка,
Государыня родна матушка,
Отпустите меня в стольный Киев-град,
Послужить Руси верой-правдою,
Постоять в бою за крестьянский люд!»

1952

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Полезно ли человеку писать?
Очень полезно.
А почему?
Потому что на голове появляются умные бугорки, чтобы мыслить.
А что же мыслить?
О пользе жизни. Кому какая от этого польза.
А кому какая?
Разная. Где ходят звезды — почему они ходят, а что же будет, если они перестанут ходить.
Расскажите все подробно.
Так. Посмотрим на воздух. Какая же в нем сила? А сила есть. Сила от него идет сквозь тело, потому человек и ходит.
А если человек не ходит?
Тогда сидит. В нем все кости сидят одна на другой, пока не умрет.
А когда умрет?
Тогда есть червяк. Червяк бывает двойной: один от мудрости, другой от глупости.
Что такое мудрость?
Там, где умный глуп.
А где глупость?
Там, где глупый умен.
Вот спасибо. Теперь я понимаю, как и что.
До свидания.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ

Спят ленивые беспечно,
трудолюбы — во весь рот,
но тому «ура!», конечно,
кто погоду узнает.
Он и так, и этак ходит,
соблюдает твердый шаг,
кулаком по небу водит,
к кулаку приставив зрак.
Словно мелкие дымочки,
в небе ходят облака,
мудрый видит огонечки
сквозь отверстье кулака.
Огонечек подлиннее —
это значит: будет дождь,
огонечек потемнее —
это значит: клюнет лещ,
огонечек покороче —
значит, вырастут цветы,
огонечек с уголочек —
будут волосы густы.

Мудрый ходит весь в поту,
держит трубочку во рту,
лоб высокий напрягает,
мысли в голову пускает,
наблюдает каждый знак —
для чего, и что, и как?

Скоро мыслям стало тесно,
приближается рассвет,
и доныне неизвестно —
будет дождик или нет?
Уж Медведица на небе

задымилася, ворча,
это значит, что на хлебе
скоро будет саранча!

Как тут быть? Помилуй, боже.
Вот однажды вечерком
нужно взять столовый ножик,
завернуть его крючком,
присадить ему головку,
превратить его в коровку,
ножки тоже привязать
и корове показать!

Вдоль по хлеву мудрый ходит,
наблюдает жизнь коров,
мысли к ясности приводит,
от волненья нездоров.

Но коровы сладко дремлют,
слову мудрому не внемлют,
и Медведица вверху
превратилась в кочергу.

Мудрый страшно рассердился,
стал ругаться про себя
и за камень ухватился,
мысли мигом погубя.
Взял кирпич одной рукой,
изогнул его дугой,
размахнулся и... померк.
А кирпич уехал вверх!

Камень тихо пролетает,
вверх по воздуху плывет,
тучку в небе огибает,
обогнувши, вниз идет.
А внизу — погода та ж е , —
и мудрец, и борода,
и таинственно, и даже
как-то скучно иногда!

(1929)

ИЗ СБОРНИКА «КСЕНИИ»

НЕПРАВИЛЬНОЕ БОГАТСТВО

Павел, чтобы стать богатым,
стал писать стихи канатом.
И помог ему канат:
Павел сделался богат.

ЧТО ТАКОЕ СТИШКИ

То, что мы зовем стишки,
есть не боле как мешки:
плохо сшиты, хорошо ли —
в них картошка, но не боле.

БЕСПОЛЕЗНАЯ УЧЕНОСТЬ

Был Терентий сухорук,
знал он тысячу наук,
лишь одной не знал науки —
как сухие двигать руки.

УЕДИНЕНИЕ ФИЛОСОФА

Кто безделья не боится,
тот не плачет взаперти:
в каждом камушке водица,
только дырку проверти.

РАЗДРАЖЕНИЕ ПРОТИВ В.

Ты что же это, дьявол,
живешь как готтентот,
ужель не знаешь правил,
как жить наоборот?

НЕУДАЧНАЯ ПРОГУЛКА

Однажды Пуп, покинув брюхо,
пошел гулять и встретил Ухо.
— С дороги прочь! — вскричал Пупок. —
Я в этом мире царь и бог!
— Не *спорю*, — вымолвило Ухо,
услышав грозные *слова*, —
ты царь и бог, но только — брюха,
а здесь, мой *милый*, — голова.

Читатель! Если ты не бог,
проверь — на месте ль твой пупок.

1931

ОТВРАЩЕНИЕ К БОГЕМЕ

Ходит по двору экзема
за экземою — коза.
Дети, если вы — богема,
буду драть за волоса.

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

Очень, очень я люблю
получать дензнаки.
Одного лишь я хочу:
чтобы это было скорее паки.

ВОСПОМИНАНИЕ О БАНЕ

В бане я, открывши вежды,
находился без одежды,
воду на себя плескал —
внутреннего успокоения искал.

ПОЛЬЗА ОТ МОЛИТВЫ

Я желанием горю
с девой повстречаться,
но молитву сотворю —
и на душе прохладца.

НА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МНОЙ И ШВАРЦЕМ

Меж нами, Женя, расстояние —
ты — соблазнитель юных лиц,
а я их вопли в назидание
собираю для своих художественных
страниц.

УЛЕТАНИЕ ОЛЕЙНИКОВА ОТ НАС

Коля! Зри мои ладони —
все они уже в слезах.
Под окном стоящи кони
пар пускают в небесах.
Тройка лютая, уймися,
не скреби ногами снег,
Коля, Коля, оглянися —
сколь печали есть у всех!

ПОКУПКА ЖЕНЕ ШУБЫ

Прелестну шубу я купил,
жена моя в наряде.
Подумать — сколько скрыто сил
в двухмесячной зарплате!

ВОПРОС ЛЕВИНУ

Левин, что в Москве творится,
сколько там живет людей
и красивы ли там лица?
Что молчишь, прелюбодей?

КРАСОТА ГРУНИ

* * *

Я, как заведующий приложениями,
замечаю красоту,
но, как знакомый с дамскими внушениями,
себя, конечно, в рамках соблюду.

МИНУТА СЛАБОСТИ

Облака летят по небу,
люди все стремятся к хлебу,
но, имея в сердце грусть,
Груня! — я куда стремлюсь?

БЕЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ

Груня, Груня, сколь терзаешь
ты мне сердце, ай-ай-ай...
К черту службу! Улетаешь
завтра ты со мной в Китай!

РАСКАЯНИЕ В НЕОБДУМАННОМ РЕШЕНИИ

Слаб человек! Одна минута —
и жизнь лежит — как бы разбитая посуда!

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОЛЕЗНОЙ ЖИЗНИ

Конечно, грех и я имею,
но все же вам скажу, друзья,
что вы живете так, что змею
таким манером жить нельзя.
Развратны вы! В грехах сидите,
мне жалко вас — погибли вы.
Вокруг меня страданья нити —
лишь я стою, увы, увы!

* * *

У некой дамочки с изъяном был роток,
Он у нее неплотно закрывался.
Изъян был невелик, но кофею глоток
Из дырочки подчас на платье проливался.

Муж Теофраст терпел, *терпел*, —
Но всякому терпенью есть *предел*, —
И, разозлясь однажды на уродку,
Он хвать ее по подбородку!

Трах-тарарах! Закрылся с треском рот.
И с той поры доселе
Красавица с закрытым ртом живет
И, что ни день, теряет быстро в теле.

Мораль: хоть ты и Теофраст,
Но в медицине, братец, не горазд.

Г-ЖЕ ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ ШВАРЦ

(урожд. Обуховой)

По случаю исполнившегося двадцатилетия
со дня ее первой встречи
с господином надворным советником
Евгением Львовичем Шварцем
на балу у князя Кувшинчикова

Катерина, дочь Ивана,
Ровно двадцать лет назад
Повстречала род тюльпана,
Украшающего сад.

Этот маленький тюльпанчик,
Катериной взятый в дом,
Нынче даже на диванчик
Помещается с трудом.

Славься сим, Екатерина,
Ты прекрасна, как всегда!
И дородный сей мужчина
Так же славься иногда!

28 мая 1948

СЧАСТЛИВЕЦ

Есть за Пресней Ваганьково кладбище,
Есть на кладбище маленький скит,
Там жена моя, жирная бабища,
За могильной решеткою спит.
Целый день я сижу в канцелярии,
По ночам не тушу я огня,
И не встретишь на всем полушарии
Человека счастливей меня!

1950

* * *

Мне жена подарила пижаму,
И с тех пор, дорогие друзья,
Представляю собой панораму
Исключительно сложную я.
Полосатый, как тигр зоосада,
Я стою, леопарда сильней,
И пасется детенышей стадо
У ноги колоссальной моей.
У другой же ноги, в отдаленье,
Шевелится супруга моя...
Сорок семь мне годков, тем не мене —
Тем не мене — да здравствую я!

1950

НАШ ПРАЗДНИК

Представление в I действии

Сцена представляет роскошную комнату. Посередине — стол, уставленный райскими кушаниями. На стуле сидит мама с испуганным выражением лица. Она не может вспомнить, куда она истратила 300 рублей, которые взяла из папиной коробки. Около мамы в величественной позе стоит папа. Дети, стоя на цыпочках около стола, стараются рассмотреть невиданные угощения.

Дети

Что сегодня за число?
Сколько чудных здесь конфет!

Папа

(торжественно)

Дети, нынче принесло
Нашу мамочку на свет.

Дети

(бросаясь к ней)

Мама, мама, ты цветочек!
Поздравляем от души!

Мама

(растроганно)

Дети, даже без порточек
Вы довольно хороши!

Все вместе

(взявшись за руки и танцуя вокруг стола)

Коль у мамы именины,
Значит, будет торжество!
Будем пить мы в рюмках вины
За родное существо!

Хор
(подхватывает)

За родное существо!

Папа
(выступая вперед)

Дети, дети, я с приветом
Выступаю здесь опять,
Перед всем хвалю я светом
Вашу мамочку как мать!

Дети

Наша мама, как известно,
Воспитала нас чудесно!
Покровительница слабых
И защитница сирот,
Пусть она у папы в лапах
Процветает и живет!

Хор
(подхватывает)

Процветает и живет!

Безногий солдат
(за дверью)

Я, не веря в прочих дам,
Обращаюсь с просьбой к вам!
В забегаловке у нас
Все надеются на вас!

Хор
(подхватывает)

Все надеются на вас!

Голодные воробьи
(за окном)

Поздравляем вас, мамаша,
И кричим из-за окна:
Если будет милость ваша,
Бросьте горсточку пшена!

Хор
(подхватывает)

Бросьте горсточку пшена!

Все вместе
(взявшись за руки и танцуя)

Именинница добра!
Именинице — ура!

Тут папа, Никита, Наташа, тетя Поля, хромой солдат и воробьи бросаются к имениннице с поцелуями и поздравлениями.

Занавес

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО О КОЛИНОМ ТЕЛОСЛОЖЕНИИ

О твоем телосложенье,
Коля, я слагаю стих,
Ибо в этом отношенье
Ты прекрасен, как жених.
Я не боле, как ублюдок,
По сравнению с тобой.
Ты ж имеешь пару грудок
Под рубахой шерстяной.
Эта часть завидна дамам,
Ибо то, что есть у дам,
Весит в месте этом самом
Меньше на сто десять грамм.
Наконец, в средине чрева,
Если скинешь ты тулуп,
Обнаружить может дева
Колоссально мощный пуп.
Это чудо мирозданья
У тебя, как котлован.
Там построить можно зданье —
Кафетерий и чулан.
Приказав служанке Софе
Торговать в твоем кафе,
Там ты кушать будешь кофе,
Развалившись на софе.
Мы к тебе туда на святки
Будем ездить из Москвы
И играть с тобою в прятки,
Прячась в заросли и рвы.
Будем баловаться с Софой,

У балкона сеять рожь...
Коля, будет катастрофой,
Коль постройки не начнешь!
Есть в твоем телосложенье
К благоденствию залог.
Будь же полон дерзновенья,
И тебе поможет бог!

ПИШМАШИНКА И АВТОР

Однажды пишущая подняла машинка
Великий бунт,
Сказавши: — Вот так фунт!
Что я? Безумная? Кретинка?
Писать все дни по тысячи листов!
Да будь я проклята! Да чтоб мне лопнуть сразу!
Хозяин мой, как видно, бестолков,
Коль выходного не дал мне ни разу. —
На это отвечал хозяин: — Горе мне!
Ты, дура, ничего не понимаешь, —
Ты лишь статьи мои перебеляешь,
А мне за них влетает по спине.

КОЛЯ И БЛОХА

Однажды Колю блошка покусала.
— Ахти проклятая! — сказал он. — Вижу я,
По возрасту ты мне годишься в сыновья.
Однако ж уважать не думаешь нимало.
— Неправда, — блошенька в ответ, —
Тебя я слишком уважаю,
А ежели и обижаю,
То лишь затем, что пищи лучшей нет.

ДОГАДЛИВАЯ КУРИЦА

Прелестна курочка, попавши Коле в щи,
Сказала из горшка ему: — Тащи,
Тащи меня за крылышко, философ,
Затем, что курица питательна для россов.

ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО АПТЕКАРЯ

1

Красотка Акулина захворала,
Но скоро ей уже полегче стало.
А ведь не будь у нас пенициллина,
Пожалуй, померла бы Акулина!

2

Прочел стишки про то,
Как некий папский нунций
Глотал мышьяк
По сто пятнадцать унций.
Заметно сразу, что поэт
Фармацевтический не кончил факультет.

3

Не спал всю ночь: всё вспоминал, как дыни
В учебнике зовутся по-латыни.

4

Болтают, что в соседнем переулке
Какой-то бывший князь,
Имея драгоценности в шкатулке,

Скончался, не лечась.
Дивлюся я такому человеку:
Хоть ты и князь, но уважай аптеку!

5

Как хорошо, что дырочку для клизмы
Имеют все живые организмы!

6

И в нищей хижине, и в спальне у монарха
Полезно пользоваться кружкою Эсмарха.

7

Один известный врач
Перед обедом кушал «спотыкач».
И что ж вы думаете? У того врача
Всегда была прекрасная моча.

8

«Бессмертны *мы*», — сказал мудрец Агриппа,
Но обмишурился и помер он от гриппа.

9

В истории имеются примеры,
Как от болезней гибнут маловеры.
А вот поди ж ты! И до сей поры
Иной не верит в пользу камфары!

10

Как странно: у Ильи-гомеопата,
Как и у нас, по рупь пятнадцать вата!

11

Дай хоть йоду идиоту —
Не поможет ни на йоту.

12

Весьма возможно, что в соленом огурце
Довольно много витамина С.

13

О, сколь велик ты, разум человека!
Что ни квартал — то новая аптека.

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХОРОШИЕ САПОГИ

В немецкой деревне сапожник живет,
Стучит молоточком и взад и вперед,
Во рту у него полдесятка гвоздей
Различных фасонов, различных мастей.
Он выплюнет гвоздик, прибьет на сапог,
А новый гвоздик в ладошку — скок!

Ну, разве возможно,
Чтоб этот сапожник
Не сделал Карлуше сапог?

Карлуша по улице хмуро идет,
Шагает ногами и взад и вперед,
Он левой шагнет —
Другую волочит,
Он правой шагнет —
Другая не хочет,
Не хочет, не хочет другая шагать,
Желает другая на месте стоять.
— Ну, что же вы, ноги? — Карлуша сказал, —
Бегите скорее — я вам приказал! —
Ответили ноги:
— Без нас пробеги!
Мы, бедные ноги, совсем босоноги,
Довольно! Желаем иметь сапоги!

А время не ждет. Приближается вечер.
Вдруг едет пирожник Карлуше навстречу,
Мясных пирожков восемнадцать корзин

Пирожник везет продавать в магазин.
Кричит пирожник,
Сердитый и строгий:
— Эй, ротозей,
Убирайся с дороги!
Смотри у меня — я шутить не люблю,
Наеду и сразу тебя задавлю! —
Карлуша и рад бы уйти с дороги,
Да только Карлушу не слушают ноги:
Топочут-топочут —
И все невпопад,
Немножко подскочат —
И снова назад.

На узеньком мостике прямо беда —
Проехать нельзя ни туда, ни сюда.
А вслед за пирожником едут телеги,
На этих телегах сидят дровосеки,
Везут дровосеки поленницу дров
И пару блестящих больших топоров.

Кричат дровосеки:
— Шутить мы не любим,
Сейчас топорами мальчишку зарубим.
Мы дров нарубили, пора нам домой,
Сейчас же, сейчас же с дороги долой! —
Карлуша и рад бы уйти с дороги,
Да только Карлушу не слушают ноги:
Топочут-топочут —
И все невпопад,
Немножко подскочат —
И снова назад.

Топор дровосеков
На солнце сверкает,
Карлуша на мостике
Громко рыдает.
Открылись окошки,
Сбежался народ,
А вон и сапожник
Навстречу идет.

Как услыхали Карлушины ноги,
Что где-то сапожник идет по дороге,
Подпрыгнули разом, кричат: — Помоги,

Милый сапожник, сшей сапоги,
Сшей нам сапожки из черной кожи,
Мы без сапожек ходить не можем,
За это Карлушу хотят задавить,
А нас топорами хотят зарубить;
Сейчас дровосеки топор наточат,
Никто заступиться за нас не хочет,
Если и ты не поможешь ничем —
Пропали мы, ноги,
Пропали совсем! —
Хитрый сапожник, про это услышав,
Крикнул к себе четырех мальчишек.

Сбегал один —
Принес стол,
Сбегал другой —
Принес стул,
Сбегал третий —
Принес кожи,
Сбегал четвертый —
Принес ножик.
— Вот так ребята, — народ удивился,
Со смеху даже народ покатился,
Вон дровосеки — и те ни гугу,
Сели и ждут на том берегу.

И вот закипела большая работа,
И смотрит Карлуша, разинув рот:
Кроит сапожник,
Шьет сапожник,
Стучит молоточком и взад и вперед,
Во рту у него полдесятка гвоздей
Различных фасонов, различных мастей,
Он выплюнет гвоздик, прибьет на сапог,
А новый гвоздик в ладошку — скок!

Ну, разве возможно,
Чтоб этот сапожник
Не сделал Карлуше сапог?
И вот через два с половиной часа
Смотрит Карлуша во все глаза —
Навстречу Карлуше сапожки бегут,
И вот уж Карлуша в сапожки обут;
Карлушины ноги польку пляшут,

Карлушины руки платочком машут:
— Ай да сапожник,
— Ай да сапожник,
Ты не сапожник, а прямо художник!
Правда, никто же таких сапог,
Кроме сапожника, сделать не мог?

Карлуша по улице гордо идет,
Шагает ногами вперед и вперед,
Захочет направо —
Пойдет направо,
Захочет налево —
Пойдет налево,
Захочет Карлуша подпрыгнуть повыше,
А ноги сами летят до крыши,
Захочет Карлуша немножко поспать —
А ноги сами бегут на кровать.
А у сапожника с этой минутки
Толпятся ребята круглые сутки.
В нашей деревне сто двадцать н о г , —
Сшей-ка, сапожник, сто двадцать сапог!

<1928>

СКАЗКА О КРИВОМ ЧЕЛОВЕЧКЕ

На маленьком стуле сидит старичок,
На нем деревянный надет колпачок.
Сидит он, качаясь и ночью, и днем,
    И туфли трясутся на нем.

Сидит он на стуле и машет рукой,
Бежит к старичку человечек кривой.
— Что с вами, мой милый? Откройте ваш глаз!
    Зачем он завязан у вас?

Кривой человечек в ответ старичку:
— Глазок мой закрылся, и больно зрачку.
Я с черной грачихой подрался сейчас,
    Она меня клюнула в глаз.

Тогда старичок призывает жука.
— Слетай-ка, жучок, на большие луга.
Поймай мне грачиху в пятнадцать минут —
    Над нею устроим мы суд.

Не ветер бушует, не буря гудит, —
Жучок над болотом к грачихе летит.
— Извольте, грачиха, явиться на суд —
    Осталось двенадцать минут.

Двенадцать минут пролетают, спеша,
Влетает грачиха, крылами шурша,
Грачиху сажают за письменный стол,
    И пишет жучок протокол.

— Скажите, грачиха, фамилью свою.
Давно ли живете вы в нашем краю?
Зачем человечка вы клюнули в глаз?
    За это накажем мы вас.

Сказала грачиха: — Но я не виновна,
Сама я, грачиха, обижена кровно:
Кривой человечек меня погубил,
    Гнездо он мое разорил.

— Ах, так! —
Рассердившись, вскричал старичок.
— Ах, так! —
Закачался на нем колпачок.
— Ах, так! —
Загремели железные туфли.
— Ах, так! —
Зашумели над туфлями букли.

И пал на колени лгунишка негодный,
И стукнулся лобиком об пол холодный,
И долго он плакал, и долго молил,
    Пока его суд не простил.

И вот человечек к грачихе идет,
И жмет ее лапку, и слово дает,
Что он никогда, никогда, никогда
    Не тронет чужого гнезда.

И вот начинается музыка тут,
Жуки в барабанчики палками бьют,
А наш человечек, как будто испанец,
    Танцует с грачихою танец.

* * *

И если случится, мой мальчик, тебе
Увидеть грачиху в высоком гнезде,
И если птенцы там сидят на к р а ю , —
    Припомни ты сказку мою.

Я сказочку эту не сам написал,
Ее мне вот тот старичок рассказал —
Вот тот старичок, что в часах под стеклом
    Качается ночью и днем.

— Тик-так! —
Говорит под стеклом старичок.
— Тик-так! —

Отвечает ему колпачок.
— Тик-так! —
Ударяют по камешку туфли,
— Тик-так! —
Повторяют за туфлями букли.

Пусть маятник ходит, пусть стрелка кружит —
Смешной старичок из часов не сбежит.
Но все же, мой мальчик, кто птицу обидит,
Тот много несчастий увидит.

Замрет наше поле, и сад обнажится,
И тысяча гусениц там расплодится,
И некому будет их бить и клевать
И птенчикам в гнезда таскать.

И если бы сказка вдруг стала не сказкой,
Пришел бы к тебе человечек с повязкой,
Взглянул бы на сад, покачал головой
И заплакал бы вместе с тобой.

<1933>

КАК МЫШИ С КОТОМ ВОЕВАЛИ

(СКАЗКА)

Жил-был кот,
Ростом он был с комод,
Усищи — с аршин,
Глазищи — с кувшин,
Хвост трубой,
Сам рябой.
Ай да кот!

Пришел тот кот
К нам в огород,
Залез кот на лукошко,
С лукошка прыгнул в окошко,
Углы в кухне обнюхал,
Хвостом по полу постукал.
— Эге, — говорит, — пахнет мышами!
Поживу-ка я недельку с вами!

Испугались в подполье мыши —
От страха чуть дышат.
— Братцы, — говорят, — что же это такое?
Не будет теперь нам покоя.
Не пролезть нам теперь к пирогу,
Не пробраться теперь к творогу,
Не отведать теперь нам каши,
Пропали головушки наши!

А котище лежит на печке,
Глазищи горят, как свечки.
Лапками брюхо поглаживает,
На кошачьем языке приговаривает:
— Здешние, — говорит, — мышата
Вкуснее, — говорит, — шоколада,
Поймать бы их мне штук двести —
Так бы и съел всех вместе!

А мыши в мышиной норке
Доели последние корки,
Построились в два ряда
И пошли войной на кота.
Впереди генерал Культяпка,
На Культяпке — железная шляпка,
За Культяпкой — серый Тушканчик,
Барабанит Тушканчик в барабанчик,
За Тушканчиком — целый отряд,
Сто пятнадцать мышиных солдат.

Бум! Бум! Бум! Бум!
Что за гром? Что за шум?
Берегись, усатый кот,
Видишь — армия идет,
Видишь — армия идет,
Громко песенку поет.
Вот Культяпка боевой
Показался в кладовой.
Барабанчики гремят,
Громко пушечки палят,
Громко пушечки палят,
Только ядрышки летят!

Прибежали на кухню мыши,
Смотрят — а кот не дышит,
Глаза у кота закатились,
Уши у кота опустились,
Что случилось с котом?
Собрались мыши кругом, —
Глядят на кота, глазеют,
А тронуть кота не смеют.

Но Культяпка был не трус —
Потянул кота за ус, —
Лежит котище — не шелохнётся,
С боку на бок не повернётся.
Окочурился, разбойник, окочурился,
Накатил на кота карачун, карачун!
Тут пошло у мышей веселье,
Закружились они каруселью,
Забрались котищу на брюхо,
Барабанят ему прямо в ухо,
Все танцуют, скачут, хохочут...

А котище-то как подскочит,
Да как цапнет Культяпку зубам —
И пошел воевать с мышами!
Вот какой он был, котище, хитрый!
Вот какой он был, котище, умный!
Всех мышей он обманул,
Всех он крыс переловил.
Не лазайте, мыши, по полочкам,
Не воруйте, крысы, сухарики,
Не скребитесь под полом, под лестницей,
Не мешайте Никитушке спать-почивать!

<1933>

МИСТЕР КУК БАРЛА-БАРЛА

Жил в Америке индюк,
По прозванью мистер Кук.
Мистер Кук Барла-Барла
Победил бы и орла,
Победил бы бегемота,
Только бегать неохота,
Потому что мистер Кук
Был тяжелый, как утюг.
Мистер Кук гулял на воле,
Мистер Кук Барла-Барла,
Испугалась мышка в поле
И чуть-чуть не умерла.
Только Джон, мальчишка ловкий,
Не упал, не побледнел —
Он упряжку из веревки
На разбойника надел.
По накатанной дороге
Мистер Кук Барла-Барла
Скачет, вытянувши ноги,
И несется как стрела.
Джон согнулся калачом,
Громко хлопает бичом —
Только улицы мелькают
Перед Джоном-ловкачом!

<1935>

О ТОМ, КАК МЫ НА ТРАМВАЙНОМ ЯЗЫКЕ РАЗГОВАРИВАЛИ

(ШУТКА)

Мы по улице гуляли,
Вдруг трамваи застучали;
Гоум, Боум, Биум, Баум,
Бруву, Руру на «Чижа»!
—Извините,—мы сказали,—
Этих слов мы не слыхали.
Что такое вы сказали,
Грохоча и дребезжа?
Что такое — Гоум, Боум,
Что такое — Биум, Баум,
Что такое — Бруву, Руру,
Что такое — на «Чижа»?

И тогда в ответ на наши
Бестолковые вопросы
На проспекте возле парка
Отвечают сторожа:
— Гоум, Боум — значит: Надо,
Биум, Баум — всем ребятам,
Бруву, руру — непременно
Подписаться на «Чижа».

— Вот так штука! — мы сказали. —
Если даже и трамваи
О «Чиже» заговорили
На трамвайном языке,—
Значит, нету в самом деле
Интереснее журнала! —
И помчались мы на почту
На большом грузовике.

И в почтовом отделенье
Двум веселым почтальонам
Мы сказали всем отрядом,

От волненья чуть дыша:
— Гоум, Боум, Биум, Баум,
Мы желаем непременно,
Гоум, Боум, Биум, Баум,
Подписаться на «Чижа»!

Улыбнулись почтальоны,
Засмеялись почтальоны
И ответили отряду
На трамвайном языке:
— Гоум, Боум, получите,
Биум, Баум, первый номер
И скажите всем лентяям:
— Кукареку, брекеке!

— Кукареку — это значит:
«Чиж» подписку принимает,
Все торопятся на почту,
Кроме дурня Брекеке.
Брекеке — большие уши,
Целый день он бьет баклуши
И ни слова он не знает
На трамвайном языке.

<1935>

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОЗА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

АВТОБИОГРАФИЯ

Мой дед, крестьянин б. Вятской губернии Агафон Яковлевич Заболоцкий [1], возвратившись на родину после двадцатипятилетней николаевской службы, записался в мещане своего уездного городка (Уржум) и стал служить лесным объездчиком. Моего отца Алексея Агафоновича он определил в Казанское сельскохозяйственное училище, выхлопотав ему казенную стипендию.

Отец был участковым агрономом сначала Казанского, а потом Вятского земства. За сорокалетнюю работу он, кажется, преуспел в своем деле, и с его помощью значительная часть б. Уржумского уезда ликвидировала трехполье еще до революции. После революции отец заведовал совхозами Уржумского района и работал почти до самой смерти. Умер он в 1929 году, 65 лет от роду.

Я родился в 1903 году 24 апреля старого стиля (7 мая нового стиля) в Казани. В ту пору отец служил агрономом на с/х ферме Казанского земства, в семи километрах от города. В 1910 году отец получил место участкового агронома в Уржумском уезде Вятской губернии, и семья переехала в с. Сернур этого уезда. Здесь я окончил три класса начальной школы, здесь отложились в моем сознании первоначальные впечатления русской природы, здесь я начал писать стихи. Семилетним ребенком я уже выбрал свою будущую профессию.

---

[1] Написание фамилии деда и отца поэта было Заболотский. (*Примеч. сост.*)

В 1913 году я был принят в Уржумское реальное училище и с этого времени жил вне семьи, приезжая домой только на каникулы. Мой юношеский мир складывался в годы первой мировой войны в обстановке маленького провинциального городка, расположенного за 180 километров от железной дороги. Меня эта жизнь мало устраивала, Я рвался в центр, к живой жизни, к искусству.

Первые годы революции я встретил четырнадцати-пятнадцатилетним мальчиком. В городе появилось много новой интеллигенции. Были и столичные люди — музыканты, учителя, актеры. Некоторые из них поощряли мои литературные опыты, советовали больше работать, ехать в центр. Намерение сделаться писателем окрепло во мне.

Весной 1920 года я окончил школу и осенью приехал в Москву, где был принят на первый курс историко-филологического факультета Первого Московского университета. Однако устроиться в Москве мне не удалось, и в августе 1921 года я уехал в Ленинград и поступил в Педагогический институт им. Герцена по отделению языка и литературы общественно-экономического факультета. Педагогом я быть не собирался и хотел лишь получить литературное образование, необходимое для писательской работы. Жил в студенческом общежитии. Много писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного голоса не находил. Считался способным студентом и одно время даже думал посвятить себя всецело науке. Но привязанность к поэзии оказалась сильней, и мечты о научной работе были оставлены.

В 1925 году я окончил институт. За моей душой была объемистая тетрадь плохих стихов, мое имущество легко укладывалось в маленькую корзинку. В 1926 году я был призван в армию.

Военную службу я отбывал в Ленинграде, на Выборгской стороне, в команде краткосрочников 59-го стрелкового полка 20-й пехотной дивизии. Наша большая стенгазета, в редакцию которой я входил, считалась лучшей стенгазетой в округе. В 1927 году я сдал экзамен на командира взвода и был уволен в запас.

По выходе из армии я начал работать в детской литературе (Ленинградское отделение Государственного издательства). За десять лет работы я напечатал ряд стихотворений и рассказов в журналах «Еж», «Чиж», «Пионер», «Костер», а также выпустил несколько отдельных книг для детей. Наиболее существенными из них считаю свои

обработки Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (вышло четыре издания) и де Костера «Тиль Уленшпигель» (вышло два издания).

Детская литература, однако, не исчерпывала моих интересов, и я продолжал писать лирические стихи. По выходе из армии я попал в обстановку последних лет нэпа. Хищнический быт всякого рода дельцов и предпринимателей был глубоко чужд и враждебен мне. Сатирическое изображение этого быта стало темой моих стихов 1927—1928 годов, которые впоследствии составили книжку «Столбцы».

В эти годы я уже был членом сначала Ленинградского союза поэтов, а потом Всероссийского союза писателей. В моих стихах замечали влияние Велимира Хлебникова. В 1928 году я несколько раз выступал с другими поэтами в Ленинградском Доме печати под флагом «левого искусства». Особых лавров не стяжал, но мои стихи были, по крайней мере, удобопонятны.

Понемногу я начал печататься в литературных страницах «Ленинградской правды», в журнале «Звезда». В 1929 году Издательство писателей в Ленинграде выпустило первую книжку моих стихов «Столбцы». В прессе появилось несколько статей и много рецензий. Наряду с одобрительными отзывами послышались предостерегающие голоса против моего увлечения формальными поисками.

В эти годы (1929—1930) я работал над новой поэмой о коллективизации и колхозном строительстве, в которой пытался показать отживший собственнический уклад старой деревни и его борьбу с новым. Поэма «Торжество Земледелия» была напечатана в 1933 году в журнале «Звезда». Однако «Правда» подвергла мою поэму жестокой критике, правильно указав, что я не сумел изобразить новых отношений в деревне.

С 1935 по 1938 год я напечатал ряд новых стихов, из которых «Горийская симфония», «Север», «Седов» и др. неоднократно впоследствии перепечатывались и были хорошо встречены критикой. Участвовал в работе пленумов ССП в Минске (1935) и Тбилиси (1937). Был несколько раз в Грузии и переводил грузинских поэтов на русский язык. За перевод Руставели «Витязь в тигровой шкуре» был награжден грамотой ЦИКа Грузии. Был членом Бюро секции поэтов Ленинградского отделения ССП и про-

водил в Союзе общественную работу. В 1937 году выпустил сборник стихов «Вторая книга», в который вошли стихи 1935—1937 годов.

В 1930 году я женился на Е. В. Клыковой. В 1932 году у нас родился сын Никита, в 1937 году — дочь Наталья. Все время жил в Ленинграде (канал Грибоедова, 9) в двухкомнатной квартире Литфонда ССП. Выезжал из города только по командировкам Союза и для лечения — в Крым и на Кавказ.

Так продолжалось до 19 марта 1938 года, когда я был арестован органами НКВД. Постановлением Особого совещания НКВД по делу УНКВД Ленинградской области я был приговорен к пяти годам заключения в ИТЛ. Я и до сих пор убежден, что это было роковым следствием судебной ошибки.

По ходатайству администрации лагеря я был освобожден из заключения 18 августа 1944 года и оставлен в лагере в качестве вольнонаемного. Мея семья, которая провела часть блокады в Ленинграде и была эвакуирована в Кировскую область, к этому времени приехала ко мне в Алтайский край.

В феврале 1945 года я был переведен на новое строительство в г. Караганду, где в конце года меня вместе с другими работниками передали в систему Наркомугля. Здесь, в тресте Шахтстрой, я работал до мая 1946 года, когда Министерство госбезопасности разрешило мне переехать в центр и продолжать литературную работу. Я уволился из треста, переехал на жительство в Москву и был восстановлен в Союзе советских писателей, членом которого состоял со времени организации Союза.

10 марта 1948

РАННИЕ ГОДЫ

Наши предки происходят из крестьян деревни Красная Гора Уржумского уезда Вятской губернии. Деревня расположена на высоком берегу реки Вятки, рядом с городищем, где, по преданию, было укрепление ушкуйников, пришедших в старые времена из Новгорода или Пскова. Возможно, что и наши предки приходятся сродни этим своевольным колонизаторам Вятского края.

Прадедом моим был некий Яков, крестьянин, а дедом — сын его Агафон, личность, как мне представляется, во многих отношениях незаурядная. Высокого роста, косая сажень в плечах, он до кончины своей был физически необычайно силен, гнул в трубку медные екатерининские пятаки и в то же время отличался большим простодушием и доверчивостью к людям. В николаевские времена он двадцать пять лет прослужил на военной службе, отбился от крестьянства и, выйдя в отставку, записался в уржумские мещане. Работал он где-то в лесничестве лесным объездчиком. Когда в Крымскую войну разнесся слух о бедствиях русской армии, дед мой стал во главе дружины добровольцев и повел ее пешком через всю Россию на выручку Севастополя. Вернули его откуда-то из-под Курска: Севастополь пал, не дождавшись своего нового защитника.

Сам я деда не помню, но зато хорошо помню его жену, мою бабку, тихую безропотную старушку, которую дед держал в страхе божием. На фотографиях рядом с дедом она выглядит весьма слабым и смиренным созданием. Не думаю, что жизнь ее с супругом была особенно сладкой. Деда она пережила: Агафон умер еще в крепких летах от апоплексического удара.

Одного из двух своих сыновей, моего отца Алексея Агафоновича, дед умудрился обучить в Казанском сельскохозяйственном училище на казенную стипендию. Отец стал агрономом, человеком умственного труда, — первый в длинном ряду своих предков-земледельцев. По своему

воспитанию, нраву и характеру работы он стоял где-то на полпути между крестьянством и тогдашней интеллигенцией. Не столь теоретик, сколь убежденный практик, он около сорока лет проработал с крестьянами, разъезжая по полям своего участка, чуть ли не треть уезда перевел с трехполья на многополье и, уже в советское время, шестидесятилетним стариком, был чествуем как герой труда, о чем и до сих пор в моих бумагах хранится немудрая уездная грамота.

Отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности, которые каким-то странным образом уживались в нем с его наукой и с его борьбой против земледельческой косности крестьянства. Высокий, видный собою, с красивой черной шевелюрой, он носил свою светло-рыжую бороду на два клина, ходил в поддевке и русских сапогах, был умеренно религиозен, науки почитал, в высокие дела мира сего предпочитал не вмешиваться и жил интересами своей непосредственной работы и заботами своего многочисленного семейства.

Семью он старался держать в строгости, руководствуясь, вероятно, взглядами, унаследованными с детства, но уже и среда была не та, и времена были другие. Женился он поздно, в сорокалетием возрасте, и взял себе в жены школьную учительницу из уездного города Нолинска[1], мою будущую м а т ь, — девушку, сочувствующую революционным идеям своего времени. Брак родителей был неудачен во всех отношениях. Трудно представить себе, что толкнуло друг к другу этих людей, столь различных по воспитанию и складу характера. Семейные раздоры были обычными картинами моего детства.

Я был первым ребенком в семье и родился в 1903 году 24 апреля под Казанью, на ферме, где отец служил агрономом. Когда мне было лет шесть, у отца случилась какая-то служебная неприятность, в результате которой мы переехали сначала в село Кукмор, а потом в Вятскую губернию. Это был мрачный период в жизни отца: некоторое время он был без работы, в Кукморе служил даже не по специальности — страховым агентом и выпивал с горя. Впрочем, период этот длился недолго: в 1910 году мы перебрались в родной отцу Уржумский уезд, где отец снова получил место агронома в селе Сернур.

---

[1] Лидию Андреевну Дьяконову. (*Примеч. ред.*)

Село было небольшое: площадь с церковью, волостным правлением и домами причта и две длинные улицы, примыкающие к ней с двух концов — Нурбель и Низовка. Под прямым углом к этим улицам, к площади примыкали две короткие улочки: на одной была сельская школа, а на другой — больница. Недалеко от школы поселились и мы в длинном бревенчатом доме, разделенном перегородками на отдельные комнаты-клетушки.

Удивительные были места в этом Сернуре и его окрестностях! Помнится мне Епифаниевская ферма — поместье какого-то старозаветного богатея-священника — черный дряхлый дом из столетних бревен, величественный огромный сад, пруды, заросшие ивами, и бесконечные угодья: луга и рощи. Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях.

А человеческая жизнь вокруг была такая скудная! Особенно бедствовали марийцы — исконные жители этого края. Нищета, голод, трахома сживали их со свету. Купеческое сословие, дома священников — они стояли как-то в стороне от нашей семьи: по скудости средств отец не мог, да и не хотел стоять на равной ноге с ними. Мы, дети, однако ж, знались между собою, у нас были общие интересы, игры. В 1912 году, когда повсюду праздновалось столетие наполеоновской войны, мы, мальчишки, бредили Кутузовым, Багратионом, Платовым и знали как свои пять пальцев всех героев двенадцатого года. Увешанные бумажными орденами, деревянными саблями, мы с пиками наперевес носились по окрестным садам и вели ожесточенные бои с зарослями крапивы, которая изображала собой воинство Бонапарта. Я неизменно был атаманом казачьих войск Платовым и никогда не соглашался на более почетные роли, ибо Платов представлялся мне образцом российского геройства, удали и молодечества.

В начальной школе я учился старательно. Но школа была бедная и скудная, ученики — крестьянские мальчики, и среди них — много марийцев, изнуренных нуждою. Священник о. Сергий бивал нас линейкой по рукам и ставил на горох в угол. Однажды зимой, в лютый мороз, в село принесли чудотворную икону, и мой товарищ, ма-

рийский мальчик Ваня Мамаев, в худой своей одежонке, с утра до ночи ходил с монахами по домам, таская церковный фонарь на длинной палке. Бедняга замерз до полусмерти, измучился и получил в награду лаковую картинку с изображением Николая Чудотворца. Я завидовал его счастью самой черной завистью.

Уржум, ближайший уездный город, был в шестидесяти верстах от нашего села. В Уржуме было реальное училище, отлично оборудованное в новом корпусе, построенном на средства местного земства — одного из передовых земств тогдашней России. В 1913 году, десятилетним мальчиком, я сдавал туда вступительные экзамены. Экзамены шли в огромном зале. Перед стеклянной дверью в этот зал толпились и волновались родители. Когда мать провела меня в это святилище науки, я слышал, как кто-то сказал в толпе: «Ну, этот сдаст. Смотрите, лоб-то какой обширный!» И действительно, сначала все шло благополучно. Я хорошо отвечал по устным предметам — русскому языку, закону божьему, арифметике. Но письменная арифметика подвела: в задачке я что-то напутал, долго бился, отчаялся и, каюсь, малодушно всплакнул, сидя на своей парте. К счастью, в мой листочек заглянул подошедший сзади учитель и, усмехнувшись, ткнул пальцем куда следовало. Я увидал ошибку, и задачка решилась. В списке принятых оказалась и моя фамилия.

Это было великое, несказанное счастье! Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Как была прекрасна эта Большая улица с великолепным красного кирпича собором! Как пленительны были звуки рояля, доносившиеся из открытых окон купеческого дома — звуки, еще никогда в жизни не слыханные мною! А городской сад с оркестром, а городовые по углам, а магазины, полные необычайно дорогих и прекрасных вещей! А эти милые гимназисточки в коричневых платьицах с белыми передничками, красавицы, — все как одна! — на которых я боялся поднять глаза, смущаясь и робея перед лицом их нежной прелести! Недаром вот уже три года, как я писал стихи, и, читая поэтов, понабрался у них всякой всячины!

У моего отца была библиотека — книжный шкаф, наполненный книгами. С 1900 года отец выписывал «Ниву», и понемногу из приложений к этому журналу у него составилось порядочное собрание русской классика, кото-

рое он старательно переплетал и приумножал случайными покупками. Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, наклеенное на картоночку, виднелось наставление, вырезанное отцом из календаря. Я сотни раз читал его, и теперь, сорок пять лет спустя, дословно помню его немудреное содержание. Наставление гласило: «Милый друг! Люби и уважай книги. Книги — плод ума человеческого. Береги их, не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги — все равно, что хлеб».

Сам-то отец, говоря по правде, не так уж часто заглядывал в свой шкаф, он скорее уважал его, чем любил, — однако, детская душа восприняла его календарную премудрость со всей пылкостью и непосредственностью детства. К тому же каждая книга, прочитанная мной, убеждала меня в правильности этого наставления. Здесь, около книжного шкафа с его календарной панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого большого для меня события.

И вот я — реалист. На мне великолепная черного сукна фуражка с лаковым козырьком, блестящим гербом и желтыми кантами. Я одет в черную, с теми же кантами, шинель, и пуговицы мои золотого цвета. Однако парадная форма положена нам голубая, и потому нас, реалистов, дразнят: «Яичница с луком!» Но кто дразнит? Ученики какого-то городского училища. Это — от зависти. Зависть же оттого, что в городе одна-единственная женская гимназия, а мужских училищ два — реальное и городское. Мы, как кавалеры, без особенного усилия забиваем их — городских. Отсюда наши вековечные распри.

Иной раз эти распри принимают серьезный оборот. В городе существует заброшенное Митрофаниевское кладбище — место свиданий и любовных встреч. Бывают вечера, когда по незримому телеграфу передается весть: «Наших бьют!» Тогда все реалисты, наперекор всем установлениям и правопорядкам, устремляются к Митрофанию и вступают в бой с городскими. Орудиями боя чаще всего служат кожаные форменные ремни, обернутые вокруг ладони. Медная бляха, направленная ребром на противника, действует как булава и может натворить немало бед. Почти всегда победителями выходим мы, реалисты, но кое-когда достается и нам, если мы проморгаем нужное время.

Но как тяжко вдали от дома! Я устроен «на хлеба» к хозяйке Таисии Алексеевне. Вместе со мной в комнате живет еще один мальчик. Нас кормят, нам стирают белье, за нами приглядывают, и все это стоит нашим отцам недешево — по тринадцать рублей с брата в месяц. Наш надзиратель «Бобка», а то и сам инспектор, могут нагрянуть к нам в любой вечер: после семи часов вечера мы не имеем права появляться на улице. Но где же набраться силы, чтобы выполнять это предписание? Здесь, в этом великолепном городе, действует кинематограф «Фурор», а там идут картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина! Приходится идти на то, что старшие наряжают меня девчонкой и тащат с собой на очередной киносеанс. Все как-то сходило с рук, но однажды мы попались: в наше отсутствие явился на квартиру инспектор и устроил скандал. К счастью, в этот вечер горела городская лесопилка, и мы отговорились тем, что были на пожаре. В кондуит мы все же попали, но это было полбеды.

Реальное училище было великолепно. Каждое утро, раздевшись внизу, я, придерживая рукой ранец, поднимался по двум пролетам лестницы и в трех шагах от инспектора щелкал каблуками, кланялся и старался прошмыгнуть дальше. Но это не всегда удавалось. Образец педантизма, немец-инспектор Силяндер был неумолимо строг. Заметив несвеженачищенные ботинки, он отсылал нерадивого вниз, где под лестницей стояла скамья со щетками и ваксой. Там надлежало привести обувь в порядок и процедуру представления повторить снова. В перемену, когда мы беззаботно бегали по коридору или гуляли по залу, к нам мог подойти надзиратель, расстегнуть воротник блузы и проверить белье. И горе тому, у кого белье было цветное или недостаточно чистое — неряха попадал в кондуит или получал строгий выговор от начальства. Так школа приучала нас следить за собой, и это было необходимо, так как состав учеников у нас был пестрый — были тут дети и городской интеллигенции, и дети чиновников, и дети купцов, и много крестьянских детей. Жизненные навыки у нас были в одно и то же время и разнообразны и недостаточны.

Наш учебный день начинался в актовом зале общей молитвой. Здесь, на передней стене, к которой мы становились лицом, висел большой, до самого потолка, парадный портрет царя в золотой раме. Царь был изображен в мантии и во всех регалиях. Классы выстраивались в уста-

новленном порядке, но из них выделялся хор, который становился с левой стороны. Когда все приходило в порядок и учителя, одетые в мундиры, занимали свои места, в зале появлялся директор, и молитва начиналась. Сначала какой-нибудь младенец-новичок читал «Царю небесный», потом пели, потом отец Михаил, наш законоучитель, вечно страдающий флюсом, жиденьким тенорком читал главу из Евангелия, и все это заканчивалось пением гимна «Боже, царя храни». Затем мы с облегчением разбегались по классам.

Оборудование школы было не только хорошо, но сделало бы честь любому столичному училищу. Впоследствии, будучи ленинградским студентом, я давал пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, но ни одна из них не шла в сравнение с нашим реальным училищем, расположенным в ста восьмидесяти километрах от железной дороги. У нас были большие, чистые и светлые классы, отличные кабинеты и аудитории по физике и химии, где скамьи располагались амфитеатром, и нам отовсюду были видны те опыты, которые демонстрировал учитель. Особенно великолепен был класс для рисования. Это тоже был амфитеатр, где каждый из нас имел отдельный мольберт. Вокруг стояли статуи — копии античных скульптур. Рисование вместе с математикой считались у нас важнейшими предметами, нас обучали владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. У нас были свои местные художники-знаменитости, и вообще живопись была предметом всеобщего увлечения. Хорош был также гимнастический зал с его оборудованием: турником, кожаной кобылой, параллельными брусьями, канатами и шестами. На праздниках «сокольской» гимнастики мы выступали в специальных рубашках с трехцветными поясами, и любоваться нашими выступленьями приходил весь город.

Круг учителей был пестрый. Общей нашей любовью стал Владислав Павлович Спасский, учитель истории, еще молодой тогда человек. В то время когда прочие учителя ходили в форменных сюртуках, он почему-то носил пиджак, правда, с теми же лацканами и пуговицами. С принятыми у нас учебниками Иванова он считался мало, основными движущими силами истории считал материальное бытие человечества и по основным вопросам давал свои формулировки, которые заставлял записывать в тетрадь и требовал от нас хорошего их понимания. Никакие ссылки на учебник не помогали иному лентяю в его отве-

т а х , — уделом его была неизменная двойка в дневнике. Это обстоятельство долгое время обескураживало нас, но со временем мы поняли, что Спасский — человек самостоятельной мысли, и это обстоятельство необычайно подняло его авторитет в наших глазах. В жизни он был малоразговорчив, сосредоточен и никогда не был с нами запанибрата. Мы уважали его и гордились тем, что он был нашим классным наставником с первого класса.

Учитель естествоведения был высок, кривоват на один глаз, но преподавал увлекательно, был любитель посмеяться, и перед каникулами часто читал нам Чехова, причем читал так уморительно и так заразительно смеялся сам, что мы всем классом, конечно, дружно вторили ему. Это был хороший, дружелюбно настроенный к нам и прогрессивный человек, как то показало его поведение после революции.

Федор Логинович Логинов, учитель рисования, красавец-мужчина, кумир уездных дам, пользовался нашей любовью именно потому, что преподавал любезное нашему сердцу рисование, а также потому, что имел порядочный баритон и недурно пел на наших концертах.

Безусловное влияние на нас имела учительница немецкого языка Эльза Густавовна, по мужу Сушкова. В своем синем форменном платье, педантично-аккуратная и в то же время моложавая и миловидная, она была с нами настойчива и трудолюбива. Часто на переменах мы слышали, как она беседует по-немецки с инспектором, и этот свободный иноязычный разговор на нас, провинциальных мальчуганов, производил большое впечатление.

Зато всем классом, дружно, как по уговору, мы ненавидели нашу француженку Елизавету Осиповну Бейль. Это была низенькая, чопорная, в седых аккуратных буклях, старая дева, и во всех ее манерах было что-то такое, что нам, маленьким медвежатам, казалось глубоко чуждым и враждебным. Она почему-то ходила с тростью и часто гуляла по городу со своей отвратительной болонкой. С классом у нее не было общего языка, она была придирчива и нажила себе среди нас немало врагов. В первом же классе мы однажды устроили на ее уроке целое представление. Старая дева имела привычку довольно часто чихать. Чихнув, она величественно открывала свой ридикюль, вынимала платочек, и мы были обязаны сказать ей хором: «А вотр сантэ!»

Пашка Коршунов принес в класс нюхательного табаку и в перемену, перед французским языком, покуда все мы развлекались в зале, рассыпал табак по партам, причем изрядное количество его попало и на учительскую кафедру. Начался урок. Все шло по заведенному порядку, уже было выяснено, какое «ожордви» число и кто из учеников «сонтапсан», как вдруг учительница вынула платок и чихнула.

— А вотр сантэ, — сказали мы, и занятия продолжались.

Но вот француженка чихнула во второй, в третий, в четвертый раз.

— А вотр сантэ! А вотр сантэ! — отвечали мы.

И вдруг и справа и слева послышались чиханья, сперва легкие и короткие, потом все более ожесточенные и, наконец, превратившиеся в сплошное безобразие. Старушка же, закрывшись платочком, чихала непрерывно, слезы ручьем текли по ее лицу, и класс, сам изнемогая от нестерпимого зуда в носу и глотке, кричал, захлебываясь:

— А вотр сантэ, а вотр сантэ, мадемуазель!

Кончилось дело тем, что француженка выбежала за дверь и Пашка Коршунов в одну минуту замел все следы своего преступления. Явился инспектор. После уроков мы два часа простояли на ногах всем классом. Пашку Коршунова мы не выдали.

В первые дни революции, когда я учился в четвертом классе, в квартире француженки были выбиты камнями все окна, и с тех пор она исчезла с нашего горизонта. Нечего говорить о том, что по-французски мы были «ни в зуб ногой».

Мальчишеских дурачеств было достаточно, но любопытно, что проявлялись они лишь в отношении немногих, особенно нелюбимых нами учителей. Однажды нам, наблюдательным бесенятам, показалось, и, может быть, не без некоторого основания, что Спасский и немка неравнодушны друг к другу. Тотчас на классной доске появилась огромная надпись мелом: «В. П. = Э. Г.». То есть Владислав Павлович равняется Эльзе Густавовне. Немка, увидев эту надпись, покраснела и поспешно вышла из класса. Но едва в класс вошел Спасский и увидал наше произведение, он спокойно сел за кафедру и обычным голосом сказал:

— Дежурный, сотрите с доски.

Это было сказано так ровно, спокойно и твердо, что класс сразу понял: тут шутить нельзя. И шутка больше не повторялась.

Батюшку, отца Михаила, мы не ставили ни во что. Это был удивительный неудачник, ни в ком не вызывающий сожаления. Когда-то он окончил юридический факультет университета, но потом, по убеждениям, принял духовный сан. Со своим вечным флюсом, с багрово-сизым носом, с бабьим тенорком и мочальными волосиками, он производил жалкое впечатление. Жена ему ежегодно рожала но очередному младенцу, и это тоже смешило пас. Однажды наши озорники прибили ему калоши гвоздями к полу, так что батюшка, надевая их, едва не растянулся, и упал бы, если бы не подвернувшийся под руку швейцар Василий. На уроках, ко всеобщей нашей потехе, он повествовал об Ионе во чреве кита, и всем ставил или пятерки, или единицы. Уважать его оснований не было.

Остальные учителя были ни то ни се. Русский язык преподавал Иван Савельевич Баймеков, мариец по-национальности, арифметику и алгебру — молодой белобрысый Беляев, — личности, ничем не примечательные. Учителем гимнастики был некто Холодковский, он же надзиратель, он же «Бобка». В нем чувствовалось нечто от старозаветного педеля: с начальством он был угодлив, со старшеклассниками держался запанибрата, и они угощали его папиросами в уборной. Мы, младшие, его вниманием не пользовались, но инстинктивно считали его предателем и не доверяли ему.

Во главе училища стоял директор Богатырев Михаил Федорович. Швейцар Василий, раздевая его внизу, величал его: «Ваше превосходительство». Директор был представителен, красив в своей живописной седине, к тому же он считался незаурядным математиком и великолепным шахматистом. Но он стоял так высоко над нами и так мало общался с младшими классами, что мы долгое время не имели о нем определенного мнения.

Из моих новых товарищей я сразу же подружился с Мишей Ивановым, сыном учительницы женской гимназии. Это был нежный тонкий мальчик с прекрасными темными глазами, впечатлительный, скромный, большой любитель рисования, сразу сделавший большие успехи по этому предмету. Сам же я был в детстве порядочный увалень, малоподвижный, застенчивый и, втайне, честолюбивый и настороженный. Когда, бывало, мать говорила мне

в детстве: «Ты пошел бы погулять, Коля!» — я неизменно отвечал ей: «Нет, я лучше посижу». И сидел один в молчании, и мне нисколько не было скучно, и голова моя была, очевидно, занята какими-то важными размышлениями. С нервным и хрупким Мишей Ивановым нас сблизила, как видно, противоположность темперамента при общем сходстве интересов: мы оба были поклонниками искусства. Наша дружба была верной и прочной за все время нашего ученичества. Мы поверяли друг другу самые интимные свои тайны, делились самыми смелыми своими надеждами. А их было уже немало в те ранние наши годы!

Оба мы были влюблены — постоянно и безусловно. Разница была лишь в том, что Миша никогда не изменял в своих мечтах юной и прелестной Ниночке Перельман, — мои же предметы менялись почти еженедельно. Уж если говорить по правде, то еще в Сернуре я был безнадежно влюблен в свою маленькую соседку Еню Баранову. Ее полное имя было Евгения, но все, по домашней привычке, звали ее почему-то Еня, а не Женя. У Ени были красивые серые глаза, которые своей чистой округлостью заставляли вспоминать о ее фамилии, но это придавало ей лишь особую прелесть. После долгих мучительных колебаний я однажды совершенно неожиданно сказал ей басом: «Я люблю вас, Еня!» Еня с недоумением и полным непониманием происходящего подняла на меня свои чистые бараньи глазки, и, увидав их, я побагровел от стыда, повернулся и ударился в малодушное бегство. Через несколько дней после этого события нас обоих отвезли в Уржум и отдали меня в реальное училище, а ее — в гимназию. И надо же было так случиться, что ежедневно утром, по дороге в школу, мы непременно встречались с нею, и она смотрела на меня так вопросительно, так недоумевающе... Я же, надувшись, едва кланялся ей: этим способом я, несчастный, мстил ей за свое невыразимое позорище.

Потом появилась у меня другая любовь — бледная, как лилия, дочка немца-провизора Рита Витман. В своей круглой гимназической шапочке со значком, загадочная и молчаливая, она была, безусловно, воплощением совершенства, но объясниться с нею я уже не мог, и она никогда не узнала о том, как мечтал о ней этот краснощекий реалистик, какие пламенные стихи посвящал он ее красоте!

Вслед за Ритой Витман появились у меня и другие предметы воздыхания, и среди них — курносая и разбит-

ная Нина Пантюхина. С этой девицей был у меня хотя и не длинный, по деятельный роман. В начале немецкой войны мы собирали пожертвования в пользу раненых воинов. Ходили по домам парами: реалист и гимназистка. Реалист носил кружку для денег, гимназистка — щиток с металлическими жетонами, которые прикалывались на грудь жертвователям. Во всем этом деле моей неизменной дамой была Нина. И на каждой лестнице, прежде чем дернуть за ручку звонка, мы, да простит нам господь бог, целовались с удовольствием и увлечением. Таким образом я мало-помалу начинал постигать искусство любви, в то время как мой бедный друг Миша Иванов кротко и безнадежно мечтал о своей красавице и не дерзал даже близко подходить к ней!

Роман Миши Иванова с Ниной Перельман кончился трагически. Были в нашем классе два оболтуса — Митька Окунев и Петька Ливанов. Эти великовозрастные парни, аккуратные второгодники, сидели рядом на «Камчатке», и были воплощением всех пороков, доступных нашему воображению. Они не учили уроков, дерзили учителям, курили, немилосердно угнетали нас щелчками, пинками и подзатыльниками. Ливанов имел при этом необычайно выдающийся кадык и пел в хоре басом. Огненно-рыжий, весь в веснушках, Митька Окунев был удалец по дамской части. Когда, после исчезновения француженки Бейль, на ее место была назначена новая учительница — великолепная, с пышными формами шатенка, — Митька Окунев, будучи вызван к ответу, принимал фатоватую позу ловеласа и молча упирался своими наглыми глазищами в эту новоприбывшую красавицу. И весь класс, замирая, видел, как лицо ее начинало покрываться багровым румянцем. Она краснела вся, до самых ушей, даже шея ее краснела, на глазах ее появлялись слезы, и наконец, захлопнув журнал, она убегала из класса... Товарищ этого молодца — Петька Ливанов — в последние годы нашего ученичества соблазнил бедняжку Нину Перельман и бросил ее, а Миша Иванов, неизменный и молчаливый ее поклонник, сошел с ума в Москве, куда он уехал поступать в художественное училище. Через несколько лет он умер в Уржуме, у своих родных...

Маленький захолустный Уржум впоследствии прославился как родина С. М. Кирова. В мое время это был обычный мещанский городок, окруженный морем полей и лесов северо-восточной части России. Были в нем два ми-

зерных заводика — кожевенный и спирто-водочный, в семи верстах — пристань на судоходной Вятке. Отцы города — местное купечество — развлекались в Обществе трезвости, своеобразном городском клубе. Было пять-шесть церквей, театр в виде длинного деревянного барака под названием «Аудитория», земская управа, воинское присутствие, номера Потапова и еще кого-то, весьма основательный острог на площади, аптека, казарма местного гарнизона. Гарнизон состоял из роты солдат под командой бравого поручика, кривого на один глаз, но лихого, в перчатках и при шпаге. Существовала пожарная команда с ее выдающимся духовым оркестром. На парадах по царским дням мы имели удовольствие наблюдать все это храброе воинство. Парад принимал настоящий генерал, правда, в отставке, по фамилии Смирнов. Эта еле двигающаяся развалина, одетая в древний мундир, белые штаны и треуголку, с трудом вылезала из собора, воинство брало «на караул» и еле слышный старческий голосок поздравлял его с тезоименитством государя императора. Воинство гаркало в ответ, неистово подавал команду поручик, пожарники, хлебнув заблаговременно по чарке, взвывали на своих трубах и литаврах, и рота дефилировала к казарме. Толпа торговок, шумя и толкаясь, провожала своих любезных восторженными взглядами и восклицаниями.

Каждую субботу и воскресенье мы обязаны были являться к обедне и всенощной. Мы, реалисты, построенные в ряды, стояли в правом приделе собора, гимназистки в своих белых передничках — в левом. За спиной дежурило начальство, наблюдая за нашим поведением. Дневные службы я не любил: это тоскливое двухчасовое стояние на ногах, и притом на виду у инспектора, удручало всю нашу братию. Мудрено было жить божественными мыслями, если каждую минуту можно было ожидать замечания за то, что не крестишься и не кланяешься там, где это положено правилами. Но тихие всенощные в полутемной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних богу» или «Свете тихий», слезы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья.

Иногда мы прислуживали в соборе. Одетые в негну-

щиеся стихари, двое или трое из пас ходили зажигать и тушить свечи перед иконами, помогали в алтаре и потихоньку попивали «теплоту» — разведенное в теплой воде красное вино, которым запивают причастие. Но, будучи служками, мы несли еще и другие, не установленные начальством и совершенно добровольные обязанности. Пачки любовных записок переходили с нашей помощью от реалистов к гимназисткам и обратно в продолжение всей службы. Это дело требовало ловкости и умения, но мы быстро освоились с ним и почти никогда не попадались в лапы начальства.

Большим воскресным событием был еженедельный базар, собиравшийся на площади перед острогом. Сюда съезжались крестьяне со всего уезда. Везли скот, мясо, муку, дрова, пеньку и все то, что можно было вывезти из деревни. Домохозяйки всех рангов с озабоченными и вдохновенными лицами сновали в этой толпе: провизия закупалась на всю неделю, было о чем позаботиться. Бойко работала «монополька». Начиная с полудня вокруг нее лежали живые трупы, слышался бабий вой, воздух наполнялся смрадом пережженного спирта, песнями и руганью. Не отставало от «монопольки» и Общество трезвости. По крутым его ступенькам посетители зачастую съезжали на спине и лишь с помощью городового могли подняться на собственные конечности.

На фоне этой замкнутой и десятками лет узаконенной жизни резко выделялась и влекла нас к себе другая жизнь, не слишком богатая, но все же заметная и все более растущая. В «Аудитории» регулярно работал и давал свои незамысловатые спектакли любительский драматический кружок. Существовало музыкальное училище, музыка повсюду пользовалась почетом и любовью. В первый год моего ученичества у нас в реальном училище, силами учителей, интеллигенции и старшеклассников ставилась (полностью!) «Аида». Правда, опера шла под аккомпанемент рояля и с помощью лишь местных ограниченных средств — но шла! Концерты давались регулярно то там, то тут. Работали две приличные библиотеки. И впоследствии, в первые годы революции, когда, спасаясь от голода, хлынула к нам из столиц артистическая интеллигенция, она нашла в Уржуме добрую почву для работы, понимание и всеобщее поклонение.

По временам из Сернура приезжал отец и забирал меня к себе в номера Потапова. Здесь мы вели роскошную

жизнь — лакомились икрой, копченой рыбкой, сыром. Все это были деликатесы, недоступные нам в обычной жизни. На рождественские и пасхальные каникулы отец увозил меня домой, в Сернур.

Чудесные зимние дороги — одно из лучших моих детских воспоминаний. Отец ездил на паре казенных лошадей в крытой повозке или кошевых санях. Он был в тулупе поверх полушубка, в огромных валенках — настоящий богатырь-бородач. Соответственным образом одевали и меня. Усевшись в повозку, мы покрывали ноги меховым одеялом, и уже не могли под тяжестью одежды двинуть ни рукой, ни ногой. Ямщик влезал на козлы, разбирал вожжи, вздрагивал колокольчик на дуге у коренного, и мы трогались. Предстоял целый день пути при 20—25-градусном морозе.

И зима, огромная, просторная, нестерпимо блистающая на снежных пустынях полей, развертывала передо мной свои диковинные картины. Поля были беспредельны, и лишь далеко на горизонте темнела полоска леса. Снег скрипел, пел и визжал под полозьями; дребезжал колокольчик; развевая свои седые, покрытые инеем гривы, храпели лошади и протяжно покрикивал ямщик, похожий на рождественского деда с ледяными сосульками в замерзшей бороде. По временам мы ехали лесом, и это было сказочное государство сна, таинственное и неподвижное. И только заячьи следы на снегу да легкий трепет какой-то зимней птички, мгновенно вспорхнувшей с елки и уронившей в сугроб целую охапку снега, говорили о том, что не все здесь мертво и неподвижно, что жизнь продолжается, тихая, скрытная, беззвучная, но никогда не умирающая до конца.

Совсем другой была природа под пасху. Она оживала вся сразу и, окончательно еще не проснувшись, была наполнена смутным и тревожным шумом постепенного своего пробуждения. Темнел и с мелодичным еле слышным звоном таял снег; ручьи уже начинали свои бесшабашные танцы; падали капли; скот радостно и сдержанно шумел в деревнях и просился на волю. И реки, эти замерзшие царственные красавицы, вздрагивали, покрывались туманом и уже грозили нам неисчислимыми бедами. Однажды мы с отцом попали в разводье. Лошади успели проскочить, но тяжелая повозка провалилась и уперлась передком в твердую льдину. Вода хлестала через нас по ме-

ховому одеялу, и мы были на волосок от гибели. Но добрые кони вынесли, и опасность миновала.

Кормили лошадей на полдороге, в марийской деревне Часовня. Тут мы отдыхали, пили чай в вонючей, грязной избе, окруженные полуголыми ребятишками, и с полатей, посасывая длинную трубку, неподвижно смотрела на нас дряхлая лысая старуха — существо, лишь отдаленно похожее на человека. Домой приезжали поздно, при свете звезд, когда все село уже спало и только в нашем доме светился огонек: домашние ждали нас.

Семье жилось нелегко. Детей у матери было шестеро, и я — старший из них. Погруженная в домашние заботы, мать старилась раньше времени и томилась в захолустье. Когда-то радостная и веселая, теперь она видела всю безвыходность своего неудачного супружества и нерастраченные душевные силы свои выражала в исступленной любви к детям. Она чувствовала, что настоящая живая жизнь идет где-то стороной, далеко от нее, сама же она обречена на медленное душевное умирание. Она с гордостью рассказывала нам, что есть на свете люди, которые желают добра народу и борются за его счастье и за это их гонят и преследуют; что сестра ее, тетя Миля, сидела в тюрьме за нелегальную работу, так же как сидел один из отцовых племянников, студент, известный в нашей семье под кличкой Коля-большой, в отличие от меня — Коли-маленького. Коля-большой по временам приезжал к нам со своей неизменной гитарой и собирал вокруг себя целую толпу местной молодежи. Он славно пел свои неведомые нам студенческие песни и всем своим веселым видом вовсе не напоминал подвижника, пострадавшего за народ. Это была загадка, разгадать которую я был еще не в силах.

В 1914 году, когда я учился во втором классе, началась немецкая война. Но она была так далеко от нас и так мало поддавалась нашему представлению, что вначале больших перемен в нашу жизнь не внесла. Однажды приезжали в училище бывшие наши выпускники, теперь молодые прапорщики, отправляющиеся на фронт, прощаться с директором и учителями. Они были в новеньких защитных куртках, в погонах, с сабельками. Мы, разинув рот, наблюдали издали за ними и мучительно завидовали им. Потом разнесся слух, что убили одного из них — Кошкина. Труп его в свинцовом гробу привезли в город, и все

реальное училище хоронило его на городском кладбище. По этому поводу я написал весьма патриотическое стихотворение «На смерть Кошкина» и долгое время считал его образцом изящной словесности.

Во всех домах появились карты военных действий с передвигающимися флажками, отмечающими линию фронта. Вначале все это занимало нас, особенно во время прусского наступления, но затем, когда обнаружилось, что флажки передвигаются не только вперед, но и назад, и даже далеко назад, — игра постепенно приелась, и мы охладели к ней. И только буйные крики пьяных новобранцев да женский плач, которые все чаще слышались у воинского присутствия, напоминали нам о том, что в мире творится нечто страшное и беспощадное, нимало не похожее на это безмятежное передвигание флажков в глубине уржумского захолустья.

1955

КАРТИНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Это — особая страна, непохожая на наши места; мир, к которому надо привыкнуть. Прежде всего, это не равнина, не долина. Это необозримое море каменистых холмов и гор — сопок, поросших тайгой. Природа еще девственна здесь, и хлябь еще не отделилась от суши вполне, как это бывает в местности, освоенной человеком. Во всей своей торжественной дикости и жестокости предстает здесь природа. Не будешь ты тут разгуливать по удобным дорогам, восторгаться красотой мощных дубов и живописным расположением рощ и речек. Придется тебе перескакивать с кочки на кочку, утопать в ржавой воде, страдать от комаров и мошек, которые тучами носятся в воздухе, представляя собой настоящее бедствие для человека и животных. Поднимаясь на сопку, напрасно будешь ты надеяться, что наконец-то твоя нога ступит на твердую сухую почву, — нет, и на сопке та же хлябь, те же кочки.

И тайга — это вовсе не величественный лес огромных деревьев. Горько разочаруешься ты с первого взгляда, встретив здесь главным образом малорослые, довольно тонкие в обхвате хвойные породы, которые беспорядочными зарослями тянутся в бесконечные дали, то поднимаясь на сопки, то спускаясь вниз. Есть тут, конечно, и величественные, красноватые лиственницы, и дубы, и бархат, но не они представляют общий фон, но именно эта неказистая, переплетенная глухая тайга, и страшная и привлекательная в одно и то же время.

Приходилось мне бывать на тушении лесных пожаров. Тайга летом горит часто, и бороться с пожарами трудно. Ночью можно видеть, как огненные струи бегут по склонам сопок, как понемногу пламя овладевает вершиной и начинает гулять по ней, заливая небо багровым заревом, видимым за десятки километров. В тайге страшно. Пламя летит где-то вверху по листве. Еще где-то далеко бушует

пожар, но треск его все ближе и ближе. Еще не горит ничего вокруг, но вот вверху вспыхнула ветка, другая, — не заметишь, как и когда загорелись они, и вот уже понеслись во все стороны искры, и скоро целые охапки пламени вспыхивают над головой, разливая по стволам огненные струи. Уже давно, гонимые жаром, улетели птицы. Волки, зайцы и все зверье, позабыв о вражде, не чуя человека, ломятся прочь, не разбирая дороги. И вот уже вся эта первобытная хлябь, что под ногами, зашевелилась, поползла, засуетилась, полетела, начала карабкаться во все стороны, потревоженная близостью огня. Вся тварь насекомая, которую и не видишь никогда, полубесформенная, многоногая, слепая, одурелая, мечется в воздухе, лезет в нос, в глотку, ползет по ногам; воистину страшное зрелище!

Насекомых здесь великое множество, и многие из них примечательно красивы. Бабочки огромны, и расцветка их прекрасна. Дыхание каких-то южных морей чувствуется в этой замечательной окраске. Великое множество жуков, иные из них — настоящие великаны с усами в вершок и более. Летом сопки покрываются морем чудесных цветов — огромные белые лилии, багровые пионы, жасмин в человеческий рост, багульник, — все это напоминает собой южные цветы, выведенные рукой человека, а не дикорастущие по воле божией. И климат здесь — какое-то странное смешение суровоконтинентального и мягкоприморского, что накладывает своеобразную печать на всю природу Дальнего Востока.

Но почва камениста. Я не знаю тех геологических бурь, которые сотворили здесь всю эту каменную кутерьму, но стоит только снять растительный слой, как лопата натыкается на глину и камень. В карьере мы обнажаем и взламываем вековечные пласты каменных пород, и странно видеть их матовую поверхность, впервые от сотворения мира обнаженную и увидавшую солнечный свет.

Когда-нибудь, проезжая к берегам Охотского моря и наблюдая природу из окна вагона, путешественник будет изумлен величественным зрелищем, которое откроется перед его глазами. С вершин сопок он увидит вздыбленное каменное море, как бы застывшее в момент крайнего напряжения бури. Каменное море, поросшее лесом, изрезанное горными речками, то мелководными, то бурными и широкими в период таянья снегов. И что ни поворот,

то новые изменчивые картины в новом аспекте света и теней будут внезапно появляться перед его глазами. Но это будет потом. Сейчас здесь суровый нелегкий человеческий труд.

Лето здесь дождливо, но осенние месяцы — сентябрь и октябрь — прекрасны всегда. Устанавливается сухая погода, мирное осеннее солнце заливает светом начинающую желтеть тайгу, и вся природа как бы успокаивается в преддверии зимы — величественной дальневосточной зимы.

Зимние холода суровы — до сорока и пятидесяти градусов ниже нуля, но температура эта переносится сравнительно легче, чем такая же в России. По ночам черное-черное небо, усеянное блистательным скопищем ярких звезд, висит над белоснежным миром. Лютый мороз. Над поселком, где печи топятся круглые сутки, стоит многоствольная, почти неподвижная колоннада дымов. Почти неподвижен и колоссально высок каждый из этих белых столбов, и только где-то высоко-высоко вверху складывается он пластом, подпирая черное небо. Совсем-совсем низко, упираясь хвостом в горизонт, блистает Большая Медведица. И сидит на столбе, над бараками, уставившись оком в сугробы, неподвижная полярная сова, стерегущая крыс, которые водятся тут, у жилья, в превеликом множестве.

Утром, когда в морозном тумане поднимается из-за горизонта смутно-багровое солнце, можно нередко видеть на небе примечательные огненные столбы, которые в силу каких-то атмосферных причин образуют вокруг солнца нечто вроде скрещенных прожекторных лучей. И еще любопытно: вдруг вспыхивает яркая радуга и так висит над снегом, точно нарисованная, удивляя непривычных человеков.

Весна большей частью медленная, с обильными водами и грязью непролазной. Но вот вода сошла, почва подсохла, как будто устанавливается лето. Но тут начинаются паводки. Постепенно собирая воду с дальних сопок, набухают мелкие речки, вода все прибывает и прибывает, и вот, круша и ломая лесные завалы, уже несется она с ревом и грохотом. Нередко можно видеть, как водяной вал высотою в метр и более перекатывается через кучи обрушенных деревьев, и тогда безобидная мелкая речушка в один миг превращается в грозно ревущее море.

И иного еще разных разностей можно написать о тех краях. Можно упомянуть о вечной мерзлоте, когда, выпираемые застывшей водой, целые груды камней сами собой вылезают на земную поверхность; о дикорастущем винограде, который мирно уживается рядом с северной клюквой; о птицах, которые здесь не поют (кстати говоря, цветы здесь без запаха, за исключением ландыша); о милых маленьких бурундуках и так далее. Наконец, особого описания требует Амур, который, подобно гигантской ленте, извиваясь, катит свои волны у подножия бесчисленных сопок, и ветры, как по трубе летят над ним, следуя по течению, ибо сопки не дают им прорваться в глубь страны. Но мое письмо — это только беспорядочный набросок, обо всем нет времени написать...

21 апр. 1944 г.
Алтайский край

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

О СУЩНОСТИ СИМВОЛИЗМА

Символизм, одно из видных направлений русской и западноевропейской поэзии, может быть рассмотрен с двух сторон: как мировоззрение и как литературная школа с ее техническими усовершенствованиями и ценностями. Устраняя последний вопрос, весьма сложный и требующий специальной проработки, я попытаюсь охарактеризовать символизм в сфере его внутренней философской ценности.

Поэт, прежде всего, — созерцатель. Созерцание, как некое активное общение субъекта с окружающим его миром, всегда ставит ряд вопросов о сущности всякого явления. Вещи спрашивают о своем существовании, и поэт спрашивает о существовании вещей. Вопросы теории познания делаются логически неумолимыми. Теория наивного реализма — теория ленивого обывателя, не склонного к критическому анализу познания, — не может быть принята поэтом, несмотря на то свойство поэзии, намекая на которое Пушкин писал (правда, весьма схематично и условно): «Поэзия, прости господи, должна быть немного глуповата».

Поэт-символист принимает и предваряет в своем творчестве те разработанные тезисы теории познания, которые явились результатом продолжительных работ со времени Платона до эпохи Гартмана. Объекты, входящие в состав так называемого внешнего мира, рассматрива-

ются как комплексы чувств, но так как факторы, действующие на образование вещей вне нас, не укладываются в рамки познающего сознания, то объектам приписывается существование, бытие и вне нас. Но так как познание остается невозможным без познающего, без субъекта, оно носит субъективные особенности последнего... Представление о предмете, его отображение в сознании склоняется к моменту реализации. Между субъектом и содержанием познания существует прочная связь, так как познающий субъект приходит в состояние известного сознания, то есть некоторое содержание теперь присутствует в нем и осознается им. Вступая в сознание, вещь не приемлется в своем бытии, но содержание ее, присутствующее в познающем субъекте, подвергается воздействию субъективности его познания. Субъективные начала свойственны каждому познанию. Познаваемый предмет может быть красочным, звучным, теплым, твердым — объективно одинаковым как для меня, так и для вас. Но наше представление лишено таких качеств, оно может быть, например, интенсивным, ясным, отчетливым и пр. Таким образом получается различие не в переживаемом, а в переживании. И то, что я ранее назвал стремлением к реализации, зависит лишь от качества и особенностей восприятия. Бытие, как сумма объектов, может только полагаться и, с формальной стороны, является продуктом мыслительной деятельности. В поэзии реалист является простым наблюдателем, символист — всегда мыслителем. Наблюдая уличную жизнь, реалист видит отдельные фигуры и переживает их в видимой очевидной простоте.

...Улица... Дряхлый старик просит милостыни... Проходит, сверкая поддельными камнями, накрашенная женщина...

Символист, переживая очевидную простоту действия, мысленно и творчески проникает в его скрытый смысл, скрытую отвлеченность.

«Нет, это не нищий, не женщина веселых притонов — это Нужда и Разврат, это — дети Гиганта-Города, это смерть его каменных объятий...»

«Поэты-символисты никогда не теряют таинственной нити Ариадны, связывающей их с мировым лабиринтом Хаоса; они всегда овеяны дуновениями, идущими из области запредельного, и потому, как бы против их воли, за словами, которые они произносят, чудится гул еще

других голосов, ощущается говор стихий, отрывки из хоров, Святая Святых мыслимой нами Вечности» (К. Д. Бальмонт, «Горные Вершины»)[1].

Душа символиста — всегда в стремлении к таинственному миру объектов, в отрицании ценности непосредственно воспринимаемого, в ненависти к «фотографированию быта». Она видит жизнь всегда через призму искусства. Такое искусство, конечно, не может не быть несколько аристократичным по своему существу, замкнутым в области творения своего мира. Своеобразная интуиция символиста целиком направлена на отыскивание вечного во всем не вечном, случайном и преходящем. В его действии движутся уже не вещи, а символы их, символы частиц великого мира субстанций. Слагая символы, символист интуитивно приближается к этому миру, его поэзия есть претворение субъективно-познаваемого в символ истины. Поэтому поэзия его есть поэзия намеков, оттенков, что Верлен и имел в виду, когда писал:

Музыки, музыки прежде всего.
Ритм полюби в ней, но свой,
непослушный,
Странно живой и неясно воздушный,
Все отряхнувший, что грубо, мертво.
В выборе слов будь разборчивым строго,
Даже изысканным будь иногда:
Лучшая песня в оттенках всегда,
В ней сквозь туманность и тонкости много...

(Перев. Тхоржевского)

Эти теоретические убеждения носит в себе всякий символист.

Эдгар По, которого принято называть чуть ли не первым символистом, конечно, не осознал теоретически того, что осознали Бальмонт или Брюсов, но намеки на подобное мировоззрение у него отыскать можно. По допускал существование иного плана бытия, что-то вроде астрального мира оккультистов, считая землю простым намеком, несовершенным стремлением, быть может, пародией небесного.

Для сердца, чьи страдания столикая громада,
Для духа, что печалью и мглою окружен,
Есть тихая обитель, услада, Эльдорадо —
Лишь здесь изнеможенный с собою примирен.

Но путник, проходящий по этим дивным странам,
Не может и не смеет открыто видеть их,
Их таинства навеки окутаны туманом,
Они полусокрыты от слабых глаз людских.
Так хочет их Владыка, навеки возбранивший
Приоткрывать ресницы и поднимать чело,
И каждый дух печальный, в пределы их вступивший,
Их может только видеть сквозь дымное стекло.

(«Страна слов», перев. Бальмонта)

Жизнь По была полна скитаний и неудач; его душа, непосредственно соприкасаясь с язвами земли, привыкла искать в их ужасе красу Эльдорадо; душа, обостренная уродством жизни, своеобразно приближалась к своему идеалу.

Но какой путь прошел «безумный Эдгар»! Вот темы его творений.

Утонченность губит Душу («Падение дома Эшеров»).

Невозможность любви, потому что душа, исходя из созерцания земного любимого образа, возводила его роковым путем к идеальной мечте («Овальный портрет»).

Пытки совести, скептическое отношение к принципам науки и пр., и пр...

«Колумб новых областей» в человеческой душе, По первый сознательно задался мыслью ввести уродство в область красоты и с лукавством мага создал поэзию ужаса».

(Бальмонт. Предисловие к соч. По)

Имя По тесно связано с именем Шарля Бодлера, которому принадлежат переводы его сочинений на французский язык. Бодлер стремится к своей стране, также отыскивая все ее признаки в остроте ужаса и уродства. Характерна его книга «Цветы зла». Приведу две строфы из его сонета («Соответствие»), которые весьма ярко указывают, насколько Бодлер подошел к тем теоретическим убеждениям, которые так характерны для последующих символистов:

Природа — строгий храм, где строй живых колони
Порой чуть внятный звук украдкою уронит,
Лесами символов бредет, в их чаще тонет,
Смущенный человек их взглядом умилен.
Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
Где все едино: свет и ночи темнота,
Благоухание, и звуки, и цвета
В ней сочетаются гармонией согласной.

Французский декаданс дал еще двух поэтов-символистов. Это Поль Верлен, соединивший в своей душе (по его словам) ангела и свинью, и Малларме, который был первым истинным теоретиком символизма. Русские символисты К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов и А. Белый развили теорию символизма до той чистоты и законченности, которая была так заметна в русской поэзии еще не так давно. Уже в самом процессе осуществления задачи приподнять завесу с таинственного мира объектов крылось некоторое недоразумение. Таинственный мир, являющийся символистам, был далеко не объективным, наоборот, он носил в себе резкий отпечаток индивидуальности автора. Таковыми были Эльдорадо для Э. По, «непостижимый край родной» для Белого, «звезда Маир» для Ф. Сологуба. Вдохновенные откровения миров не были гласом природы, но видением индивида, стремящегося к ним всей силой поэтического влечения. Этим я объясняю упадок действительного символизма и то, что его талантливые представители, занимающие в современной русской литературе доминирующее положение (Брюсов, А. Белый), уже утратили свой прежний литературный облик.

В заключение остается упомянуть о так называемом символизме как средстве.

Все упомянутые поэты являются представителями символизма художественного (как самоцель).

Эллис в своей книге «Русские символисты» приводит имена многих известных писателей и поэтов последнего времени, которых причисляет к символизму, понимаемому как средство. Эллис делит идейный символизм на несколько разрядов, именно:

1) символизм моралистический (Ибсен),
2) символизм метафизический (Р. Гиль),
3) символизм чисто мистический (А. Добролюбов),
4) символизм индивидуалистический (Ф. Ницше),
5) символизм коллективный, соборный:
   а) с социальным оттенком (Э. Верхарн),
   б) с теократическим и религиозно-общественным уклоном (Гюисманс, Мережковский, В. Иванов).

Такое подразделение можно оспаривать по той уже причине, что символизм как средство — не есть уже истинный символизм. Символизм есть всегда самоцель, поскольку стремление приобщиться Эльдорадо является самоцелью этого же рода.

Певец Бранда и «безумный язычник» Ницше говорят нам слишком много своего, цельного и безусловно оригинального, так что элементы символизма, если они и присущи их поэзии, то настолько отходят на второй план, что делаются едва заметными.

Но не в том ли и заключается своеобразная литературная преемственность, что каждое последующее литературное движение обрабатывает предшествующее, вводя на первый план оригинальные положения и литературные формы.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЛИЦО ОБЭРИУ. ПОЭЗИЯ ОБЭРИУТОВ

Громадный революционный сдвиг культуры и быта, столь характерный для нашего времени, задерживается в области искусства многими ненормальными явлениями. Мы еще не до конца поняли ту бесспорную истину, что пролетариат в области искусства не может удовлетвориться художественным методом старых школ, что его художественные принципы идут гораздо глубже и подрывают старое искусство до самых корней. Нелепо думать, что Репин, нарисовавший 1905 г., — революционный художник. Еще нелепее думать, что всякие Ахры несут в себе зерно нового пролетарского искусства.

Требование общепонятного искусства, доступного по своей форме даже деревенскому школьнику, мы приветствуем, но требование только такого искусства заводит в дебри самых страшных ошибок. В результате мы имеем груды бумажной макулатуры, от которой ломятся книжные склады, а читающая публика первого Пролетарского Государства сидит на переводной беллетристике западного буржуазного писателя.

Мы очень хорошо понимаем, что единственно правильного выхода из создавшегося положения сразу найти нельзя. Но мы совершенно не понимаем, почему ряд художественных школ, упорно, честно и настойчиво работающих в этой области, сидят как бы на задворках искусства, в то время, как они должны всемерно поддерживаться всей советской общественностью. Нам непонятно, почему Школа Филонова вытеснена из Академии, почему Малевич не может развернуть своей архитектурной работы в СССР, почему так нелепо освистан «Ревизор» Терентьева? Нам непонятно, почему т. н. левое искусство, имеющее за своей спиной немало заслуг и достижений, расценивается как безнадежный отброс и еще хуже — как шарлатанство. Сколько внутренней

нечестности, сколько собственной художественной несостоятельности таится в этом диком подходе.

ОБЭРИУ ныне выступает как новый отряд левого революционного искусства. ОБЭРИУ не скользит по темам и верхушкам творчества, — оно ищет органически нового мироощущения и подхода к вещам. ОБЭРИУ вгрызается в сердцевину слова, драматического действия и кинокадра.

Новый художественный метод ОБЭРИУ[1] универсален, он находит дорогу к изображению какой угодно темы. ОБЭРИУ революционно именно в силу этого своего метода.

Мы не настолько самонадеянны, чтобы смотреть на свою работу как на работу, сделанную до конца. Но мы твердо уверены, что основание заложено крепко и что у нас хватит сил для дальнейшей постройки. Мы верим и знаем, что только левый путь искусства выведет нас на дорогу новой пролетарской художественной культуры.

ПОЭЗИЯ ОБЭРИУТОВ

Кто мы? И почему мы? Мы, обэриуты, — честные работники своего искусства. Мы — поэты нового мироощущения и нового искусства. Мы — творцы не только нового поэтического языка, но и созидатели нового ощущения жизни и ее предметов. Наша воля к творчеству универсальна: она перехлестывает все виды искусства и врывается в жизнь, охватывает ее со всех сторон. И мир, замусоленный языками множества глупцов, запутанный в тину «переживаний» и «эмоций», ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм. Кто-то и посейчас величает нас «заумниками». Трудно решить, что это такое, — сплошное недоразумение или безысходное непонимание основ словесного творчества? Нет школы более враждебной нам, чем заумь. Люди реальные и конкретные до мозга костей, мы — первые враги тех, кто холостит слово и превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, по

[1] Метод конкретного материалистического ощущения вещи и явления. Именно это его свойство делает его наиболее современным и актуальным. См. статью «Поэзия обэриутов». (*Примеч. Н. З.*)

никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства. В поэзии — столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики. Вы как будто начинаете возражать, что это не тот предмет, который вы видите в жизни? Подойдите поближе и потрогайте его пальцами. Посмотрите на предмет голыми глазами, и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты. Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты «нереальны» и «нелогичны»? А кто сказал, что «житейская» логика обязательна для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной женщины, несмотря на то, что, вопреки анатомической логике, художник вывернул лопатку своей героини и отвел ее в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать.

Мы расширяем смысл предмета, слова и действия. Эта работа идет по разным направлениям, у каждого из нас есть свое творческое лицо, и это обстоятельство кое-кого часто сбивает с толку. Говорят о случайном соединении различных людей. Видимо, полагают, что литературная школа — это нечто вроде монастыря, где монахи на одно лицо. Наше объединение свободное и добровольное, оно соединяет мастеров — а не подмастерьев, художников — а не маляров. Каждый знает самого себя, и каждый знает, чем связан с остальными.

А. Введенский (крайняя левая нашего объединения) разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается в результате видимость бессмыслицы. Почему видимость? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет. Нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов. Поэзия не манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас забывают.

К. Вагинов, чья фантасмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная в туман и дрожание. Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета и его теплоту, вы чувствуете наплывание толп и качание

деревьев, которые живут и дышат по-своему, по-вагиновски, ибо художник вылепил их своими руками и согрел их своим дыханием.

Игорь Бахтерев — поэт, сознающий свое лицо в лирической окраске своего предметного материала. Предмет и действие, разложенные на свои составные, возникают обновленные духом новой обэриутской лирики. Но лирика здесь не самоценна, она не более как средство сдвинуть предмет в поле нового художественного восприятия.

Н. Заболоцкий — поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Слушать и читать его следует более глазами и пальцами, нежели ушами. Предмет не дробится, но наоборот — сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ощупывающую руку зрителя. Развертывание действия и обстановка играют подсобную роль к этому главному заданию.

Даниил Хармс — поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла. Действие, перелицованное на иной лад, хранит в себе «классический» отпечаток и в то же время представляет широкий размах обэриутского мироощущения.

Бор. Левин — прозаик, работающий в настоящее время экспериментальным путем.

Таковы грубые очертания литературной секции нашего объединения в целом и каждого из нас в отдельности. Остальное договорят наши стихи.

Люди конкретного мира, предмета и с л о в а, — в этом направлении мы видим свое общественное значение. Ощущать мир рабочим движением руки, очищать предмет от мусора стародавних истлевших к у л ь т у р, — разве это не реальная потребность нашего времени? Поэтому и объединение наше носит название ОБЭРИУ — Объединение Реального Искусства.

<1928>

РАБЛЕ — ДЕТЯМ

В мировой литературе есть ряд книг — «Дон-Кихот», «Гулливер», «Мюнхгаузен» и др., — которые пользуются одинаковым успехом и у взрослых, и у детей. Дети полюбили их, впрочем, не в том виде, в каком они вышли из-под пера автора. Дети получили их в специальной обработке. Обработать книгу для детей значило: уничтожить в ней все то, что шло вразрез педагогическим, религиозным, политическим требованиям определенного времени.

Познакомившись с этими книгами в сознательном возрасте, — не по детским обработкам, а по полным изданиям, — мы с удивлением замечали, что Дон-Кихот — это вовсе не тот выживший из ума чудак, к которому мы привыкли по детскому изданию, но носитель большой философской идеи, рыцарь чести и поборник мировой справедливости. Сказочное царство Рейнеке-лиса на наших глазах превращалось в исторически-реальное феодальное королевство: безобидная сказка оказывалась едкой сатирой.

Огромное большинство детских обработок дореволюционного времени не только «облегчало» книгу соответственно требованиям читателя-подростка, но сознательно искажало и грубо выхолащивало ее. Книгу пропускали через благонамеренную педагогическую цензуру и причесывали ее на тот манер, который только и считался приемлемым для «нежного возраста».

Рабле на русском языке для детей до сих пор не обрабатывали. Моя обработка — первая.

Почему я выбрал Рабле, а не другого писателя?

Потому что книга Рабле — одна из самых значительных во французской литературе и одна из наименее известных у нас.

Потому что тема книги — сатирическое изображение старинной королевской Франции, папства, и вообще католичества — близка нам своей революционностью и независимостью.

Потому что полнокровный оптимизм Возрождения, пронизывающий эту книгу, близок и понятен нашей эпохе.

Потому, наконец, что книга сама по себе представляет широкие возможности для детской обработки (средне-старший возраст 10—14 лет).

Рабле, как и многие другие великие писатели, построил свое произведение на бродячем народном сюжете. Этот сказочный сюжет «об ужасающей жизни великого Гаргантюа» сам по себе представляет богатый материал для детского издания. Достаточно «вынуть» его из книги Рабле — и детская книжка готова.

Но советская детская литература давным-давно отказалась от «сюсюканья» с ребенком, от всевозможной литературной манной каши. Мы научились разговаривать с детьми серьезно. И было бы грубой ошибкой сводить детскую обработку Рабле к простой сказке. Сатиру нужно было оставить сатирой. Нужно было так обработать книгу, чтобы читатель-подросток усвоил ее сатирическую сторону.

Но если Рабле должен был остаться самим собой, нужно ли было вообще его обрабатывать? Может быть, его можно было печатать так, как есть, или, в крайнем случае, с некоторыми сокращениями?

Всякий, знакомый с книгой Рабле, отлично знает, что этого сделать было нельзя.

Рабле писал свою книгу 400 лет тому назад. Он писал ее для передового читателя XVI века, читателя, образованного на энциклопедический лад во вкусе Возрождения, набитого латинской, греческой и еврейской премудростью, только что оттолкнувшегося от Сорбонны с ее богословской школьной наукой и провозгласившего Здравый Смысл своим единственным учителем.

Рабле на каждой странице играет со своим читателем, он шутит с ним, делает тысячи намеков, играет в слова, высмеивает нечто неуловимое, позабытое, непонятное для нас, но, конечно, совершенно понятное для современника. Вся эта словесная игра, эти цитаты из

древних, шутовские рассуждения, высмеивающие схоластику, в наше время непонятны не только для детей, но и для взрослых читателей-неспециалистов. То, что доставляет специалисту массу тонких удовольствий, для среднего читателя является непреодолимым затруднением. Нужно проявить большое усилие воли, чтобы пробиться через эти препоны и добраться до сердцевины книги. Далеко не всякий читатель на это способен.

В детском издании было необходимо прежде всего очистить книгу от всех этих устаревших художественных элементов. Но этого мало: пришлось переработать весь язык книги. Четырехсотлетняя фраза для нашего времени неудобочитаема: она длинна, суха, сложно завернута, старообразно изукрашена. Нужно было упростить ее. По крайней мере — разбить на несколько частей, выбросив наиболее сложные обороты. Лишь в немногих случаях язык Рабле достигает той простоты и ясности, которые необходимы для детской книги. Таков весь диалог Панурга с купцом, диалоги во время бури, диалог Панурга с Фредоном. Понятно, что в этих случаях можно было ограничиться лишь небольшими изменениями.

Все это позволило мне начисто освободиться от переводного языка с его неизбежной искусственностью. Его заменила некоторая собственная языковая система, хотя и более далекая от подлинника в его дословном понимании, но по существу более близкая к нему. Меня здесь интересовала не формальная точность, а внутренняя близость к Рабле. Это вопрос, который постоянно всплывает не только при обработках, но и при обычных переводах, особенно стихотворных.

И по части содержания некоторые существенные изменения были необходимы.

Так, пришлось выбросить все безусловно непристойные эпизоды. К несчастью, некоторые из них так прочно входят в сюжет, что попросту выбросить их было невозможно. В таких случаях приходилось привносить в обработку собственный вариант, поддерживающий движение сюжета. Примеры: у Рабле мальчик Гаргантюа изобретает различные способы «подтираться», у меня — «вытирать себе нос»; у Рабле Гаргантюа, взобравшись на баш-

ню Нотр-Дам, мочится в толпу и заливает тысячи зевак, у меня же дует с башни и поднимает невиданный ураган, который валит с ног тысячи зевак. Подобным же образом обработан эпизод с чертом и женой Папефига и ряд других эпизодов.

Третья книга Пантагрюэля почти полностью выпала из моей обработки. Как известно, эта книга сюжета почти не двигает. Панург советуется с разными персонажами — следует ему жениться или не следует. Рассуждения о рогоносцах и неверных женах, доставлявшие современнику Рабле столько удовольствия, из детской книжки выпадают сами собой.

Сюжет книга (если можно говорить о едином сюжете для всей этой книги) у меня сохранен почти полностью, но развивается он быстрее и энергичнее. Моя обработка по листажу едва ли составит ⅓ подлинника. Уже одно это обстоятельство убыстряет движение сюжета.

Лишь одно существенное изменение внесено мною в сюжет Рабле. Дело в том, что, по Рабле, и вояка Гаргантюа, и мудрец Пантагрюэль в молодости совершают ряд почти одинаковых воинских подвигов. Это обстоятельство, во-первых, создает досадный параллелизм в сюжете и, во-вторых, разрушает цельность характеров героев. Мудрец Пантагрюэль — великан скромного и чувствительного нрава; он склонен к усердному чтению, к научному спору, к назидательной беседе, — все это явствует из последних трех книг Пантагрюэля. Первую же книгу Пантагрюэля Рабле писал до книги о Гаргантюа; это была его первая книга о великанах, и образ Пантагрюэля еще носил в его изображении сказочные очертания чудовищного воина, то есть те самые очертания, которые позднее были приданы им Гаргантюа. Я счел себя вправе в детской обработке воинские подвиги приписать одному Гаргантюа, а Пантагрюэлю оставить его ученые занятия и путешествия. Характеры стали более цельными, и сюжет выровнялся: дети разберутся в нем без особого затруднения.

Некоторые отдельные эпизоды также потребовали существенной обработки. Так, все заключительные церемонии у Оракула Волшебной Бутылки у Рабле еще

носят характер откровенной попойки; внутренний смысл их так глубоко запрятан, что до него без посторонней помощи среднему читателю, пожалуй, не добраться.

Мне пришлось извлечь этот внутренний смысл наружу: Волшебная Бутылка содержит в себе чудесную воду Мудрости и Здравого Смысла. С такой же настойчивостью, с какой Пантагрюэль и его друзья пробирались к Оракулу, необходимо стремиться к Знанию, к трезвому изучению природы и ее законов — такова в конечном счете мораль Рабле. Таким образом, в этом эпизоде мне пришлось переставить акцент, тайное сделать явным. Если это в известном смысле и обеднило концовку, то, с другой стороны, дало возможность закончить книгу серьезным и поучительным аккордом. Становится ясным, к чему зовет Рабле. В сатирической книге, предназначенной для детей, это более чем уместно. Разоблаченная концовка делает книгу еще более современной. Она еще раз убеждает читателя, что перед ним не антикварная вещь, извлеченная из пыли веков, но живое произведение, близкое и понятное для нашей эпохи.

Обработка книги для детей — дело сложное и неблагодарное. В сознании борются два противоречивых желания, два враждебных голоса. Первый голос ревниво оберегает каждую букву любимого автора; второй голос, голос современного детского писателя, ставит ряд неумолимых требований, которые предъявляются в наше время к любой детской книге.

Но, может быть, они вообще не нужны, эти детские обработки? В той или иной степени они все же изменяют первоначальный вид книги; так или иначе, но они навязывают произведениям великих мастеров некоторые несвойственные им черты.

Если встать на эту точку зрения, это значит — отнять у детей Дон-Кихота, Гулливера, Робинзона и ряд других ценных книг. Да у одних ли детей? Так ли уж много взрослых читателей знают Дон-Кихота по полному изданию, а не по какой-нибудь обработке? Чтобы прочесть полное издание, требуется время, труд, усилие воли.

Когда речь идет об усвоении массами культурного наследия прошлого, стоит ли уж так ревниво оберегать

неприкосновенность старинного текста, особенно если он предназначен для читателя-подростка? В конце концов, классик не музейный экспонат, он должен быть пущен в широкое обращение, он должен радовать и веселить нашего читателя так же, как он радовал современника, должен обогащать его жизненный опыт и пополнять его знания. Детская обработка должна пропагандировать великого писателя. Возмужавший и культурно выросший читатель в свое время познакомится с ним по-настоящему. На первых порах важно лишь пробудить интерес и остановить внимание подростка на замечательной книге. Это обстоятельство и учитывает Детиздат в своей работе над детскими классиками.

1935

ГЛАШАТАЙ ПРАВДЫ

1

Интерес к народной поэзии пробудился в Лермонтове рано. Пятнадцатилетним мальчиком он пишет в своих записках: «Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать... Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. — Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слыхал сказок народных; — в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности».

Во многих песнях Лермонтова слышится ясный отзвук русского фольклора. Народный эпос дал ему мощный толчок к созданию такого замечательного произведения, как «Песня про купца Калашникова».

Но роль простого подражателя народному творчеству никогда не удовлетворяла поэта. Свою литературно-гражданскую миссию он понимал иначе — шире, глубже, величественней. Ему мерещился образ народного поэта-трибуна, поэта — певца народных радостей и народных печалей.

В известном стихотворении «Поэт» Лермонтов описывает некий старый боевой кинжал, побывавший во многих битвах и теперь, подобно золотой игрушке, повисший на стене своего нового хозяина. С этим кинжалом сравнивал Лермонтов и поэта.

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
    Свои утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
    внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
    Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
    Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой;
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Что утверждает Лермонтов этими стихами? Прежде всего он утверждает, что настоящее искусство есть живая потребность народа. Искусство обязано воспламенять бойца для битвы, то есть оно должно служить осуществлению реальных исторических задач своего времени. Голос поэта должен звучать, «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных», вот в чем настоящая народность поэзии, вот где истинное призвание поэта!

Увы, все это были лишь мечты: реальная действительность николаевской России не допускала их осуществления.

Обращаясь к народным певцам былых времен, Лермонтов продолжал:

Но скучен нам простой и гордый твой язык, —
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Эти строки не утеряли своего значения вплоть до нашего времени. Разве наряду с эстетами XIX века не изобличают они некоторых наших поэтов, которые до сих пор живут в плену формалистических иллюзий, чуждаются простого и гордого (то есть независимого) языка политической поэзии и тешатся блестками и обманами идейно выхолощенного, далекого от жизни искусства?

2

Известно, что и Пушкин, и Лермонтов любили сравнивать роль поэта с ролью пророка. Это сравнение требует сейчас подробной расшифровки.

Любопытно, что Магомет, религиозно-политический организатор арабских племен, называвший себя пророком, относился к поэтам пренебрежительно и недружелюбно. К вопросу о поэтах он несколько раз возвращается в своем Коране. 26-я сура Корана так и называется: «Поэты». «Сказать ли вам, каковы те люди, на которых нисходят демоны? — спрашивает Магомет. — Они нисхо-

дят на всякого лжеца, погрязшего в грехе. Таковы поэты, за которыми, в свою очередь, следуют сбившиеся в пути. Разве не видишь ты, что они бредут по всем дорогам, как безумные, что они говорят о том, чего не делают?» (Подчеркнуто мною. — *Н. З.*)

Ясно, что беспринципному скепсису и эпикурейству арабских поэтов того времени Магомет противопоставляет свою собственную религиозно-политическую принципиальность. Ему, организатору племени, вождю и законодателю, был глубоко чужд мир отвлеченных поэтических вымыслов и созерцаний.

Нужно, впрочем, добавить, что некоторых поэтов, принявших ислам, Магомет высоко ценил и всячески использовал их для укрепления магометанства.

Придавая идеальному образу поэта черты древнего пророка, и Пушкин, и Лермонтов прежде всего подчеркивали этим, что настоящий поэт обязан быть глубоко принципиальным учителем жизни, агитатором, трибуном. Таким образом, теория «искусства для искусства», возникшая впоследствии, была заранее отвергнута лучшими поэтами нашей страны.

3

Вся жизнь Лермонтова, так рано созревшего и так преждевременно погибшего, была сплошным томлением в условиях николаевского режима. И весь тяжелый характер поэта, о котором ходит столько россказней, — прямой результат невыносимых условий жизни. Его не удовлетворяли окружавшие сверстники:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию — презренные рабы.

Уже цитированное стихотворение «Поэт» Лермонтов кончает следующим четверостишием:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк?
Иль никогда на голос мщенья
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?

В этом вопросе таится смутное предчувствие иных, лучших времен, когда поэзия, проснувшись от спячки,

вновь обретет голос высокогражданской принципиальности и мужества.

Теперь эти времена настали. Давно вырван из ножен забвения и бесправия острый клинок революционной поэзии. И не только советская литература, но и литература всего прогрессивного человечества обретает твердый и мужественный голос в своей борьбе с фашистским насилием. Вырабатывается новый тип писателя — писателя-борца и писателя-трибуна, писателя, который с одинаковым совершенством владеет пером и винтовкой.

Международный конгресс писателей в Испании — лучшее тому доказательство.

<1937>

ШОТА РУСТАВЕЛИ И ЕГО ПОЭМА

В декабре 1937 года Советская Грузия, а вместе с нею и весь Советский Союз отметили 750-летнюю годовщину поэмы «Витязь в тигровой шкуре» великого грузинского поэта Шота Руставели. В Тбилиси со всех концов Союза съехались писатели, ученые, искусствоведы, представители партийных и общественных организаций. Открылись замечательные выставки, посвященные Руставели и его времени. Прочитаны десятки докладов, посвященных великому поэту. Выпущено несколько изданий Руставели на русском, украинском, грузинском и других языках. Бессмертная книга великого Руставели делается общим достоянием всех трудящихся Советского Союза.

Что же это за книга, юбилей которой так торжественно и пышно справляет наша страна?

«Витязь в тигровой шкуре» («Вепхис Ткаосани») — любимая поэма грузинского народа.

И в минуту военной опасности, и в час свадебного веселья, и в поле за работой, и дома в часы досуга — всегда и всюду она была верным другом и постоянным спутником грузина. По свидетельству древних летописей, полководцы перед решительной битвой воодушевляли своих воинов стихами и изречениями великого поэта. На свадьбах, в тот момент, когда жених и невеста садились на коней, присутствующие затягивали стихи Руставели. Крестьяне напевали их во время полевых работ и сбора винограда.

Семь веков пролетели для поэмы Руставели как один миг. Вплоть до наших дней народ любит ее и гордится ею. Многие колхозники знают наизусть целые ее главы. Среди школьников возникло даже своеобразное соревнование: кто быстрей и лучше заучит всю поэму наизусть. Дети Советской Грузии любят своего Руставели так же, как любит его весь грузинский народ.

XII век считается золотым веком грузинского искусства. Маленькое феодальное государство Грузия к этому времени достигла своего наивысшего развития. Множество прекрасных архитектурных сооружений — крепостей, соборов и башен — украшали ее. Философы, богословы, грамматики и поэты подняли грузинскую литературу на небывалую высоту. Появился ряд выдающихся поэтов, которые писали оды в честь царицы Тамары, создавали героические поэмы и записывали народные сказания. Первым среди этих поэтов был гениальный Шота Руставели с его бессмертной поэмой «Витязь в тигровой шкуре».

Место действия поэмы — древняя Аравия, Индия, сказочный Мульгазанзар и другие страны. Автандил, молодой арабский военачальник, любимец царя Ростевана, любит его дочь, царевну Тинатин, и она отвечает Автандилу взаимностью. Однажды на охоте царь встречает загадочного витязя, облаченного в шкуру тигра. Витязь сидел на берегу и горько плакал. Царь приказал узнать, кто он такой, этот неизвестный красавец, но витязь исчез бесследно, и все поиски его были напрасны. Пораженный царь удалился от людей и предался унынию. И вот Тинатин посылает своего возлюбленного на поиски витязя в тигровой шкуре.

Проходит около трех лет. Автандил объехал почти всю землю, но витязя не нашел и уже близок был к отчаянию. Наконец в глухой пещере, на берегу реки, он встречается с незнакомцем, и здесь начинается дружба Автандила и Тариэла.

Тайна Тариэла раскрывается. Он оказался молодым индийским полководцем, потерявшим свою возлюбленную — царевну Нестан-Дареджан. Отец царевны, царь Фарсадан, хотел выдать ее за другого, но Тариэл убил жениха, а царевна была похищена неизвестными. В глубоком отчаянии Тариэл скитается по земле в поисках своей возлюбленной. Нелюдимый и мрачный, он живет в лесах, среди зверей, и ни в чем не находит утешения.

Горячее сочувствие к страдальцу заставляет Автандила на время забыть свою возлюбленную и отправиться на поиски Нестан-Дареджан. Много приключений и бед пришлось пережить друзьям, но ничто не могло поколебать их братской дружбы. Полные любви и беззаветной преданности друг к другу, витязи прошли сквозь все испытания судьбы и наконец освободили похищенную

красавицу. Двумя счастливыми свадьбами — Автандила с Тинатин и Тариэла с Нестан-Дареджан — кончается достоверный текст поэмы.

«Витязь в тигровой шкуре» — это поэтический рассказ о великой дружбе и великой любви.

Самоотверженная дружба, верность своему слову, преданность делу товарища, неустрашимость и настойчивость — вот те качества, которые привели Автандила и Тариэла к победе. В сознании народа Автандил и Тариэл стали символами бескорыстного братства и товарищеской чести. Дружба — это первая тема Руставели.

Вторая его тема — одухотворенная, возвышенная любовь, делающая человека способным на величайшие подвиги. Женщина у Руставели изображена вовсе не беззащитной сказочной красавицей. Нестан-Дареджан не только предмет поклонений витязей. Она — образец женщины с характером твердым и незаурядным. «Льву всегда детеныш равен, будь он львенок или львица», — говорит Руставели в своей поэме. Этим изречением Руставели признает женщину равной мужчине, — равной в общественной и в государственной жизни.

Дружба и любовь, храбрость и бескорыстие — вот к чему призывает Шота Руставели. И народ близко принял к сердцу его поэму. В течение ряда веков кочевники и различные завоеватели — монголы, персы, турки — терзали маленькую Грузию, разрушали ее города, уводили в плен женщин и детей. Много раз государство было на краю гибели. Спасение народа было в тесном его единении, в дружном отпоре захватчикам — и Руставели звал народ к единению. Опасности и лишения подстерегали людей на каждом шагу — Руставели призывал к дружбе, убеждал помогать друг другу в беде, не бросать товарища на произвол судьбы в минуту испытания. Горячо любивший свою родину, Руставели оставил ей книгу, исполненную величайшей веры в человека, и благодарный народ по достоинству оценил своего поэта.

* * *

Средневековую жизнь феодального Востока Руставели знает отлично. Он подробно описывает отношения царей к своим вассалам и отношения вассалов к своим повелителям; рисует нам картины придворной жизни — пиры,

приемы, государственные советы, увеселения, свадьбы; превосходно изображает военные походы и битвы, средневековую тактику сражений морских и сухопутных. Полный иронической наблюдательности, с насмешкой и неодобрением показывает он нам торговый класс крупного морского государства — трусость купцов, их жажду наживы, их поведение при дворе своего повелителя.

Хорошо знакомый с арабской, иранской и греческой литературой, Руставели цитирует античных мудрецов, подкрепляя их изречениями свои мысли о жизни и поведении человека. Руставели сведущ и в средневековой астрономии, для которой неподвижная Земля была центром мироздания, а звезды считались укрепленными на семи небесных сферах, медленно вращающихся вокруг нашей планеты.

Будучи передовым и образованным человеком, Руставели сумел освободиться от множества предрассудков своего времени. В религиозных вопросах он был явным вольнодумцем. Христианин по воспитанию, он, однако, ни разу не упоминает в своей поэме имени Христа, как это делали другие средневековые писатели. Бог для него — понятие весьма туманное и отвлеченное. Во всяком случае, это не тот христианский или мусульманский бог, о котором твердило народу духовенство.

Изображая мусульман, Руставели с явной иронией отзывается о муллах, которые припадок Тариэла объясняли «колдовством Вельзевула». Подсмеивается он и над багдадскими купцами, которые хвастают, что не пьют вина, соблюдая правила магометанской религии.

Духовенство с давних пор преследовало поэму Руставели. Еще во времена царицы Тамары глава грузинской церкви католикос Иоанн, по преданию, жестоко порицал поэта. Достоверно известно, что в XVIII веке католикос Антоний, сам будучи писателем и переводчиком, запретил грузинам чтение Руставели и сжег его книгу, отпечатанную царем Вахтангом. «Просвещенный» изувер, он называл Руставели мудрым знатоком иранского языка, философом, мудрым поэтом, богословом, «но тщетно и всуе потрудившимся».

Другой представитель церкви, митрополит Тимофей, называл поэта «сказителем злых стихов, который учил грузин, вместо святой чистоты, злым порокам, который развращал христиан».

Преследование духовенства было одной из причин того, что поэма Руставели дошла до нас сравнительно в небольшом количестве древних списков. Много рукописей поэмы погибло также и в огне пожарищ. Варвары, разрушая города, сравнивали с землей древнейшие памятники архитектуры, ломали и жгли все, что в течение веков создавал грузинский гений.

* * *

О жизни Руставели дошло до нас очень мало достоверных сведений. Наука еще не разобралась в них. Но в народной памяти сохранилось о поэте много преданий и легенд. Вот одно из этих преданий.

Шота Руставели родился в местечке Рустави, откуда и пошло его прозвище Руставели. Отец поэта, Чахруха, владелец Рустави, был одаренным человеком. Он писал стихи и был известен как «сладкопесенный певец и ядовитый стихотворец». Однажды он пировал на свадьбе у своего соседа. Во время пира пришло известие, что у него родился второй сын. Чахруха, на свою беду, не поспешил домой и остался на пиру. Хозяин, сводя с Чахрухой старые счеты, отравил его. Таким образом, Шота Руставели не видел своего отца. С первого дня своего появления на свет он стал сиротою.

Заботы о воспитании будущего поэта взял на себя его дядя, живший в Тибетском монастыре. Шота начал учиться в Импольской церковной школе. Затем его отправили к другому его родственнику — Атабегу. Здесь мальчик проучился еще три года.

Учился Шота так хорошо, что родственники решили отправить его в Кахетию, в Иколтойскую академию. Здесь семнадцатилетний юноша проявил себя как даровитый поэт. Его стихи нравились слушателям. Имя молодого поэта стало известным.

В это время царица Тамара, повелительница Грузии, решила отправить несколько даровитых молодых людей в Грецию для завершения философского образования. Слух о молодом поэте дошел до царицы, и она включила его в число своих избранников. Шота отправился в Грецию, где пробыл шесть лет.

На родину оп вернулся вполне образованным человеком. Поэтический талант его развился и окреп. Вокруг него стала группироваться передовая грузинская моло-

дежь. Шота продолжал писать стихи, заботился об устройстве новых школ, призывал народ к знанию и просвещению. Царица Тамара пригласила поэта к себе во дворец и назначила его своим казначеем.

Иначе сложилась жизнь у старшего брата Руставели — Автандила. Он давно любил царицу Тамару, но взаимностью не пользовался. Когда Тамара вышла замуж за русского царевича Георгия, сына Андрея Боголюбского, Автандил бросил родину, уехал в чужие края и погиб там.

Трагическая гибель брата навела Руставели на мысль о большой поэме. Так был написан «Витязь в тигровой шкуре».

Свое произведение Шота Руставели посвятил царице Тамаре. Во дворце, в присутствии царицы, было устроено чтение поэмы. Слушатели были в восторге. Тамара щедро одарила поэта. Руставели стал знаменитым.

Тем временем Тамара удалила из пределов Грузии своего мужа, царя Георгия. Она была втайне влюблена в молодого стихотворца. Теперь она предложила Руставели свою руку с условием, что он разойдется со своей женой Нино Тмогвели. Шота ответил отказом. Оскорбленная царица вынудила поэта покинуть Грузию. Руставели умер в изгнании, далеко от любимой родины.

Таково народное предание. Трудно сказать, что в нем правда, что вымысел, тем более что существует ряд других преданий, в которых о жизни Руставели рассказывается по-другому. Несомненно лишь то, что поэт был родом месх[1] и жил в царствование Тамары, в конце XII и начале XIII столетия. Известно, что он побывал в Греции и Иерусалиме, где и умер, оставив в одном из монастырей свое изображение с надписью.

* * *

До революции поэма Руставели была известна только узкому кругу специалистов. Массовый же читатель ничего не слыхал о гениальном грузинском поэте. Великодержавная Россия старалась подавить национальную культуру Грузии, опорочить ее, заглушить самые истоки грузинского творчества. Грузинский язык изгонялся из школ, страна была отдана на откуп царским чиновникам,

---

[1] Месхи — одно из грузинских племен. (*Примеч. Н. З.*)

которые не имели ни малейшего представления о духовном богатстве порабощенного народа.

В Российской империи богатейшая сокровищница национальных культур была запечатана семью печатями...

Сорвала эти печати только Великая Октябрьская социалистическая революция. Перед народным творчеством открылись новые безграничные просторы. Лучшие творения национального искусства стали общим достоянием всех трудящихся.

Теперь имя Руставели дорого каждому читателю нашей страны. Величайшее мужество, настойчивость в борьбе, верность своему слову, дружба с товарищем и высокая одухотворенная любовь, — все то, что воспел Руставели в своей бессмертной поэме, — находят живой отклик в сердце советского читателя, гражданина нашей социалистической родины. Великий гений грузинского народа занял наконец подобающее ему место в мировой литературе. Древняя Греция дала нам Гомера, Италия дала Данте, Англия — Шекспира, Испания — Сервантеса, Россия — Пушкина и, наконец, Грузия дала нам Руставели. Только наша страна могла по достоинству оценить гениального грузинского поэта и показать его величие всему миру.

<1938>

К ВОПРОСУ О РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

1

О великом предшественнике автора «Слова о полку Игореве» — песнотворце Бояне — мы ничего толком не знаем. Летописи не сохранили нам этого имени. Все сведения о нем мы почерпаем из текста «Слова».

Автор посвящает Бояну четыре отрывка своего произведения: 1) вступительный, 2) с двумя запевами Бояна, 3) сентенцию Бояна по поводу смерти Всеслава «Ни хытру, ни горазду» и 4) сентенцию Бояна «Тяжко ти, головы», приведенную автором по поводу пленения Игоря.

Внимательное изучение этих отрывков убеждает нас в том, что в глазах автора Боян был идеальным певцом минувших времен, гениальным и прославленным представителем песнотворческого искусства древней Киевской Руси. Когда же он жил, этот «вещий», «смысленый» (разумный) «соловей старою времени»? В тексте «Слова» говорится, что *вспоминал* он войны прежних времен и тогда начинал свою песнь старому Ярославу, храброму Мстиславу, который зарезал Редедю перед полками касожскими, красному Роману Святославичу. Если принять во внимание, что Ярослав Мудрый умер в 1054 году, Мстислав — в 1036 году, а Роман — в 1079 году, можно предположить, что в середине XI века Боян был уже юношей, Всеслав Полоцкий, на смерть которого Боян сложил известное свое изречение, умер в 1101 году, — значит, в начале XII века Боян был еще жив, но был он уже в преклонном возрасте. Если это так, то зрелые годы песнотворческой деятельности Бояна падают как раз на то катастрофическое для Руси время, когда Русь стала распадаться на отдельные враждующие между собой княжества, когда впервые появились половцы, завладевшие Степью и угрожающие единству и независимости земли Русской. В это бедственное время маститый песнотворец, вспоминая зо-

лотые времена Ярослава, пел старых князей, пел в назидание молодым, вероятно, идеализируя старину с ее достаточно еще крепкой централизованной властью. «Тяжко ти, головы, кроме плечу; зло ти, телу, кроме головы» — в этих словах Бояна чувствуется его политическое кредо.

Воспевая старину, Боян неизбежно должен был растекаться мыслью по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками, т. е. мысленно погружаться в прошедшие времена, охватывать своим духовным взором географические пространства, подниматься до высот обобщения, делая оценку былых времен. В этом и заключалось Бояново «замышление».

В тексте «Слова» мы находим описание чудодейственной силы его таланта. Пускал он десять соколов на стадо лебедей, и когда сокол догонял какую лебедь, — та первая и пела песнь старым князьям. Но Боян не десять соколов на стадо лебедей пускал, — он свои вещие персты на живые струны возлагал, они же сами князьям славу рокотали.

Объявив о своем намерении воспеть поход своего современника князя Игоря Новгород-Северского, автор «Слова» во втором отрывке восклицает: «О Боян, соловей старого времени! Если бы ты воспел этот поход своим соловьиным щекотом, скача подобно соловью по мысленному дереву, летая умом под облаками, свивая славу обоих половин этого времени, рыская по тропе Трояновой через поля на горы, — начал бы ты свою песнь так: «Не буря соколов занесла через поля широкие, стада галок спешат к Дону великому». Или так бы воспеть тебе, вещий Боян, Велесов внук: «Кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новгороде, стяги стоят в Путивле».

В дополнение к этим отрывкам две отмеченные выше сентенции Бояна снова говорят о мудрости великого песнотворца.

По этим отрывкам можно составить представление об отношении автора «Слова» к Бояну. Конечно, это отношение ученика к гениальному учителю, ученика, не лишенного известной неуверенности в собственных творческих силах. Именем Бояна певец начинает свое произведение, с именем Бояна на устах он и заканчивает его. И как бы ни величественно было само по себе «Слово о полку Игореве», — за его спиной мы всегда чувствуем невидимую, но еще более величественную тень предка русской поэзии,

без которого было бы немыслимо появление такого замечательного произведения, как «Слово».

Однако далеко не все исследователи стоят на этой точке зрения. Недаром с их легкой руки фраза «растекаться мыслию по древу» приобрела в просторечии иронический смысл и стала применяться к людям, выражающим свои мысли туманно, витиевато и выспренне. Разбирая фразу «Начаться же той песне по былинам сего времени, а не по замышлению Боянову», исследователи решили, что автор хочет свою поэтическую манеру противопоставить поэтической манере Бояна, и, следовательно, к этой последней автор «Слова» относился отрицательно. Так родился миф о выспреннем витийстве Бояна, которому автор «Слова» якобы противопоставил свой трезвый деловой метод изображения исторических событий. И такова была гипнотизирующая сила этой стародавней ошибки, что наука не заметила, в какое неразрешимое противоречие она впала, игнорируя общий тон почитания и восторга, который характерен для всех отрывков «Слова», где речь заходит о Бояне. И вследствие той же ошибки оказался незамеченным тот факт, что стилистика «Слова» вовсе не дает никаких оснований говорить о несогласии автора со стихотворной манерой Бояна, поскольку мы можем судить о ней по зачинам: «Не буря соколов занесла» и «Кони ржут за Сулою». И не обратили внимания, насколько родственны эти зачины Бояна устной народной поэзии, которую уж никак нельзя обвинить ни в выспренности, ни в витийстве.

На самом деле автор «Слова» не свою стихотворную манеру противопоставляет стихотворной манере Бояна, но лишь *тему* своего произведения он противопоставляет *темам* прославленного древнего песнотворца. Автор говорит, что он хочет петь «по событиям сего времени» (т. е. о событиях его современности), и противопоставляет этот свой замысел «замышлению» Бояна. При желании он мог бы продолжать традицию своего учителя и славить знаменитых давно умерших князей, но он желает быть деятелем своего времени, он хочет, лишь по временам касаясь прошлого, петь «молодых князей» и потому намерен начать свою повесть «от старого Владимира до нынешнего Игоря». Поэтическая манера Бояна к этому вопросу не имеет никакого отношения. Автор «Слова» не намерен развенчивать ее: наоборот, он следует ей, вероятно, творчески

развивая и обогащая ее. Недаром в самом зачине он демонстрирует свое намерение петь «старыми словесы», т. е, прославленным слогом минувших времен.

2

Автор «Слова» наследовал от своего учителя не только поэтическую манеру стихосложения, но, очевидно, и технику его высокого ремесла. Боян, как говорит «Слово», свои вещие персты на живые струны возлагал, они же сами князьям славу рокотали. Речь идет о том, что Боян *пел* свои песни, сопровождая пение *игрой* на каком-то струнном инструменте, может быть, на тех самых гуслях, о которых говорится в наших былинах, или на инструменте, сходном с ними. Гусли — инструмент, бытовавший в нашем народе вплоть до 20-х годов этого века, а где-нибудь в глухих углах, может быть, бытующий и сейчас. Говорят, что по внешнему виду гусли имеют поразительное сходство с изображениями этого инструмента, сохранившимися в памятниках нашей древности, например, в рукописном Служебнике XIV века, где в заглавной букве Д представлен человек, играющий на гуслях, в Макарьевской Четье-Минее 1542 года и других. На всех этих изображениях исполнители держат гусли на коленях и трогают струны пальцами.

Таким образом, древнерусский песнотворец совмещал в своем лице 3—4 ныне обособившиеся профессии: поэта, певца, музыканта и, возможно, композитора своих произведений. Это весьма важное обстоятельство требует к себе особо пристального внимания, ибо оно может послужить ключом для уразумения многих вопросов, связанных с древнерусским поэтическим творчеством. Это поэтическое творчество имело свои резко выраженные особенности, которые отличали его от творчества других писателей того времени: летописцев, проповедников, авторов житий и других. Летописец и авторы житий писали на пергаменте, проповедник писал и произносил свою проповедь; но ни в Летописи, ни у митрополита Илариона, ни у Кирилла Туровского мы не встретим тех специфических музыкально-поэтических способов организации словесного материала, которые характерны для поэтического произведения, в частности для «Слова о полку Игореве» и для русских былин.

На заре русской поэзии процесс поэтического творчества ничего общего с грамотой не имел. Не рукопись лежала перед песнотворцем, но гусли (или какой-то другой струнный инструмент) лежали на его коленях. Поэт, музыкант и певец творили одновременно, совмещаясь в одной человеческой личности. Когда исследователи спорят между собой на тему: прозой или стихами написано «Слово о полку Игореве», они недоучитывают этого обстоятельства. Противопоставляя автора «Слова» древнему Бояну, они хотят усадить певца за стол, дать ему в руки перо и положить перед ним свиток пергамента. Они хотят отнять у певца музыкальный инструмент, бывший его постоянным спутником. Эта модернизация образа певца мало убедительна, так как «Слово» носит на себе явные черты музыкально-песенного произведения,

3

Основным характерным признаком поэтического произведения является его ритмическая структура. В поэтическом произведении ритмическая структура организована. История поэзии знает различные системы организации ритмической структуры. Ныне господствующая у нас силлабо-тоническая система — лишь одна из этих систем, она — продукт позднейших времен. В древности система была другая.

Чтобы исследовать «Слово о полку Игореве» с точки зрения его ритмической структуры, необходимо прежде всего представить, как звучал его текст в живом произношении конца XII века. Полностью это едва ли выполнимо, но в какой-то мере в наше чтение мы можем внести ряд изменений, соответственно тем изменениям, которые претерпела русская речь за семь с половиной веков своего развития. Изменения эти значительны, и они не могли не сказаться на ритмическом рисунке стиха.

Для исследователя ритмики «Слова» особое значение имеет то обстоятельство, что полугласные *ъ* и *ь* в XII веке произносились и были слогообразующими звуками; Свидетельство тому — древнерусские певческие книги, дошедшие до нас от XII века и более поздние. Согласно этим книгам, эволюция полугласных произвела целый переворот в культовом пении Древней Руси. В дальнейшем это явление стало одной из причин церковной катастрофы

старообрядчества и решительных реформ патриарха Никона.

Обратимся к свидетельству специалистов. Вот одно из них:

«В древних рукописях славянских текстов в составе слогов было много полугласных букв и каждая из них имела над собою музыкальный знак; непроизносимое, например, ныне слово «дьньсь» имело над собой три знака. Полугласные буквы при этом, очевидно, все произносились, ибо поставленные над ними знамена должны были иметь свой явственный звук. Предки наши называли такой текст истинноречным или праворечным, потому что он был сходен с истинной речью священных песнопений, писанных без нот.

Новая эпоха церковного пения начинается XV веком, когда полугласные буквы стали безгласными. Тогда, ради имеющихся музыкальных знаков, начали заменять полугласные гласными, вследствие чего и получилось то раздельноречие, по имени которого и названа самая эпоха. Вот образец изменений, какие произошли в тексте при переходе от истинноречия к раздельноречию в нотных книгах:

Старое истинноречие:

Съгрѣшихомъ безъзаконовахомъ, не оправдихомъ передъ тобою, ни съблюдохомъ, ни сътворихомъ, якоже заповѣда намъ, но не предажь насъ до конъца отьчьскыи боже.

Раздельноречие:

Согрѣшихомо, беззаконовахомо, не оправдихомо передо тобою, ни соблюдихомо, ни сотворихомо, якоже заповѣда намо, но не предаиже насо до конеца отеческыи боже» [1].

Вот другое свидетельство:

«В древнейших певческих памятниках господствует еще полное истинноречие, гласные и полугласные в пении произносятся так же, как и в речи. Поэтому согласная с Ъ или с Ь составляет в том и другом случае особый слог, для распевания которого необходимы один или несколько ему только предназначенных звуков. Слово «дьньсь» (современное днесь) имело над собою по числу слогов не менее трех музыкальных знаков для пения. Постепенное превращение его в односложное *днесь* долж-

---

[1] Н. Кашкин. Очерк истории русской музыки, М., Изд-во Юргенсона, 1908, с. 15.

но было бы иметь своим конечным результатом или то, что все три знака распеваются на один этот слог днесь, и тогда была бы целиком сохранена принадлежащая ему мелодия, напев, или — эти три знака заменяются одним, двумя — и тогда предстояло какое-то изменение напева. Русские певцы не пошли ни по тому, ни по другому пути: они нашли третий, когда в угоду напеву и старому произношению стали распевать это слово трехсложно, как дэнэсэ» [1].

Рудименты старинного полногласия Ъ и Ь имели место в былинном творчестве и живой речи русского народа вплоть до последнего времени. Так, записывая от сказителя Ивана Фепонова былину «Птицы и звери», Гильфердинг отметил, что «певец в ней неоднократно протягивает буквы Ъ и Ь, произнося вместо Ъ почти Ы, вместо Ь почти И». В тексте былины мы читаем:

А й крестьяне у насъ по деревням,
А десятски у насъ по селеньям,
А й старосты у насъ по волостям... [2]

Потебня пишет: «Древние глухие вовсе не так далеко остались за нами, как думают некоторые... Никто меня не убедит, что я не слышал в нынешней... песне (т. е. в пении) явственных *слогов* — ТЪ, ЗЬ: «за рѣшо-тъ-ками, за же-лѣ-зь-ны-ми». Равно, никому я не поверю, что теперь нельзя услышать «Куреск» (небное Р и неявственное Е). при односложном Курск...» [3]

Итак, для историков древнерусской музыки факт открытого звучания полугласных в XII веке — очевиден. А если это так, то мы, читая текст «Слова», должны делать при чтении соответствующие поправки, если хотим себе представить, как этот текст звучал в живом древнерусском произношении. И мы заметим, что местами в отношении ритма такое чтение даст поразительный эффект. Например, фраза «На Дунаи Ярославнынъ гласъ слышитъ» будет звучать примерно так: «На Дунаи Ярослав-

---

[1] А. В. Преображенский. Культовая музыка в России. Л., «Academia», 1924, с, 13.

[2] «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом», т. I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 562, 726.

[3] А. Потебня. К истории звуков русского языка, Воронеж, 1876, с. 35—36.

ныно гласо слышито» — т. е. прибавится целых три слога и конец фразы примет дактилическую ф о р м у, — ритмический рисунок стиха резко изменится, станет напевным[1].

4

Читая текст «Слова» с поправкой на открытое произношение полугласных, мы заметим, что целые куски его ритмически явно организованы.

Не лѣпо ли ны бяшето, братие,
Пачати старыми словесы трудныхо повѣстий
О полку Игоровѣ, Игоря Святославлича?

На Дунаи Ярославныно гласо слышито,
Зегзицею незнаема рано кычете:
«Полечю, — рече, — зегзицею по Дунаеви,
Омочю бебряно рукаво во Каялѣ рѣцѣ».

А мои ти куряпи —
Свѣдоми комети,
Подо трубами повити,
Подо шеломы возлѣлѣяни,
Конеце копия воскормлени,
Пути име вѣдоми,
Яруты ими знаеми,
Луци у нихо напряжени,
Тули отворени.

Ритмическая организация этих кусков относительна в сравнении с силлабо-тонической организацией стиха, но она несомненна и явственно различается ухом. Каждый из этих кусков имеет равное количество смысловых ударений, каждая фраза заканчивается дактилем. Эти дактили — прототип наших рифм. Лишь в немногих случаях дактилические замыкания переходят в женские: «Были вѣчи Трояни, Минула лѣта Ярославля», «Ту ся копиемо приламати, Ту ся саблямо потручати». Заметно, что отрывок о курянах состоит из менее длинных стихов, чем два других, сходных между собою.

Наряду с подобными ритмически организованными кусками, мы различаем в «Слове» большое количество длинных фраз. И хотя многие из них замыкаются дактилями,

[1] Без открытого произношения полугласных некоторые слова и словосочетания «Слова» почти непроизносимы. Например, встречающееся восемь раз слово НЪ (но) — «Нъ нечестно одолгьсте», или слово ТЪЙ (той) — «начати же ся тъй пѣсни».

нам их ритмическая структура неясна, и часто мы не можем решить вопроса: один ли длинный стих перед нами или несколько стихов, соединенных вместе. Именно эти-то фразы, чередуясь с ритмически организованными, и дали повод некоторым исследователям считать «Слово» произведением прозаическим или по крайней мере написанным «мерной» прозой.

И действительно, туманная картина представляется взору исследователя, который забывает о специфических формах древнерусского песнотворчества. С одной стороны: ритмически упорядоченные куски текста налицо. С другой стороны: эти куски постоянно «сбиваются» прибоем длинных строк, ритмическая организация которых при чтении ускользает. Получается впечатление, что «Слово» состоит из поэтических и прозаических кусков.

В действительности это не так. Принцип ритмического строения «Слова» не столь уж туманен. Чтобы иметь возможность уяснить себе основные его черты, нужно вспомнить о том, что автор «Слова» был одновременно поэтом, певцом и музыкантом и творил синкретически. В былинном творчестве русского народа найдутся полезные аналогии, которые помогут нам уяснить суть дела.

5

В 1871 году по следам известного собирателя былин П. Н. Рыбникова в Олонецкую губернию отправился А. Ф. Гильфердинг, будущий составитель знаменитого собрания «Онежские былины». Прибыв на место, он встретился со сказителем Абрамом Евтихиевым и выслушал от него ряд былин, в свое время записанных у этого сказителя Рыбниковым и напечатанных в его книге.

«...Следя за ним по печатному тексту, — рассказывает Гильфердинг, — я был поражен разницею — не в содержании рассказа, а в стихе. В печатном тексте стихотворное строение выражается только дактилическим окончанием стиха, внутри же стиха никакого размера нет; когда же пел Абрам Евтихиев, то у него явно слышался не только музыкальный каданс напева, но и тоническое стопосложение стиха. Я решился записать былину вновь; сказитель вызвался сказать мне ее «пословесно», без напева, и говорил, что он уже привык пословесно передавать свои былины тем, которые прежде их у него «списывали». Я на-

чал списывать былину о Михаиле Потыке; размер исчез, выходила рубленая проза вроде той, какою эта былина напечатана была в «Олонецких ведомостях» и потом перешла в сборник г. Рыбникова (т. 1, № 38). Я попытался было переправить эту рубленую прозу в стих, заставив сказителя вторично пропеть ее, но это оказалось неисполнимым, потому что, как объяснено выше, сказители каждый раз меняют несколько изложение былины, переставляют слова и частицы, то прибавляют, то опускают какой-нибудь стих, то употребляют другие выражения» [1].

Тогда Гильфердинг стал записывать былину не «пословесно», а с напева. Когда былина была записана, Гильфердинг увидал, что «напев поддерживал стихотворный размер, который при передаче сказителем былины словами тотчас исчезает от пропуска вставочных частиц и слияния двух стихов в один...».

Гильфердинг подметил явление, общее для всей былинной поэзии: оторванная от живого музыкального исполнения, она теряет размер и выглядит, по его выражению, «рубленой прозой», в то время, как в исполнении сказителя она звучит тоническими стихами! Отметим сразу, что дело здесь не столько во вставных словечках или в перестановке слов, сколько в том влиянии, которое оказывает на текст закон музыкальной мелодии.

Остановимся на этом вопросе подробнее. Цитированный выше Н. Кашкин пишет по этому поводу следующее:

«В русском эпосе, т. е. в былинах, относящихся к различному времени и месту, стихотворный размер текста определяется ритмом мелодии. В правильном стихотворном размере краткий слог представляет величину неделимую и вообще число слогов почти не может быть произвольно увеличиваемо, не внося в стихотворный размер существенного изменения. В музыке каждый звук мелодии, отвечает ли он долгому или короткому слогу текста, может быть раздроблен на меньшие величины, не увеличивая тем общего протяжения мелодии и не изменяя основной сущности ритма. На каждую из раздробленных частей основной величины тактовой доли может быть подставлен слог текста, причем такое увеличенное количество слогов нарушит правильность стихотворного размера. Это было замечено некоторыми собирателями русских былин,

---

[1] А. Гильфердинг. Олонецкая губерния и ее народные рапсоды. — В кн.: «Онежские былины», т. I, с. 64—65.

которые в исполнении певца слышали все время неизменно правильный ритм, а просматривая затем записанный ими текст, очень часто встречали значительные неправильности стихотворного размера. Причины этого явления они не умели объяснить, а между тем она заключается просто в господстве размера музыкального над ритмом словесного текста. Преобладающее значение не только в былинных сказаниях, но и в песнях, музыки над текстом объясняется тем обстоятельством, что слагатели, как былин, так и песен, не были знакомы ни с какими правилами стихосложения, а потому не могли и подчиняться им, между тем как ритм музыкальный они усвоили почти от рождения, начиная с песен матери, певшей над колыбелью. А потому у слагателей, бывших одновременно авторами текста и напева, существовало только чувство размера музыкального, получавшее вследствие этого полнейшее господство над размером стиха. То же самое явление наблюдается и в так называемых духовных стихах, где стихотворный размер совсем почти не выдерживается, между тем как музыкальный ритм остается твердым и ясным»[1].

Если бы мы слышали «Слово о полку Игореве» в живом исполнении певца, мы, по всей видимости, отметили бы явления, аналогичные тем, о которых говорят Гильфердинг и Кашкин. Решающим фактором в деле организации ритма для певца был напев, мелодия, музыка. И короткий и длинный стих у него свободно укладывались в определенные отрезки мелодии благодаря тому, что основная тактовая доля ее способна дробиться и, таким образом, обслуживать многосложную нагрузку словесного материала. Мелодия выравнивала строки во времени — она выполняла ту функцию, которую в современной поэзии выполняет стихотворный размер. Но, выравнивая строки во времени, она требовала то замедленного пения текста, то речитатива — сообразно тому, какое количество текста падало на долю музыкальной фразы. И это обстоятельство сообщало музыкальному исполнению «Слова» большое богатство ритмических оттенков: торжественно-повествовательные интонации сменялись здесь разговорными темпами речитатива, замедленные фразы переходили в быстрые, отрывочные. И все это богатство ритмических оттенков существовало не само по себе, но служи-

---

[1] Н. Кашкин. Очерки истории русской музыки, с. 25—26.

ло для наиболее выразительной передачи содержания, отображая в особенностях ритма его эмоциональное многообразие.

Текст «Слова» в том виде, в каком мы его читаем теперь, — не более как «пословесная» запись древнего музыкально-вокального произведения. Этот текст ни в коем случае не отражает некогда существовавшей в жизни ритмической структуры его. Цитированные выше ритмически организованные отрывки являются лишь слабым отражением господствовавшего ритма, некогда осуществляемого с помощью музыкальных средств. Длинные строки вводят нас в заблуждение, заставляя предполагать, что «Слово» не было организовано ритмически в виде единообразных во времени стихов.

В новейшее время поэзия выросла до уровня силлабо-тонического стихосложения. А силлабо-тоническое стихосложение и есть такая система организации стихотворного ритма, где каждый слог стиха точно соответствует единообразной тактовой доле музыкальной меры и где, таким образом, музыкальный размер как бы введен внутрь текста. В древности картина стихосложения была другая, — там ритм определялся музыкой: при пении получалось одно, при чтении же совсем другое.

6

И «Слово о полку Игореве», и русские былины родились в одной купели древнерусского эпического песнотворчества. «Слово», вероятно, долгое время только пелось и лишь впоследствии было «пословесно» записано в память потомству. Былины эмигрировали вместе с крестьянством на север, передавались из уст в уста, видоизменялись, но дошли до нас в живом исполнении крестьян-сказителей.

Потому ли, что былины Киевского цикла порождены иной социальной средой, потому ли, что на них лежит сильный отпечаток позднейшего бытования, — они представляются нам продуктом культуры не столь богатой, как культура, породившая «Слово». И тем не менее не случайны те элементы сходства, которые были отмечены исследователями в «Слове» и в былинах. Эти элементы сходства заключаются не только в близости речевых оборотов, интонационных рисунков, не только в сходство

эпитетов, сравнений и пр., — но так же и в сходстве приемов ритмической организации материала: и там и тут стихи образуются с помощью музыки. И «Слово» и былины — произведения музыкально-вокальные, а не литературные.

Отсюда, конечно, не следует, что мы должны зачислить «Слово» в разряд русских былин XII века, как это сделал А. И. Никифоров в своей докторской диссертации «Слово о полку Игореве» — былина XII века»[1]. Обширный сравнительный материал, привлеченный этим исследователем из области былинного фольклора, свидетельствует лишь об известной близости «Слова» к былинам. Однако от этих же былин «Слово» отличается целым рядом характерных особенностей. В то время, как в трактовке киевской былины историческое событие принимает отвлеченный и даже сказочный характер, «Слово» рассказывает об историческом событии «по былинам сего времени», т. е. исторически правдоподобно, конкретно. Характеры былинных героев суммарно обобщены, характеры героев «Слова» индивидуализированы. Былина воспитывает своего слушателя в общем направлении присущей ей идеологии, «Слово» же является средством актуального политического воздействия в конкретной исторической обстановке. «Смысл поэмы, — писал Маркс, — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов». Элементы фольклора вовсе не составляют всего содержания «Слова», ибо целый ряд элементов его обнаруживает свое книжное происхождение. Былина — продукт творчества коллективного, «Слово» — произведение одного автора. Все эти соображения (а так же и ряд других) не дают возможности считать «Слово» произведением фольклора. Но, принимая во внимание те черты сходства, о которых речь была выше, следует предполагать, что и ранняя былина, и «Слово» восходят к некоторым общим истокам древнерусского песнетворчества.

Благодаря тому, что былины записывались с живого голоса сказителей, у нас, как правило, нет никаких сомнений относительно членения былинного текста на отдель-

---

[1] Диссертация А. И. Никифорова опубликована не была. Были напечатаны лишь тезисы — в 1941 г. (*Примеч. Д. Лихачева.*) См. также: А. И. Никифоров. О фольклорном репертуаре XII—XVIII вв. — В кн.: «Из истории русской советской фольклористики», Л., «Наука», 1981. (*Примеч. состав.*)

ные стихи. Но если бы наши былины были записаны «пословесно», да еще сплошной строкой (как было записано «Слово»), исследователю пришлось бы решать задачу членения самостоятельно, а эта задача невыполнима без знакомства с напевом былин, с реальными особенностями этого напева. По той же самой причине ритмическая разбивка «Слова» на отдельные стихи в наше время всегда произвольна и индивидуальна. Лишь в отдельных случаях она достигает большей или меньшей степени убедительности. В целом же эта задача невыполнима, поскольку музыкально-вокальное звучание «Слова» — явление навсегда забытое, исчезнувшее во мраке времен.

Зная живое звучание былины в устах сказителя, мы не можем не обратить внимания на десятки тех несложных хитростей, с помощью которых сказитель «подгоняет» текст под размер мелодии. Открывая наудачу сборник Гильфердинга, мы, например, читаем:

Подходила она к братьецам крестовыим
Своего же она мужа да названого,
Звала тут себе-ка-ва гостёбищо,
Тяжелёшенько по нем да *о*на плакала[1].

Тут и искажения слов, и не имеющие значения вставные частицы, и заведомо неправильные ударения. Сказителей нимало не смущают такие формы, как «вина не пиивал», «во чистом поле конь не быивал», «уста челоивал», «испугаился», «думу думаил», «клюкою подпираился» и пр. Приведенные выше стихи, если их записать «пословесно», будут иметь такой вид:

Подходила она к братцам крестовым
Своего мужа названого,
Звала себе в гостёбище,
Тяжелёшенько по нем она плакала.

Таким образом, мы замечаем у сказителя стремление заполнить хотя бы ничего не значащими словечками или произвольным удлинением слова те моменты мелодии, которые никак не заполнялись ритмически неорганизованным текстом. Автору «Слова» при живом исполнении его произведения едва ли была нужда в этих средствах восполнения текста, так как не заполняемые текстом моменты мелодии могло восполнять живое звучание музыкаль-

---

[1] «Михайло Потык». — «Онежские былины», т, I, с. 173.

ного инструмента. Можно с большой долей вероятности утверждать, что указанные приемы былинных сказителей появились тогда, когда сказитель уже утратил музыкальный инструмент и должен был восполнить отсутствие его силами собственного голоса. Но и в том и в другом случае, т. е. при наличии музыкального инструмента и в отсутствии его, и «Слово» и былины ритмически организовались музыкой, мелодией, а потому должны быть отнесены к одному виду древнерусского песнотворчества, составляя, может быть, два смежных этапа в его развитии.

В современной литературе былины бытуют в двух видах: 1) пословесно записанные (в этом случае они теряют свой стихотворный ритм) и 2) записанные с напева со всеми подсобными словечками и искажениями форм (в этом случае они теряют характер стройного изложения). Что касается «Слова», то его текст бытует в форме пословесной записи, не расчлененной на стихи и не передающей его ритмической картины. Все эти формы литературного бытования музыкально-вокальных произведений древности совершенно условны. Для современного переводчика «Слова», если он ставит перед собой задачу ритмически организовать свой перевод, имеется лишь один путь: разбить текст на стихи произвольно и ритмически организовать текст изнутри, т. е. принять для перевода правильный тонический или силлабо-тонический стих. Этим самым он введет в ткань стиха отсутствующую ныне сопроводительную музыку и приблизит древнюю поэзию к нашему современному ее пониманию.

1951

О НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАБОТКИ РУССКИХ БЫЛИН

Русский былинный эпос — наиболее демократический среди других народных эпосов. Центральная его фигура Илья Муромец, крестьянский сын, — защитник родной земли от врага. Он бескорыстно служит родному народу, а никак не князю с его «кособрюхими» боярами. Только один Микула Селянинович, олицетворение народной силы, в состоянии превозмочь «тягу земную», а никак не князь Вольга с его хитроумными затеями. Не менее примечательны в этом смысле и Василий Буслаев, и другие былинные персонажи. Русские былины не только памятник старины, но и могучее средство воспитания советского человека.

В свое время наши былины представляли собою ряд художественно целостных произведений. Сличение многочисленных позднейших интерпретаций, записанных нашими собирателями, убеждает нас в этом. Мысль об отборе наиболее целостных вариантов, а также мысль о воссоздании целостных текстов — дело не новое. Эти мысли появились еще во времена собирания былин, о критическом отборе их мечтал еще Гильфердинг. Былины пытался обрабатывать Л. Н. Толстой и многие другие писатели.

Необходимость отбора и обработки былин диктуется следующими соображениями:

1. Наши былины записаны собирателями на разных стадиях распада старинного народного творчества, в многочисленных и часто противоречивых интерпретациях их сюжетов. Многие тома этих записей, представляя собой богатейший материал для науки, недоступны для рядового читателя, который, естественно, хочет иметь единый цельный художественный текст.

2. В силу исторически сложившихся обстоятельств наши северные крестьяне-сказители привнесли в былинный язык многие диалектизмы своего края. Эти местные

речения и обороты противоречат общенародности наших былин и затрудняют их чтение.

3. Былинный стих, будучи записан на бумагу, из явления музыкально-вокального стал явлением писаной литературы. Известно, что в живом исполнении сказителей он звучит как стих чисто тонический, а в записи часто превращается в «рубленую прозу» (Гильфердинг). Кроме того: множество мелких вставных бессмысленных словечек (то, ти, ка, ва, нунь и пр.), которые вставляются певцами для размера, в писаном тексте необычайно затрудняют чтение, препятствуя естественному движению речи.

Все эти обстоятельства, вместе взятые, приводят к странному положению, которое хорошо охарактеризовал проф. Водовозов. Он пишет: «Получается совершенно недопустимое положение, когда даже высококультурный читатель в нашей стране, отлично знающий «Илиаду», «Одиссею», «Песнь о Роланде», «Калевалу» и другие народные эпосы, почти не знает великолепного эпоса русского народа».

В наше время интенсивного роста народного самосознания и новой международной роли русского языка дело организации народного эпоса в единое художественное целое следовало бы считать делом общенародного и государственного значения. Создание народа — русские былины должны быть возвращены народу в художественно целостном виде. Это одна из задач советской литературы и науки о народном творчестве.

Работа проф. Водовозова по своду былин в свое время хотя и вызвала некоторые (и притом справедливые) возражения, но детальному и широкому обсуждению не подвергалась. Проф. Водовозова справедливо упрекали за те натяжки, к которым он прибег, желая превратить былины в единое композиционно цельное произведение. Но это лишь одна сторона дела. Другая сторона заключается в следующем: проф. Водовозов, работая с помощью ножниц и клея, составлял былины из разных кусков, взятых из различных записей. В погоне за наибольшей стройностью содержания он пренебрег цельностью былинного стиха, не вмешиваясь в него и механически соединяя стихи различного звучания, записанные собирателями по разным методам. Таким образом, проф. Водовозов, имея добрый замысел, подошел к своей работе робко, половинчато и методологически, с моей точки зрения, неправильно.

Мне кажется, работу над былинами должен выполнить художник слова, поэт, имеющий достаточную научную подготовку и хорошо знающий язык своего народа. В основу его работы должны лечь следующие соображения:

1. Наши былины не представляют собой единого композиционно цельного произведения, хотя многие из них сюжетно связаны между собою. С этим обстоятельством надо считаться. На основе былин можно написать самостоятельное единое произведение, но превратить народные былины в целостный единый свод нельзя. Былины должны оставаться былинами.

2. Каждая из них, в отдельности взятая, должна быть обработана в части содержания на основании отбора и сличения всех записей данного сюжета. Нередко бывает так, что отдельные ценные мотивы сюжета сохраняются только в разрушенных образцах, в былинных сказках, утерявших стихотворный размер. В этих случаях ценный мотив должен быть возвращен в былину. По своему содержанию каждая в отдельности взятая былина должна быть художественно целостным произведением.

3. Язык должен быть безусловно очищен от диалектизмов. Он должен сохранять свой народный характер во всем его богатстве, должен быть выдержан в былинном стиле и свободен от новейших особенностей литературной речи.

4. Стих должен быть тоническим, былинным, легко читаемым, свободным от вставных словечек. Здесь потребуется смелая и сложная работа художника-поэта.

Воссозданные таким образом былины могут стать действительным достоянием народа, но уже не как произведение вокального творчества, а как произведение книжной общенародной литературы. Особое значение они будут иметь для школ и для воспитания советской молодежи.

1952

ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ

(К 250-летию ео дня рождения поэта)

Мой язык гремел, как било,
Сердце колоколом пело.

Д. Гурамишвили

Длинную и трудную жизнь прожил Давид Гурамишвили. В юности оп был похищен лезгинами и увезен в Дагестан. Первая попытка бегства окончилась неудачей: его поймали и наказали жестоко. Гурамишвили бежал скова и вышел к русским поселениям на Тереке. Здесь его радушно встретили и выходили русские поселенцы-казаки. С Терека Гурамишвили перебрался в Астрахань, а оттуда в 1730 году — в Москву, где в то время, добиваясь русской помощи, проживал вместе со своей многочисленной свитой грузинский царь-эмигрант Вахтанг VI. Гурамишвили примкнул к грузинской эмиграции; царь сделал его начальником своего арсенала.

Миссия Вахтанга, как известно, была безуспешна, и царь скончался в 1737 году, отказавшись от политической деятельности. После его смерти эмигранты перешли в русское подданство и поступили на военную службу, получив от правительства царицы Анны Иоанновны поместья на Украине. В качестве русского офицера Гурамишвили принимал участие во многих войнах того времени: турецкой, шведской, Семилетней. В Кюстринском сражении 1758 года поэт попал в плен к пруссакам и до конца 1759 года содержался в Магдебургской крепости. В Россию он возвратился больным, неспособным к военной службе и вышел в отставку с чином поручика. С этого времени он удалился на покой в свое миргородское имение, где и умер в 1792 году, почти никому не известным и всеми забытым полуослепшим стариком.

Литературная судьба Гурамишвили столь же необычна, как и его жизнь. В молодые годы он получил неко-

торую известность в Москве, при дворе Вахтанга VI. Эмигранты знали Гурамишвили в качестве автора стихотворных экспромтов и остроумных маджами: молодой человек блистал ими за царским столом, развлекая эмигрантскую знать в ее вынужденном бездействии. Но не этим литературным мелочам суждено было составить посмертную славу Гурамишвили. Все лучшие его творения созданы значительно позже. В те годы, когда они создавались, жизнь поэта, видимо, клонилась к концу, и он уже не мог рассчитывать на литературную известность среди своих соотечественников.

Поэзия Гурамишвили вступила в период своего общественного существования только через шестьдесят лет после смерти ее автора, когда были впервые опубликованы его произведения. Удивления достоин тот факт, что рукопись Гурамишвили дошла до нас целой и почти невредимой. В то время как многие рукописи крупнейших грузинских поэтов XIX века были безвозвратно утрачены, все стихотворное наследие Гурамишвили сохранилось полностью в виде авторской рукописи, то есть в идеальной сохранности, устраняющей всякие разночтения. Существует предание о том, что во время путешествия царевича Мариана по Волге рукопись Гурамишвили едва не потонула и была лишь случайно вытащена веслом из воды. Рукопись и до сей поры носит на себе следы размыва чернил, попортившего автопортретный рисунок поэта. Если предание не вымышлено, то можно лишь благодарить счастливый случай, сохранивший Грузни одного из выдающихся ее поэтов.

Всеобщее признание пришло к поэту спустя длительное время после его смерти. Оно было настолько же безусловным и всеобщим, насколько трагична и безысходна была его личная жизненная судьба.

Мировоззрение и творчество Гурамишвили противоречивы. Черты его деятельного отношения к миру к старости слабеют: нравственная и обличительная проповедь, направленная на возрождение родного народа, уступает место настроениям глубокой безнадежности и мистицизма. Славословия разуму и просвещению сменяются религиозными стихами и сетованиями на коварный мир. Эта эволюция была обусловлена у Гурамишвили целым рядом особо трагических обстоятельств как общественного, так и личного характера.

На глазах поэта погибала его родина, его родной народ. От некогда многочисленного грузинского населения в результате пятисотлетнего, сначала монгольского, а затем иранского и турецкого владычества к середине и концу XVIII века оставалась лишь небольшая его часть. Восточные деспоты добивались физического уничтожения грузинского народа или же его полной ассимиляции. Угасал могучий очаг древней культуры, разрушались храмы и крепости, исчезало просвещение, падало искусство.

Личные бедствия Гурамишвили тесно связаны с бедствиями его родины. Всю свою жизнь он должен был провести в эмиграции. До конца своих дней он тосковал о родине. Военным человеком он стал под давлением обстоятельств. Жизнь на Украине сложилась у него неудачно: не один раз падало там его хозяйство и не один раз приходилось ему начинать все сначала. Была неудачной и семейная жизнь поэта: он был бездетен, и это обстоятельство всегда тяготило его. Бедствия поэта усугублялись еще и тем, что любимое свое детище, свою «книгу-сироту», он не мог обнародовать при жизни и умирал, не зная, что станется с нею.

Подобно Камоэнсу, он имел право сказать: «Я умираю вместе с моим отечеством».

Во времена Гурамишвили Грузия представляла собой ряд мелких царств, влачивших тяжелое существование под игом иранских и турецких властителей. Еще в половине XVI века Иран и Турция поделили между собой верховную власть в этой стране: Иран получил Восточную, а Турция — Западную Грузию. Шах Ирана являлся верховным правителем Восточной Грузии. Грузинские цари подчинялись ему и получали престол из его рук. Обычно они должны были для этого принять магометанство и сделаться проводниками иранской политики в собственном отечестве.

Вахтанг VI, карталинский царь, с кем связал свою судьбу Гурамишвили, был, по-видимому, не столь государственным мужем, сколь способным литературным деятелем. Это был поэт, переводчик и ученый, создавший в Тбилиси первую типографию и издавший впервые Руставели. Как государственный деятель, он был большим неудачником: долгое время провел в плену у шаха Ира-

на, где был принужден принять магометанство и этим вернул себе корону Карталинии. Враг Ирана, в дальнейшем он заключил с Петром I военно-политический союз и овладел Гянджой, ожидая прибытия русского войска. Однако Петру во время персидского похода дальше Дербента продвинуться не удалось. Шах объявил Вахтанга изменником и лишил его престола. Карталинским царем был сделан царь кахетинский Константин: шах решил посеять вражду между царями Восточной Грузии и достиг своей цели. Константин с помощью иранцев и лезгин овладел Тбилиси. Вахтанг обратился за помощью к Турции. Турки вошли в страну, овладели ею и опустошили ее. Константин был убит в неволе, а Вахтанг бежал в Россию. К этому времени Петр уже скончался, а его преемники в отношении Ирана наступательных шагов не предпринимали, уступив ему обратно петровские приобретения. Вахтанг, как было уже сказано, окончил свою жизнь в эмиграции.

В поэме «Бедствия Грузии» Гурамишвили описывает все эти события и дополняет свой рассказ автобиографическими главами.

Примечателен прежде всего выбор современной автору темы и отказ автора от художественного вымысла в пользу исторического бытописания. Здесь Гурамишвили целиком примыкает к позиции одного из своих прогрессивных предшественников, царя-поэта Арчила II, который в свое время выступил как деятельный противник иранского влияния в грузинской поэзии.

Мы должны помнить, что ко времени Гурамишвили иранская литература уже давным-давно утратила свой былой блеск. Времена расцвета иранской культуры, живительными соками которой в какой-то мере питался еще Руставели, миновали, и в литературе Ирана наступил период своеобразного декаданса с его условной, далекой от жизни тематикой, с его неверием в реальную жизнь и пессимизмом, с одной стороны, и проповедью чувственных наслаждений — с другой. Именно такой по преимуществу и была придворная иранская поэзия того времени, и идти по ее стопам, как это делали некоторые грузинские поэты, значило идти по стопам регресса, вырождения, в то время как реальная обстановка в Грузии требовала величайших усилий героизма и самопожертвования ради спасения страны и народа.

Гурамишвили отверг упадочные иранские тенденции поэзии и пошел новой, самостоятельной дорогой. Правда, в поэме «Бедствия Грузии» он еще не поднялся до уровня художественного обобщения и создания характеров, он еще остался в роли летописца событий, участником и свидетелем которых был сам, и дидактиком-патриотом, но и эта позиция была глубоко прогрессивна, и ее общественная роль не вызывала сомнения. Теперь остается лишь пожалеть, что известность поэта при его жизни не выходила за пределы грузинской эмиграции. На своей родине Гурамишвили мог бы стать крупным деятелем освобождения, так как сила его художественного слова была необычайно велика.

Гурамишвили с большой отчетливостью формулировал свою боевую творческую программу:

Как хорошее прославить,
Коль дурное не ругать?
Если зло во зло не ставить,
Что добром именовать?
Можно ль добрые поступки
У достойного отнять?
Чем оправдывать злодея,
Лучше мучеником стать!

Льстить в лицо, ругать заочно —
Добрым людям не годится.
Чем с неправдой жить на свете,
Лучше с правдой в небо взвиться.
Разве будет виноградарь
Жалким тернием гордиться?
Пусть погибнет плоть за правду,
Но душа возвеселится!

Говорить я буду правду,
Не глашатай я химере.
Недостойных не прославлю,
Не унижусь в лицемерье.
Пусть хоть голову снимают
С плеч *моих*, — по крайней мере
Не сравню кого попало
С достославным Кахабери.
. . . .
Обличителю нередко
Не прощают обличенья,
Но стране забвенье правды
Не приносит *облегченья*, —

Злоумышленники будут
Продолжать злоумышленья.
Выводите зло наружу,
Чтоб страшились искушенья! [1]

Такова программа общественного и поэтического подвига Гурамишвили. И как эта программа не похожа на поэтические программы других грузинских поэтов XVII—XVIII веков! Во всяком случае, второй крупный поэт этого периода, Теймураз I, весь погруженный в искусственный мир утонченной иранской эстетики, по своим поэтическим устремлениям был диаметрально противоположен Гурамишвили. А ведь Теймураз I многими считался достойным соперником Руставели!

Манифест Гурамишвили является ярким документом в истории грузинского общественного самосознания и новой страницей в истории грузинской поэзии. Порабощенный народ устами своего поэта заявлял о своем национальном бытии, о своей воле к жизни и утверждению своего национального искусства. Значительность этого явления трудно переоценить, если принять во внимание реальную обстановку того времени.

Описывая бедствия Грузии, Гурамишвили обличает грузинскую правящую знать и в первую очередь царей Восточной Грузии — Вахтанга и Константина:

Не смогли цари поладить, —
Зол был каждый и упрям.
Не умели присмотреться
К государственным делам,
Крепко запертые двери
Лютым отперли врагам, —
Привели лезгинов кахи,
Карталинцы — турок к нам.

Как ни странно, но в этой братоубийственной розни Гурамишвили обвиняет в первую очередь не Константина, царя Кахетии, а Вахтанга, своего патрона и покровителя по эмиграции и единомышленника по симпатиям

---

[1] Все цитаты по изд.: Д. Гурамишвили. Давитиани. Перевел с грузинского Н. Заболоцкий. М., Гослитиздат, 1955. (*Примеч. Н. З.*)

к России. Устами царевича Бакара он заявляет по адресу Вахтанга:

Мудрых дел его доныне
Видеть мне не довелось,
Ведь за что он ни возьмется,
Все идет и вкривь и вкось.

Да и сам царь в поэме говорит про себя:

«...Что ж мне делать? Я старался
Послужить родной стране,
Но не смог...»

Гурамишвили обвиняет Вахтанга в том, что он не захотел договориться с Константином о едином фронте против общего врага, и особенно в том, что Вахтанг вызвал турок, которые разорили страну.

Белена была Вахтангу
В эти дни вкусней нектара... —

замечает по этому поводу Гурамишвили.

Но, обвиняя во многом Вахтанга, Гурамишвили не может не сочувствовать его русофильским тенденциям, поэтому его отношение к Вахтангу двойственно.

Очень характерны в поэме высказывания Гурамишвили о Петре Великом. Опять-таки вслед за своим предшественником, Арчилом, Гурамишвили восхищается деятельностью царя-преобразователя и заявляет о себе как о горячем стороннике его мудрой политики:

Был на севере владыка,
Повелитель всей России —
Петр Великий, нареченный
Императором впервые.
Он для подвигов великих
Заострил мечи тупые.
О его душе бессмертной
Молят господа живые.

Он при жизни неустанно
Об отечестве радел;
Мудрый, щедрый, справедливый,
Он блюсти закон умел;
Всемогущею рукою
Всех врагов он одолел.
Опочивши, продолжает
Он творить немало дел.

Таким образом, политическая ориентация Гурамишвили совпадает с вахтанговской. Но в XVIII веке в силу

обстоятельств она не могла принести реальных результатов — освобождения Грузии. Гурамишвили и его патрон были пролагателями того пути, который восторжествовал после их смерти, сами же они погибли трагически, не видя плода многолетних своих усилий.

Большой интерес представляют автобиографические главы поэмы. Без них мы, по всей вероятности, никогда не узнали бы о событиях, которые привели поэта в Россию. Гурамишвили рассказывает о своих приключениях с такой искренностью, с таким простодушием и подчас с такой горькой иронией над самим собой, что до сих пор вызывает живое сочувствие читателя. Особенно трогательно изображает поэт свое бегство из лезгинского плена, когда он после двенадцатидневных скитаний в горах Дагестана, умирая от голода, вышел в предгорья, забрался в какой-то виноградник и вдруг услыхал церковный звон.

О, как сердце задрожало,
Услыхав церковный звон!
Я вскочил и оглянулся —
И отпрянул, поражен:
Люди истово крестились
Возле церкви у окон.
Вот оно, мое спасенье!
Кончен вражеский полон!

Возместил мне бог сторицей
Все, чего лишил когда-то!
Как безумное, стучало
Сердце, радостью объято,
И рассыпал изо рта я
Там немало винограда,
И бежать хотел я к людям
Из приветливого сада.

Тут внимательней взглянул я
На неведомых людей, —
Кички женщин поднимались,
Словно рожки у чертей.
Испугался я, несчастный,
Новых дьявольских затей
И решил бежать отсюда
И других искать путей.
. . . .

Решив бежать, поэт набрал в подол винограду и залег в тростник, ожидая темноты. Но тут подстерегала его но-

вая беда: на беглеца набросилась туча комаров и заставила его забыть обо всех опасностях. Доведенный комарами до исступления, он устремился в село и очутился на сельском гумне.

Словно званый гость, внезапно
На гумне я появился.
Окружив меня толпою,
На меня народ дивился.
У любого под рубахой
Крестик маленький светился.
Медный крестик лобызая,
Трижды я перекрестился.

«Лазарь, дай-ка парню хлеба!» —
Кто-то, сжалившись, сказал.
Слово «хлеб» заслышав ухом,
Я, как лист, затрепетал,
Закачался на ногах я,
Пошатнулся, застонал
И, как рухнувшее зданье,
Обессиленный, упал.

Слово «хлеб» я знал по-русски,
Слышал я его и ране.
Услыхав его, я понял,
Что на русской я окрайне.
И душа, забыв о муке,
Погрузилась в ликованье,
И, как сноп, я там на землю
Повалился без сознанья.

Был казак в селенье этом,
Мне ниспосланный судьбою.
Как родной отец за сыном,
Он ухаживал за мною.
Обнял он меня с любовью,
Оросил мне грудь слезою,
Толмача Январу-пшава
Разыскал, привел с собою.

Примечателен весь тон этого рассказа, это внимание к трагическим происшествиям бегства: к рассыпанному изо рта винограду, к страху перед женскими кичками, к нападению комаров. Благодаря этой особенности автобиографических глав поэма «Бедствия Грузии» приобретает убедительность реалистического жизненного повествования.

Примечательны также и те теплые краски, которыми поэт рисует свою первую встречу с русскими крестьянами. В то время как изображенные в поэме русские цари

Петр и Анна предстают перед нами в схематическом, отвлеченном виде, безымянный терской казак, приютивший и выходивший беглеца-грузина, имеет живое лицо, написанное трогательно и любовно.

Обличая соотечественников — царей, феодалов, духовенство, — Гурамишвили противопоставляет им простой народ, с такой любовью изображенный им в поэме «Веселая весна» («Пастух Кацвия»). Некоторые исследователи называют эту поэму пасторальной, подчеркивая этим наименованием ее жанровую условность и, может быть, недостаточную самостоятельность в разработке темы. С этим утверждением можно соглашаться, можно и не соглашаться, но дело явно не в нем, так как оно не дает представления о значении поэмы в целом. А значение ее велико: эта поэма хотя и идеализирует патриархальный уклад крестьянской жизни и воспевает этот уклад как правильный и способный поддержать материальное и нравственное благосостояние народа, однако она первая в грузинской литературе поэма о народе.

С точки зрения литературного мастерства Гурамишвили в этой поэме делает шаг вперед. Если «Бедствия Грузии» представляли собой историческую и автобиографическую летопись в стихах, то «Веселая весна» уже носит характер сюжетного произведения с целым рядом действующих лиц, наделенных характерными признаками. И хотя это произведение, видимо, не закончено автором, оно настолько своеобразно и реалистично для того времени, что о нем можно говорить как о новом слове тогдашней грузинской литературы.

Две поэмы Гурамишвили, дополняя одна другую, дают нам ясное представление об общественной позиции автора. И в то же время они не похожи друг на друга. «Бедствия Грузии» — поэма мрачная по колориту, как бы освещенная тусклым отблеском далекого зарева; тяжелые картины вражеского засилия сменяются в ней картинами внутренних грузинских раздоров, гневные обличительные строфы нередко переходят в вопль отчаяния и безнадежности. «Веселая весна», наоборот, исполнена душевного равновесия и умиротворения. Она полна добродушной веселости, местами назидательна и всегда преисполнена веры в народную мудрость и ее непререкаемый авторитет.

Кроме двух поэм, Гурамишвили оставил много песен и стихотворений. Эти его произведения очень разнообразны. Большая часть их, написанная в старости, носит характер религиозных размышлений и песнопений, связанных с тем или иным происшествием из жизни поэта (например, в связи с эпизодом в Кюстринском сражении 1758 года, в связи с разорением украинского имения и пр.). Другая часть представляет собой лирические песни, написанные по мотивам русских, украинских и польских песен. Они интересны тем, что обогатили грузинскую поэзию новыми звучаниями и ввели в ее обиход новые стихотворные размеры. Ряд стихов («Спор человека с бренным миром» и подобные) чем-то напоминает древнерусские и украинские вирши. Наконец, ряд стихов с большой долей реалистического содержания можно отнести к числу лучших произведений Гурамишвили и всей грузинской поэзии в целом.

Из этих последних особенно выделяется стихотворение «Зубовка». Так называется селение, расположенное неподалеку от Миргорода. Около Зубовки поэт встретился с женщиной, которой, видимо, суждено было сыграть немалую роль в его жизни. Приводим полностью это стихотворение.

ЗУБОВКА

(На мотив русской песни «Казак — душа правдивая»)

Я из Зубовки однажды к дому возвращался
И с красоткой чернобровой в поле повстречался.
На лице ее прекрасном родинка чернела,
Красота ее внезапно сердцем овладела!

Я спросил ее: — О солнце, держишь путь куда ты?
Из какого ты селенья, из какой ты хаты?
Я узрел тебя, и сердце стало словно камень,
Окропи меня водою, жжет меня твой пламень!

Осерчав, она сказала: — Грех тебе, злодею!
Как просить ты смеешь, чтобы стала я твоею!
С соловьем любиться розе, не с тобой, вороной! —
Слыша это, я заплакал, в сердце уязвленный.

И она сказала снова: — Прочь, отстань, прошу я!
Не хочу тебя, другому здесь принадлежу я.
Мой супруг тебя красивей, мужественней с виду. —
Обезумел я, почуяв горькую обиду.

А она: — Ни слова больше! Отцепись, проклятый! —
И ударила, ругая, палкой суковатой.
Покачнулся и упал я, потеряв сознанье,
И она передо мною встала, как сиянье.

Пожалела, наклонилась и взяла за руку:
— И за что ты, неразумный, принимаешь муку? —
Я сказал: — Из-за тебя я разума лишился,
Не обласканный тобою, с жизнью распростился!

И красавица с улыбкой ласково сказала:
— Если нас с тобой увидят, худо бы не стало.
Встань, пойдем, пора вернуться каждому до дому,
Будешь здесь, так снова выйду я к тебе, дурному.

И ушла она, пропала, чудо черноброво,
Лишь оставила на память ласковое слово.
С той поры я, раб влюбленный, все гляжу на поле,
Лишь пришла бы, ничего я не желаю боле.

«Я приду», — она сказала. Полный ожиданья,
Не могу в тоске по милой я сдержать рыданья.
В час кончины одинокой не она, так кто же
Дверь в загробное селенье мне откроет, боже?

Послужить моей любимой жажду я, унылый.
Переполненное сердце вечно жаждет милой.
У нее в руках, я знаю, чтобы жил и впредь я,
Есть и хлеб существованья и вода бессмертья.

Дай мне, боже, только ею жить в годины эти!
Разве есть еще другая, лучшая, на свете?
За меня она, я знаю, вытерпела муки,
Вижу лик ее обмерший, связанные руки.

Где теперь ты, дорогая? Отзовись скорее!
Ты была мне в целом мире всех людей роднее.
Я в аду тебя не вижу, ты в стране господней,
Так возьми ж меня с собою прочь из преисподней!

Многое удивляет и волнует нас в этом стихотворении. Удивительной кажется внезапность чувства, овладевшего поэтом. Любовь не постепенно назревала в нем, но поразила его мгновенно, с одного взгляда и на всю жизнь. Удивительной кажется и образ возлюбленной поэта — это не идеализированная неземная красавица, но живая, реальная женщина, наделенная всеми признаками украинской крестьянки, трезвой, разумной, уважающей своего мужа и вовсе не склонной к мимолетным шашням с этим

чудаком-грузином, который ни с того ни с сего повстречался с нею на жизненной ее дороге. Обратите внимание, как она отчитала его и даже «ударила, ругая, палкой суковатой»! Реализм этой сцены доведен до предела, коллизия — до полного обострения. И вдруг... Что случилось с нею? Что произошло в ее душе? Чем тронул, чем пронзил ее этот чудак, упавший к ее ногам? Не красотой же он взял, не мужественностью, не умом и не достатком своим — наоборот, он был скорее жалок, беспомощен, смешон даже! Но что-то вдруг тронуло ее, остановило, и сердце, должно быть, подсказало ей, что за всей видимой нелепостью этого внезапного объяснения таится нечто такое, чего она еще не испытала в жизни своей... И она оставляет его со словами обещания и надежды.

И он ждет ее. И ожидание становится смыслом его жизни. Это ожидание так же поразительно, как ожидание рыцаря Тогенбурга в известной балладе Шиллера. Но Тогенбург жаждал увидеть лицо возлюбленной, затворившейся в монастыре и погрузившейся в тишину религиозного успокоения. А что происходит с этой женщиной в стихотворении Гурамишвили?

За меня она, я знаю, вытерпела муки,
Вижу лик ее обмерший, связанные руки.

Поэт не объясняет нам, что случилось с его любимой. Проведал ли муж о ее внезапной любви и истязал ее в порыве ревности? Или родня ее не захотела смириться с изменницей, опозорившей дом и свое честное имя? Мы не знаем этого. И мы не знаем, осталась ли она в живых, эта женщина, или стала жертвой своей внезапной и необъяснимой любви? Во всяком случае, последнюю строфу стихотворения можно воспринимать как прощание с нею: настолько эта строфа пронзительно безутешна.

В области стихосложения Гурамишвили был новатором не только потому, что чрезвычайно искусно ввел в литературный обиход новые типы поэтических произведений. Он, кроме всего прочего, упростил и приблизил к народному язык своей поэзии, а также ввел новые размеры, получившие в дальнейшем название «гурамули». Прислушиваясь к музыке русских и украинских песен, поэт вводил их элементы в свой поэтический обиход, чем значительно преобразовал грузинское стихосложение,

Особенно сказалось это на поэтике его лирических произведений.

По единодушному признанию грузинских литературоведов и писателей, Гурамишвили выделяется среди поэтов Грузии исключительной музыкальностью своих произведений. Его версификация безукоризненна, точна и богата, и в этом отношении он является прямым продолжателем Шота Руставели.

Таким образом, и в узком понятии поэтического мастерства творчество Гурамишвили было явлением исключительного значения. Поэтика его противостояла поэтике писателей иранофильского толка, столь искусственной и ограниченной в своей изощренности и оторванности от интересов народа. Недаром его «гурамули» так быстро привились в Грузии и прочно вошли в обиход грузинской поэзии.

Грузинская литература XVII—XVIII веков была ареной борьбы против культурной и политической диктатуры Ирана. Борьба эта была нелегка, тем более что главным защитником иранских традиций в искусстве был не кто иной, как талантливый грузинский поэт — царь Теймураз I (ум. в 1603 г.). Этот Теймураз, всю жизнь боровшийся с Ираном как политический деятель, был верным рабом иранской эстетики как поэт: явление в высшей степени характерное, свидетельствующее об исключительной силе иранских влияний. Его «Вардбульбулиани», «Спор вина с устами» и другие подобные сочинения уводили грузинскую литературу на изнеженный и вырождающийся иранский восток. Теймураз, этот второй Руставели в представлении его поклонников, был не одинок в своем иранофильстве: грузинская литература может указать на ряд его продолжателей, пусть не столь одаренных, как он сам (Бесики и другие).

Поэзия Гурамишвили явилась как бы народным ответом на иранофильскую поэзию Теймураза. Порабощенный врагами, народ отверг поэзию своего эстета-царя и творчеством изгнанника Гурамишвили утвердил реалистический путь своего национального искусства. Под пером Гурамишвили зарождалась новая гражданская поэзия Грузии, одухотворенная передовыми идеями своего века. Она боролась за объединение страны перед лицом

общего врага, за возрождение народа, за союз Грузии и России.

Грузинская литература в силу исторических условий не могла развиваться последовательно. После великого Руставели она молчала триста лет, придавленная захватчиками, два века приходила в себя после предыдущих потрясений и, наконец, в XVIII веке родила Гурамишвили, который, таким образом, явился отцом новой грузинской литературы и великим продолжателем дела Руставели.

Из его рук грузинская поэзия XIX века получила свое знамя, которое и было достойно поддержано целой плеядой новых талантов: Н. Бараташвили, И. Чавчавадзе, А. Церетели, Важа Пшавела. Только с их помощью грузинская поэзия окончательно преодолела чужеродные влияния и, не колеблясь, вступила на путь своего национального развития.

1955

МУДРОСТЬ РУСТАВЕЛИ

Каждая книга имеет свою судьбу, и судьба некоторых книг поистине поразительна. «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели написана в конце XII века, но эта книга до сей поры является настольной книгой грузинского народа. Списки поэмы Руставели в течение веков переходили из рода в род, от отца к сыну, их дарили в приданое на свадьбах, люди заучивали книгу наизусть, а человек, равнодушный к ней, почитался круглым невеждой. Можно сказать, что целые поколения грузинского народа мыслили нравственными категориями Руставели, составив из его афоризмов своеобразный кодекс морали личной и общественной.

Чем объясняется эта многовековая популярность Шота Руставели? Причин этого явления много, но мы рассмотрим лишь одну из них: моральную концепцию Руставели, которая положена в основу его поэмы. Мы сознательно оставим в стороне ряд вопросов, например вопрос о мировоззрении Руставели в целом, вопрос об отражении грузинской истории в образах его поэмы, вопрос о происхождении его философского и нравственного учения, а также вопросы языка и поэтического мастерства.

Впрочем, по вопросам языка и мастерства следует сделать несколько кратких замечаний.

Отметим, что язык Руставели до сих пор доступен и почти полностью понятен любому грузину. К концу XII века грузинский литературный язык насчитывал уже не менее восьми веков развития. Во времена Руставели он был уже высоко развитым и сильным организмом, способным выразить все богатство народной, научно-философской и художественной мысли того времени. Высокий расцвет феодальной Грузии времен царицы Тамары ставил Грузию в число передовых государств XII века и благоприятствовал международным культурным связям, что, в свою очередь, не могло не способствовать обогаще-

нию грузинской речи. Последующие века упадка, вызванные неравной борьбой с восточными деспотиями, — борьбой, которая едва не закончилась физическим истреблением грузинского народа, пагубным образом повлияли и на развитие языка. Язык деградировал в той же степени, в какой деградировала вся культура. Руставели родился вовремя. Родись он веком раньше или веком позже, он не получил бы той питательной среды, которая была необходима для полного развития его природного поэтического дарования. Это понятно каждому, кто более или менее знаком с историей Грузии.

Но понятно также и то, что не одна благоприятная питательная среда обусловила появление столь блестящего поэта. В век Руставели жили и подвизались другие знаменитые стихотворцы — Чахрухадзе, Хонели, Тмогвели, — но ни один из них не возвысился над уровнем своего века. Сделать это мог лишь Руставели, который, будучи гениальным мыслителем, поднял литературный язык на небывалую высоту и коренным образом усовершенствовал грузинское стихосложение. Как мастер стиха, он был и остается непревзойденным виртуозом, но заметим сразу, что изощренно отточенная техника его стихосложения лишь подчеркивает непосредственность его живой речи, не насилуя ее самобытного характера, но, наоборот, обогащая ее множеством народных и разговорных оборотов. В других руках столь изощренная техника легко могла бы стать самоцелью, превратиться в блестящую поэтическую игрушку, что, кстати говоря, нередко случалось с иранскими поэтами того времени. С Руставели этого не случилось. Поэтический механизм как бы скрыт в глубине его величавого здания, построенного с благородной и высокочеловечною целью. С какой же целью построено это здание?

Руставели был для своего времени образованным и передовым человеком. Задолго до начала европейского Возрождения он возвестил людям начало новой гуманистической морали. Его идеалы предстают перед нами не в отвлеченных рассуждениях, но в живом человеческом воплощении, в образах его героев и героинь, в образах сложных, зачастую противоречивых, нимало не похожих на абстрактных носителей той или иной идеи.

Высокие идеалы мужества, верности долгу, служения родине, идеалы бескорыстной дружбы и одухотворенной любви свойственны многим героям Руставели, но в пер-

вую очередь носителем их является витязь Автандил, один из главных героев поэмы. Автандил во имя дружбы, ради спасения погибающего друга, бросает все: и свою возлюбленную, и свое высокое звание полководца, и свое богатство. Он ставит себя в положение бездомного бродяги, скитающегося по свету без крова и пищи, осужденного на одиночество и тоску по своей любимой.

Подвиг преображает духовный облик Автандила, и сама природа теперь дивится ему. Заслышав его пение, звери выходят из лесов и идут следом за ним, мертвые камни выступают из реки и плачут вместе с Автандилом.

Моральный облик Автандила с наибольшей силой отражен в его завещании царю Ростевану. Уезжая на поиски друга, Автандил пишет царю:

Не осудишь ты, я знаю, государь, мое решенье.
Мудрый друг не бросит друга, несмотря на все лишенья.
Вспомни, царь, Платон-философ нам оставил поученье:
«Ложь несет душе и телу бесконечные мученья».

Так как ложь — источник горя, то, покинув царский кров,
Ради страждущего друга ухожу я от пиров.
Для чего и мудрость людям, коль не чтить ее даров?
Знанья мудрых приобщают нас к гармонии миров.

О любви ты, верно, помнишь, что апостолы гласили,
Как в кимвалы ей бряцали, как в Писанье возносили?
«Возвышает человека лишь любовь!» — они твердили.
Прежде всех живущих в мире должен верить им не ты ли?
. . . .
Есть ли кто презренней труса, удрученного борьбой,
Кто теряется и медлит, смерть увидев пред собой?
Чем он лучше слабой пряхи, этот воин удалой?
Лучше нам гордиться славой, чем добычею иной!

Смерть сквозь горы и ущелья прилетит в одно мгновенье,
Храбрецов она и трусов — всех возьмет без промедленья.
И детей и престарелых ожидает погребенье.
Лучше славная кончина, чем постыдное спасенье! [1]

Мудрость Автандила активна, в этом ее особое отличительное свойство. Цель Автандила заключается в деятельном преодолении зла, в борьбе с ним. Поэтому он мужествен, бесстрашен, вынослив. «Муж обязан быть вы-

---

[1] Все цитаты даны по изд.: «Витязь в тигровой шкуре». Перевел с грузинского Н. Заболоцкий. М., Гослитиздат, 1957. (*Примеч. Н. З.*)

нослив, в тяжких бедах пребывая», — говорит он и выполняет это правило на деле.

Однако не нужно думать, что Автандил только неустрашимый воин, мудрец и безупречный служитель своих высоких идеалов. Его поведение не всегда соответствует тем высоким стремлениям, которыми он одержим. Рисуя идеальные стремления героев, Руставели не уходит от правды жизни и не затушевывает их теневых сторон. Это обстоятельство зачастую ставит в тупик литературоведов, склонных к прямолинейным перспективам и признающим в живописи только две краски — белую и черную.

В самом деле, некоторые поступки Автандила идут вразрез с его идеалами. Этот рыцарь дружбы и верный возлюбленный Тинатин неоднократно декларирует свою вассальную преданность царю Ростевану, который так же души не чает в своем любимце. Однако, уезжая в первый раз на поиски Тариэла, Автандил попросту обманывает Ростевана, причем обман его сопровождается длительной мистификацией: слуга Шермадин по наущению Автандила три года носит его личину и от имени Автандила ведет переписку с царем. Перед своим вторым отъездом Автандил пытается подкупить царского вазира, а затем самовольно бросает свой пост полководца.

Но всего любопытнее поведение Автандила в Гуланшаро, его любовная связь с Фатьмой. Не видя выхода из трудного положения, он забывает о своей возлюбленной, делается любовником Фатьмы и по ее наущению убивает чачнагира-виночерпия и его ни в чем не повинных стражей... Сам Руставели удивлен диковинным поведением своего героя. «Как решился он на это, невозможно нам понять!» — восклицает он.

Таким образом, фигура Автандила менее всего иконописна. Это противоречивый характер, полный земных человеческих страстей, посвятивший себя высокой идее, но не оторвавшийся от земли, породившей его.

А земля, породившая Автандила, — страшная земля, залитая слезами и человеческой кровью. Арабы в поэме Руставели сражаются с хатавами, Тариэл со стражей Ростевана, с каджами, с дэвами, Автандил — с пиратами, с чачнагиром и его слугами, Фридон — с собственным дядей и его сыновьями, Давар убивает себя кинжалом, слуги Фатьмы топят похитителей Нестан-Дареджан, и вся эта кровавая эпопея завершается небывалой резней в

крепости Каджети. Мир средневекового зверства глядит на нас со страниц поэмы, человеческая жизнь здесь не стоит ничего. Ложь, коварство, двуличие, алчность, трусость, клятвопреступления дополняют картину этого неприглядного мира, где живут герои поэмы, одержимые страстью духовного совершенства и в то же время болеющие всеми болезнями века, который их породил.

Если Автандил является убежденным и деятельным противником зла, то его друг Тариэл, центральный герой поэмы, сломленный многочисленными неудачами, теряет волю к жизни и становится миджнуром в том смысле, в каком понимал это слово Восток, и, в частности, такие крупные поэты, как Низами и Навои. «Миджнур» есть грузинское видоизменение арабского слова «меджнун», что значит: обезумевший от любви, одержимый неистовой любовью. Удрученное неправдами окружающего мира, восточное воображение искало в любви того состояния экстаза, отрешенности от бытия, которое позволило бы человеку выйти за предел его человеческих способностей и соприкоснуться с непогрешимыми началами мироздания. Имея в основе естественное человеческое чувство, миджнур творил из объекта своей любви высокоидеализированный образ поклонения, соединение с которым, по существу, становилось для него невозможным вне зависимости от реальных жизненных обстоятельств. Так, герой Низами Кейс, когда он получил возможность соединиться с Лейли, должен был отказаться от нее, ибо он уже переступил за грань разумного человеческого бытия. Женщина, предмет любви, теряла для миджнура жизненные очертания и превращалась в символ служения некоему запредельному совершенству. Миджнур, одержимый любовью, обычно бежал от людей в дикие пустыни, скитался в окружении зверей, проникал силою экзальтации в тайны природы и постепенно превращался в безумца. Таким представляется нам образ миджнура, воспетого многими блестящими стихотворцами средневекового Востока.

Руставели тоже славит миджнуров, он и самого себя называет миджнуром во вступлении к своей поэме. Но идеал высокой любви представляется Руставели совсем в ином свете. Его идеальный миджнур от реальной жизни не отрешается. Наоборот, истинная любовь в понимании Руставели возвышает человека, одухотворяет его, обога-

щает высокими моральными качествами, придает силы в борьбе с трудностями жизни.

Этот идеал одухотворенного деятельного миджнура ничуть не напоминает нам образ безумного Кейса, неспособного бороться за свое счастье. Истинным миджнуром в поэме Руставели является Автандил. Он так же, как и восточные миджнуры, терпит разлуку со своей возлюбленной и скитается по пустыням вдалеке от людей, но все эти скитания преследуют разумную цель: помощь погибающему собрату. Автандил разумен и деятелен, он обладает как раз теми качествами, которых лишен Кейс.

Тариэл, витязь в тигровой шкуре, подобно Кейсу, доходит в своем любовном страдании до границ безумия. Вначале это — витязь, наделенный обычными гиперболическими совершенствами, который занят энергичной деятельностью царедворца, совершает воинские подвиги, участвует в дворцовом заговоре, стремится стать главою государства. Любовь к царевне Нестан-Дареджан является побудительной силой его жизнедеятельности, причиной многих его подвигов. После похищения Нестан-Дареджан Тариэл в продолжение десяти лет разыскивает свою возлюбленную, проявляет кипучую энергию в борьбе с ударами судьбы. Но поиски остаются тщетными, надежды угасают, воля к борьбе слабеет, и Тариэл, удалившись в пустыню, впадает в отчаяние и постепенно становится миджнуром в том смысле, в каком понимал это слово Восток. В апогее своего отчаяния он живет страстным ожиданием смерти и загробного свидания со своей возлюбленной. В ответ на увещания Автандила он заявляет:

Одного лишь я желаю, умирая от недуга:
Чтобы встретились за гробом я и милая подруга,
Чтобы мы, покинув землю, вновь увидели друг друга...
Пусть друзья меня схоронят: это лучшая услуга.

Разве может жить влюбленный, если милой больше нет?
Ныне радостно иду я за возлюбленной вослед.
Горько милая заплачет, зарыдаю я в ответ!
Мне дороже ста советов сердца собственный совет.

Знай, скажу тебе всю правду: к жизни мне не возвратиться.
Смерть витает надо мною, сердце хочет позабыться.
Уходи же прочь отсюда! Время плоти разложиться.
К сонму духов бестелесных дух мой немощный стремится.

Проникать в твои советы не имею я желанья.
Смерть близка, и жизнь земная — только краткое дыханье.
Мир претит душе безумной, преступил земную грань я.
Я уж там, куда струятся слезы нашего страданья.

В своем каджетском плену царевна Нестан-Дареджан также близка к этому состоянию, она также живет радостным ожиданием загробного свидания со своим возлюбленным. В своем знаменитом послании к Тариэлу она пишет:

Помолись, мой милый, богу, чтоб послал он мне спасенье!
Со стихиями земными тяжко мне соединенье.
Воспарив на легких крыльях, я постигну обновленье,
Днем и ночью буду видеть солнца дивное горенье.

Без тебя не светит солнце, ибо ты — его частица!
Зодиак его любимый, ты обязан с солнцем слиться!
Я в лучах тебя увижу, сердце светом озарится!
Горько было жить на свете — сладко с жизнью распроститься!

Таким образом, эти миджнуры приходят к полному отрицанию земного бытия и, отчаявшись в нем, все надежды возлагают на иное совершенное посмертное существование. Предметы видимого мира теряют для них реальные очертания и преображаются в символы вечного бытия. Шкура тигра становится для Тариэла символом его тигроподобной подруги, чалма Нестан-Дареджан делается символом любви Тариэла. Даже в образе живой тигрицы, которую Тариэл убивает на охоте, ему чудится потерянная царевна:

Меч я бросил и тигрицу, спрыгнув на землю, схватил,
Я искал ее лобзаний ради той, кого любил.
Но она рвала мне кожу и рычала что есть сил.
Распалился я от боли и прекрасную убил.

Любопытно то обстоятельство, что вера в лучшее загробное бытие, свойственная этим миджнурам Руставели, лишена привычных церковно-религиозных очертаний. Бог для Руставели — понятие не столько религиозное, сколько философское, это лишь условное обозначение могущественного животворного начала, доброго по природе, не имеющего прямого отношения к порокам человеческого существования:

Вседержитель милосерден, это мир исполнен зол.

Пытаясь проникнуть за грань человеческого разумения, миджнур устремляется мыслью в пространства вселенной, в мир звезд и планет, родство человека с которыми так сильно выражено в знаменитом астральном гимне Автандила, а также в приведенном выше отрывке из письма Нестан-Дареджан. Пифагорова «гармония миров» и идеи неоплатоников, как это было отмечено в литературоведении, отразились в произведении Руставели значительно явственнее, чем современная ему религиозная христианская концепция. Недаром поэма Руставели испытала столько гонений ео стороны грузинского духовенства.

Увидав Тариэла в состоянии, близком к безумию, Автандил обращается к нему с такими словами:

...Это худшее из дел!
Кто из нас не ведал страсти, кто в горниле не горел?
Но никто ж не рвался к смерти, проклиная свой удел!
Почему твоим рассудком нынче дьявол овладел?

Коль ты мудр, то знай, что мудрость так вещает нам с тобою:
Муж не должен убиваться в столкновении с судьбою,
Муж в беде стоять обязан неприступною стеною.
Коль заходит ум за разум, все кончается бедою!

Как ты, мудрый, забываешь это мудрое реченье?
Чем тебе помогут звери утолить твое влеченье?
Где найдешь ты, умирая, ту, чей лик — твое мученье?
Если ты еще не ранен, брось о ранах попеченье!

Негативная правда отрицания порочного мира, носителем которой является Тариэл (так же и Кейс), сталкивается здесь с позитивной правдой Автандила — правдой жизнеутверждающей, правдой борьбы и активного преодоления зла. После многочисленных испытаний правда Автандила побеждает. Силы разума, дружбы и любви торжествуют: Тариэл с помощью Автандила возвращается к жизни и обретает в ней все то, что считал навеки утраченным.

По сути дела, Руставели срывает с восточного миджнурства его освященный традицией ореол и тем самым противопоставляет свой активный жизненный идеал глубоко пессимистическому образу безумного Кейса. В этом и заключается поэтический подвиг Руставели-мыслителя, подвиг поистине национального значения. Грузинскому народу суждена была нелегкая судьба. В продолжение столетий он испытал такие потрясения, которые потре-

бовали от него величайшего напряжения всех нравственных сил. Понятно, что слово Руставели прочно вошло в грузинское сознание и завоевало себе общенародный авторитет.

Мудрость Руставели заключается также и в том, что он отказался от прямолинейной проповеди своей жизнеутверждающей правды вне сопоставления ее с правдой пассивного отрицания зла, с правдой негативной. Пассивная правда отрицания зла разрешалась в сфере отдельной личности и не выходила за пределы ее, в то время как мужественный голос Руставели призывал к единению и борьбе. Жизнь показала, что правда Руставели была общенародной правдой.

Руставели не нуждается в наших восхвалениях, так как время и люди сделали его книгу бессмертной. Не нуждается он и в извинениях в тех случаях, когда моральные особенности его героев расходятся с нашими собственными идеалами. Но Руставели нуждается в объяснении и толковании. Нужно, чтобы русский читатель, не знакомый с особенностями грузинской истории и культуры, воспринял поэму Руставели во всей возможной ее полноте.

<1958>

ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

1. Переводчик служит делу дружбы народов, их взаимному обогащению в области культуры. Весь его труд и все его профессиональные навыки определяются этой основной его целью.

2. Перед переводчиком две чаши весов: первая принадлежит автору оригинала, вторая — читателю перевода. Перевод будет хорош в том случае, если чаши весов не выйдут из равновесия.

3. Успех перевода зависит от того, насколько удачно переводчик сочетал меру точности с мерой естественности. Удачно сочетать эти условия может только тот, кто правильно отличает большое от малого и сознательно жертвует малым для достижения большого.

4. Есть переводчики, которые в своих стихотворных переводах стремятся передать особенности иноязычной речи. Это заблуждение: соловей не может куковать кукушкой, а кукушка — кричать дроздом.

5. Хороший поэт может быть плохим переводчиком. Пример тому Тютчев. Хороший поэт может не иметь склонности к переводам. Пример тому Блок. Но плохой поэт не может быть хорошим переводчиком.

6. Некоторые полагают, что хорошая поэзия хороша тем, что все в ней хорошо безотносительно. Это неверно. Хорошая поэзия хороша тем, что все в ней на месте. При переводе на другой язык обнаруживается масса условностей — попробуй-ка поставить их на свое место в твоем переводе!

7. Переводчиков справедливо упрекают в том, что многие из них не знают языка, с которого переводят. Однако первая и необходимая их обязанность: хорошо знать тот язык, на котором они пишут.

8. Перевод — экзамен для твоей литературной речи. Он показывает, каким количеством слов ты пользуешься и как часто обращаешься к Ушакову и Далю.

9. Подстрочник поэмы подобен развалинам Колизея. Истинный облик постройки может воспроизвести только тот, кто знаком с историей Рима, его бытом, его обычаями, его искусством, развитием его архитектуры. Случайный зритель на это не способен.

10. Плох тот переводчик, у которого все поэты получаются на одно лицо. Такой переводчик интересуется не переводимыми поэтами, а своей собственной особой. Пример тому Бальмонт.

11. Если ты равнодушен, переводя строку за строкой, почему ты думаешь, что читатель будет читать твой перевод с волнением?

12. Если перевод с иностранного языка не читается как хорошее русское произведение — это перевод или посредственный, или неудачный.

13. Лермонтовские «Горные вершины» лучше гетевского оригинала. Вот исключение, которое никогда не станет правилом.

14. Гладкопись — наш особенный враг. Гладкопись говорит о равнодушии сердца и пренебрежении к читателю.

15. Стиль и стилизация не одно и то же. Холодная стилизация приводит к искусственности речи.

16. Переводчик, последователь лингвистического метода, подобно жуку, ползает по тексту и рассматривает каждое слово в огромную лупу. В его переводе слова переведены «по науке», но книгу читать трудно, так как перевод художественного произведения не есть перевод слов.

17. Откуда тебе известно, как будут воспринимать переводимого тобой поэта завтра? Ты переводи его таким, каким он представляется нам сегодня.

18. Если переводимое произведение написано в XII веке, это не значит, что его нужно переводить языком «Слова о полку Игореве». Но переводить его языком нашей разговорной речи также не годится.

19. Переводчик, калькирующий грузинские размеры, гонится за малым и теряет при этом большое. Размеры с грехом пополам получаются, но читать стихи невозможно и попять, о чем в них говорится, также нет возможности.

20. Один переводчик с восточного языка, где нередко встречается десятикратная рифма, мог любое содержание подтянуть к системе: любовь — кровь — свекровь — мор-

ковь. Стихи его были более чем удивительны, но они печатались.

21. Существуют образы, которые, будучи выражены автором, заставляют читателей плакать, а в буквальном переводе на другой язык вызывают смех. Неужели ты будешь смешить людей там, где им положено проливать слезы?

22. Откуда ты взял, что творчество переводимого тобой поэта пожаловано тебе в виде пожизненной вотчины? Шекспира переводили десятки раз и будут переводить не меньше. Успех перевода — дело времени; он не может быть столь же долговечен, как успех оригинала.

1954

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В этом году я закончил новый полный перевод Шота Руставели и тем самым завершил цикл моих многолетних работ по переводу грузинской классики.

Произведения пяти лучших поэтов Грузии — Ш. Руставели, Д. Гурамишвили, Г. Орбелиани, И. Чавчавадзе, Важа Пшавела — я перевел или полностью, или частью, отобрав их основные поэмы и стихотворения. Выбор этих поэтов не случаен. Они определили развитие грузинской поэзии с XII по XIX век. Это столбовая дорога грузинской классики, отстоявшей свое национальное лицо в борьбе с чужеродными влияниями.

Советская школа поэтического перевода ныне широко признана не только у нас, но и за рубежом. Можно сказать без преувеличения, что ни одна страна не знала и не знает такого расцвета переводческого дела, какой наблюдается у нас. Теперь мы имеем много талантливых поэтов-переводчиков, у нас есть опыт и основы теории.

Двадцать — двадцать пять лет тому назад, когда я начинал свою работу переводчика, положение было иное. Элементарные истины, ныне общепринятые, для многих казались спорными. Особенно много путаницы было в вопросах перевода с восточных языков, далеких по своей структуре от русского языка. Иные переводчики, забывая о том, что они являются писателями русскими и обслуживают читателя русского, шли на поводу иноязычной речи и пытались привить русскому стиху нормы иноязычного стихосложения. Грузинская силлабика с ее преимущественно дактилическим звучанием буквально калькировалась и превращалась в искусственные, неживые русские подобия, неудобочитаемые и тем более неудобопонимаемые. По существу это была практика формалистического перевода, к счастью, непродолжительная и ознаменовавшая себя своими незавидными результатами.

Другая серия ошибок происходила по той причине, что иные поэты-переводчики смотрели на оригинал, как на материал для собственного произведения, где можно было дать полную волю перу и собственным вкусам. Под пером таких переводчиков средневековый поэт приобретал физиономию нашего современника, а народная песня превращалась в книжную вымученную пастораль.

Как показывает опыт, к простым истинам люди приходят не сразу. После формалистических ошибок, лингвистических загибов и переводческого произвола жизнь буквально поставила на ноги то, что для многих стояло на голове. Сама жизнь подсказала, что тот перевод, который не читается как хорошее русское произведение, является переводом неудачным. Вспомнились заветы Белинского. Но с другой стороны оказалось, что не все то, что хорошо звучит по-русски, поэтически соответствует оригиналу. Оказалось, что перед переводчиком две чаши весов, одна из которых принадлежит автору оригинала, а другая — читателю перевода. И нужно, чтобы чаши весов не выходили из равновесия. Практически это значило: умей отличать большое от малого и сознательно жертвуй малым ради большого. Таким образом, многообразные индивидуальные поиски вошли в организованное русло и дали свои положительные результаты.

Однако что же есть большое и что есть малое? Всякая поэзия полна условностей, почти не замечаемых нами в творчестве талантливых поэтов-соотечественников, но резко выступающих на первый план при переводе поэтов иноязычных. Переводчики хорошо знают эту истину. Но эти условности не составляют существа поэзии. Существо поэзии — в мысли, в мировоззрении автора, в строе его образов, нарушать которые переводчик не правомочен. Но переводчик не только правомочен, но и обязан выразить это существо автора в строе своей собственной речи, максимально приближенной к манере автора. Здесь возникает ряд конфликтов, и от степени одаренности переводчика зависит их разрешение. Хороший переводчик — сам поэт, он чутьем угадывает степень своих правомочий.

Нужно отметить, что нам, переводчикам братских литератур, неизмеримую помощь оказывали и оказывают ученые и литераторы наших республик. Лично я во многом обязан поэту Симону Чиковани, который еще в до-

военное время познакомил меня с Грузией, ее историей и культурой и привлек мое внимание к ее литературе. Он редактировал мой перевод поэмы Руставели и в течение многих лет помогал мне своими советами и многочисленными указаниями.

Большую помощь оказали мне и другие грузинские писатели и литературоведы. Из них Г. Леонидзе и Э. Ананиашвили редактировали перевод Гурамишвили, а П. Ингороква — перевод Важа Пшавела. Деятельное участие в редакционной работе над многими моими переводами принимал покойный В. В. Гольцев.

Сложный труд поэта-переводчика был бы невыполним без постоянной помощи этих истинных друзей нашей многонациональной культуры.

1957

МЫСЛЬ — ОБРАЗ — МУЗЫКА

Сердце поэзии — в ее содержательности. Содержательность стихов зависит от того, чт*о* автор имеет за душой, от его поэтического мироощущения и мировоззрения. Будучи художником, поэт обязан снимать с вещей и явлений их привычные обыденные маски, показывать девственность мира, его значение, полное тайн. Привычные сочетания слов, механические формулы поэзии, риторика и менторство оказывают плохую услугу поэзии. Тот, кто видит вещи и явления в их живом образе, найдет живые необыденные сочетания слов.

Все слова хороши, и почти все они годятся для поэта. Каждое отдельно взятое слово не является словом художественным. Слово получает свой художественный облик лишь в известном сочетании с другими словами. Каковы же эти сочетания?

Это прежде всего — сочетания смыслов. Смыслы слов образуют браки и свадьбы. Сливаясь вместе, смыслы слов преобразуют друг друга и рождают видоизменения смысла. Атомы новых смыслов складываются в гигантские молекулы, которые, в свою очередь, лепят художественный образ. Сочетаниями образов управляет поэтическая мысль.

Подобно тому как в микроскопическом тельце хромосомы предначертан характер будущего организма, — первичные сочетания смыслов определяют собой общий вид и смысл художественного произведения. Каким же путем идет поэт — от частного к общему или от общего к частному? Думаю, что ни один из этих путей не годится, ибо голая рассудочность неспособна на поэтические подвиги. Ни аналитический, ни синтетический пути в отдельности для поэта непригодны. Поэт работает всем своим существом, бессознательно сочетая в себе оба этих метода.

Но смысл слова — еще не все слово. Слово имеет звучание. Звучание есть второе неотъемлемое свойство сло-

ва. Звучание каждого отдельно взятого слова не имеет художественного значения. Художественное звучание возникает также лишь в сочетаниях слов. Сочетания трудно произносимые, где слова трутся друг о друга, мешают друг другу, толкаются и наступают на ноги, — мало пригодны для поэзии. Слова должны обнимать и ласкать друг друга, образовать живые гирлянды и хороводы, они должны петь, трубить и плакать, они должны перекликаться друг с другом, словно влюбленные в лесу, подмигивать друг другу, подавать тайные знаки, назначать друг другу свидания и дуэли. Не знаю, можно ли научиться такому сочетанию слов. Обычно у поэта они получаются сами собою, и часто поэт начинает замечать их лишь после того, как стихотворение написано.

Поэт работает всем своим существом одновременно: разумом, сердцем, душою, мускулами. Он работает всем организмом, и чем согласованней будет эта работа, тем выше будет ее качество. Чтобы торжествовала мысль, он воплощает ее в образы. Чтобы работал язык, он извлекает из него всю его музыкальную мощь. Мысль — Образ — Музыка — вот идеальная тройственность, к которой стремится поэт.

1957

[ПОЧЕМУ Я НЕ ПЕССИМИСТ]

Слово есть средство человеческого общения. Слово рисует в человеческом сознании мир внешний и мир внутренний в одинаковой степени. С помощью слова я обращаюсь к людям. Слово вне человеческого общения теряет свой смысл, оно делается необязательным.

Я — человек, часть мира, его произведение. Я — мысль природы и ее разум. Я — часть человеческого общества, его единица. С моей помощью и природа и человечество преобразуют самих себя, совершенствуются, улучшаются. Но так же, как разум еще не постиг всех тайн микрокосма, он и в области макрокосма еще только талантливое дитя, делающее свои первые удивительные открытия.

Я, поэт, живу в мире очаровательных тайн. Они окружают меня всюду. Растения во всем их многообразии — эта трава, эти цветы, эти деревья — могущественное царство первобытной жизни, основа всего живущего, мои братья, питающие меня и плотью своей, и воздухом, — все они живут рядом со мной. Разве я могу отказаться от родства с ними? Изменчивость растительного пейзажа, сочетание листвы и ветвей, игра солнца на плодах земли — это улыбка на лице моего друга, связанного со мной узами кровного родства.

Косноязычный мир животных, человеческие глаза лошадей и собак, младенческие разговоры птиц, героический рев зверя напоминают мне мой вчерашний день. Разве я могу забыть о нем?

Множество человеческих лиц, каждое из которых — живое зеркало внутренней жизни, тончайший инструмент души, полной тайн, — что может быть привлекательней постоянного общения с ними, наблюдения, дружеского сообщества?

Невидимые глазу величественные здания мысли, которые, подобно деятельным призракам, высятся над жизнью

человеческого мира, воодушевляют меня, укрепляют во мне веру в человека. Усилия лучшей части человечества, которое борется с болезнями рода людского, борется с безумием братоубийственных войн, с порабощением одного человека другим человеком, мужественно проникает в тайники природы и преобразует ее — все это знаменует новый, лучший этап мировой жизни со времен ее возникновения. Многосложный и многообразный мир со всеми его победами и поражениями, с его радостями и печалями, трагедиями и фарсами окружает меня, и сам я — одна из деятельных его частиц. Моя деятельность — мое художественное слово.

Путешествуя в мире очаровательных тайн, истинный художник снимает с вещей и явлений пленку повседневности и говорит своему читателю:

— То, что ты привык видеть ежедневно, то, по чему ты скользишь равнодушным и привычным *взором*, — на самом деле не обыденно, не буднично, но полно неизъяснимой прелести, большого внутреннего содержания, и в этом смысле — таинственно. Вот я снимаю пленку с твоих глаз: смотри на мир, работай в нем и радуйся, что ты — человек!

Вот почему я не пессимист.

1957

* * *

Литература должна служить народу, это верно, но писатель должен прийти к этой мысли сам, и притом каждый своим собственным путем, преодолев на опыте собственные ошибки и заблуждения. Когда придет время зрелости, эти ошибки и заблуждения пойдут ему на пользу, к ним он уже не возвратится, они не будут казаться ему тем запретным, к которому притягивает человека даже простое любопытство.

10.VII.58

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее трехтомное Собрание сочинений Н. А. Заболоцкого является наиболее полным изданием, объединяющим его оригинальные стихи и поэмы, переводы, автобиографическую прозу, статьи и заметки о литературе и переводческой работе. В первый том вошли оригинальные произведения поэта, а второй и третий тома составили его переводы и письма. При определении структуры издания составители опирались на проект четырехтомного Собрания сочинений, подготовленный И. Заболоцким в 1957 г. и хранящийся в архиве поэта (авторская машинопись с его пометами):

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ
СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ. Книга первая. СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ: Белая ночь, Красная Бавария, Футбол, Офорт, Болезнь, Игра в снежки, Часовой, Новый Быт, Движение, На рынке, Ивановы, Свадьба, Фокстрот, Пекарня, Рыбная лавка, Обводный канал, Бродячие музыканты, На лестницах, Купальщики, Незрелость, Народный Дом, Самовар, На даче, Начало осени, Цирк, Лицо коня, В жилищах наших, Прогулка, Змеи, Искушение, Меркнут знаки Зодиака, Искусство, Вопросы к морю, Время, Испытание воли, Поэма дождя, Отдых, Птицы, Человек в воде, Звезды, розы и квадраты, Царица мух, Предостережение, Подводный город, Школа Жуков, Отдыхающие крестьяне, Битва слонов. ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (поэма), БЕЗУМНЫЙ ВОЛК (поэма), ДЕРЕВЬЯ (поэма). Многие тексты с поправками против первых публикаций.

Книга вторая. СТИХОТВОРЕНИЯ. Сюда войдут 64 стихотворения, принятых для книги Гослитиздата 1957 г. К этим стихам в

хронологическом порядке прибавить 20 стихотворений разных лет (см. отдельную тетрадь, а также 20 стихотворений 1957 г., собранные в другой отдельной тетради) и СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ. (Помета, автограф: 150 стих, и 3 поэмы и СЛОВО.)

ТОМ ВТОРОЙ. ГРУЗИНСКАЯ ПОЭЗИЯ. ПЕРЕВОДЫ. Шота Руставели. ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ. Изд. Гослитиздата, 1957. Давид Гурамишвили. ДАВИТИАНИ. Изд. Гослитиздата, 1955.

ТОМ ТРЕТИЙ. ГРУЗИНСКАЯ ПОЭЗИЯ. ПЕРЕВОДЫ. Григ. Орбелиани. СТИХОТВОРЕНИЯ. Изд. Гослитиздата, 1949. Илья Чавчавадзе. СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. Изд. Гослитиздата, 1950. Акакий Церетели. СТИХОТВОРЕНИЯ. Изд. Детгиза, 1953. Важа Пшавела. СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ. По изд. Б-ки поэта. (На полях помета, автограф: «Эти томы сейчас изданы в «Заре Востока». Текст проверен и исправлен. Н. Заболоцкий. 7 апр. 1958».)

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ. Дополнительный. Сюда по усмотрению редакции могут войти переводы немецких классиков, грузинских советских поэтов, украинских (Леся Украинка, М. Бажан), венгерских (Арань, Гидаш), узбекских и таджикских. Нужно дать только лучшие переводы.

В первом томе до 10 тыс. строк, во втором и третьем ок. 27 тыс. «Н. Заболоцкий» (автограф).

По оглавлению первой книги первого тома этого проекта Собрания в начале 1958 г. Н. Заболоцкий составил сборник «Столбцы», куда, кроме 17 переработанных стихотворений из книги 1929 г., вошли 29 стихотворений разных лет, кончая 1933 г. Этот машинописный сборник, переплетенный в кожаный переплет, привезенный из Венеции, Н. А. Заболоцкий именовал в завещании «Венецианской книжкой». Осенью 1958 г. поэт проектировал собрание своих стихотворений и составил его оглавление, а незадолго до кончины специально указал источники текстов в особом рукописном завещании об издании своих сочинений: «Внимание. Это должна быть итоговая рукопись полного собрания стихов и поэм. Я успел перепечатать только поэмы и часть стихотворений. Название:

Н. Заболоцкий. Столбцы и поэмы. Стихотворения.

Делится на две части:

Часть первая. Столбцы и поэмы (1926—1933).

Часть вторая. Стихотворения (1932—1958).

Следует допечатать.

Все Столбцы по венецианской книжке. Там все тексты в порядке. Заполнить «Стихотворения» по оглавлению, которое лежит в черном бюваре с застежкой. В тетрадях этого бювара найдутся все тексты, перечисленные в оглавлении. Таким образом соста-

вится полная рукопись столбцов, поэм и стихотворений, Стихов примерно 170 и поэм 3. В конце рукописи надо сделать следующее примечание.

Примечание. Эта рукопись включает в себя полное собрание моих стихотворений и поэм, установленное мной в 1958 году. Все другие стихотворения, когда-либо написанные и напечатанные мной, я считаю или случайными, или неудачными. Включать их в мою книгу не нужно. Тексты настоящей рукописи проверены, исправлены и установлены окончательно; прежде публиковавшиеся варианты многих стихов следует заменить текстами, приведенными здесь.

Н. Заболоцкий. 6 октября 1958 года. Москва».

На основе этого документа (точно следуя списку и расположению по разделам, а также указаниям об источниках текстов) составлена машинопись, именуемая далее «Свод 1958». Сюда вошли 175 стихотворений (считая каждую часть «Рубрука в Монголии» за отдельное стихотворение) и три поэмы. Из них при жизни поэта не публиковались 66 стихотворений и две поэмы.

Следует иметь в виду, что при жизни И. Заболоцкий неоднократно проектировал и составлял рукописные и машинописные сборники своих произведений. Назовем лишь те из них, которые сохранились в архиве поэта или о которых есть свидетельства современников.

1928 год — рукописный сборник «Арарат» (сохранился в архиве поэта не полностью).

1929 год — «Ночные беседы» (не сохранился, есть свидетельство Н. Л. Степанова. См. статью Н. Степанова «В защиту изобретательности», хранящуюся в ИРЛИ, ф. 109, № 369, л. 17—18).

1932 год — «Стихотворения 1926—1932» (сб. был подготовлен к печати, сохранились корректуры. Один экз. в архиве поэта, другой — ИРЛИ, ф. 630, № 69. В корректуре, хранящейся в ИРЛИ, листы не полностью, но с добавлением 4 стихотворений).

1936 год — сборник «Стихотворения и поэмы 1926—1936». Он представлял собою машинописную книгу в красном переплете. Составляя Свод 1948 г., Н. Заболоцкий переделал этот сборник. Часть стихотворений сохранил, некоторые вырезал и вклеил новые. Многие — заново отредактировал (правка — автограф). Сохранившиеся листы книги 1936 года позволяют отслоить тексты 1936 и 1948 годов. Свод 1948 г. сохранил название «Стихотворения и поэмы» и имеет разделы: книга первая — «Столбцы», часть первая и вторая, и поэмы; книга вторая — «Родина» и «Времена года».

Собранию 1948 г. предпослано примечание: «От автора. В этой книге собраны мои стихотворения и поэмы, написанные в

промежуток времени с 1926 по 1948 год. Часть их печаталась в разных изданиях, другая часть осталась в рукописях. Почти все ранее печатавшиеся стихи даны здесь в своей первоначальной редакции, и лишь некоторые переработаны заново. Текст этой книги следует считать окончательным и единственно правильным для издания. «*Н. Заболоцкий.* Март, 1948. Москва». (Сохранился в архиве Е. Л. Шварца. После его смерти Е. И. Шварц передала рукопись в архив поэта.) Второй экземпляр этого собрания хранился у Н. Л. Степанова. Н. Заболоцкий, живя по соседству, неоднократно «чистил» книгу, дополнял ее вновь написанными стихотворениями. Поэтому оба эти сборника, имея близкое по смыслу «примечание», отличаются по составу.

В 1952 г. Н. Заболоцкий заново пересоставил собрание, куда из 101 стихотворения Свода 1948 г. включил 93, причем некоторые переработал и исправил, добавил новые. Собрание представляет машинописную книгу в кожаном переплете, тоже озаглавленную «Стихотворения и поэмы». Разделы: Столбцы. Книга прогулок. Торжество Земледелия. Безумный Волк. Деревья. Родина. Книга дубрав. Слово о полку Игореве. В конце книги авторская помета: «Текст правилен. *Н. Заболоцкий.* Сентябрь 1952 г.». (Хранится в архиве поэта.) Позднее книгу пополнили 25 стихотворений 1952—1955 годов. Некоторые из них отредактированы в 1956 году для издания сб. «Стихотворения» (М., Гослитиздат, 1957), некоторые позднее. Точно установить дату исправлений нет возможности, поэтому в примечаниях далее эта правка датируется 1956—1957 гг. Тогда же были изменены и разделы: Столбцы. Торжество Земледелия. Безумный Волк. Деревья. Стихотворения. Слово о полку Игореве.

Поскольку авторская воля по поводу состава и текстологии изданий поэзии и переводов Н. Заболоцкого выражена столь четко и подробно, то перед издательствами встает вопрос о правомочности нарушения воли поэта. Составляя каждый новый рукописный или машинописный свод своих произведений, Н. Заболоцкий из состава предыдущего собрания исключал некоторые стихотворения, объединяя выдержавшие его строгий суд произведения с вновь написанными в новый сборник. Таким образом, проектируя свое четырехтомное Собрание и Свод 1958 г., поэт оставил за их пределами многие свои стихотворения (в том числе стихи для детей и шуточные) и все прозаические произведения. Теперь необходимо более полное издание его творческого наследия.

«Я думаю, — пишет по этому поводу Д. Самойлов, — что живые в этом вопросе не должны полностью считаться с поэтом. Когда он умер, нужно издавать все, что осталось. Насколько меньше было бы Пушкина, если бы пропали для вас его заметки, строки,

неоконченные стихи — все, что осталось помимо «достроенного дома». Но достоинство поэта в том и заключается, что он желает оставить дом достроенным, таким, как он его задумал сам. А потомки из оставшегося материала пусть построят еще один дом, или пристройку. И поэт в целом есть эти два дома» («Воспоминания о Заболоцком». М., «Советский писатель», 1977, с. 305).

Н. А. Заболоцкий, конечно, осознавал, что писателю, вошедшему в литературу, со временем невозможно избежать издания всех его произведений, но он полагал, что и в этом случае при составлении собрания сочинений непременно следует соблюдать состав и порядок расположения произведений, которые автор определил сам. В его библиотеке стояло Собрание сочинений А. П. Чехова под редакцией А. В. Луначарского и Д. С. Балухатого (М., ГИХЛ, 1930). Отдавая должное научному аппарату издания, он, однако, считал, что составители не вправе были разрушать единое целое авторского замысла, выраженного Чеховым в Собрании 1901 г. Не следовало, по его мнению, располагать произведения в хронологическом порядке, смешивая включенное автором в его собрание с оставленным им за бортом, — надо было это четко разграничить, поместив в разные разделы.

Поэтому, следуя воле поэта, в первом томе настоящего издания сначала идут две книги, или две части, как замыслил Н. Заболоцкий в проекте Собрания, а потом, третьей книгой, даны стихотворения разных лет, не включенные автором в основное Собрание, четвертой книгой идет автобиографическая проза, статьи и заметки. Перевод «Слова о полку Игореве», по соображениям объема, пришлось перенести во второй том, куда вошли также переводы из сербского эпоса, из старых немецких поэтов, переводы из украинской, таджикской, осетинской, венгерской, итальянской поэзии, часть переводов грузинской классической поэзии. Третий том составили переводы Важа Пшавела и поэтов Советской Грузии, а также часть его переписки.

Третья книга первого тома, составленная из произведений, по каким-либо причинам не включенных автором в основное Собрание, открывается «Столбцами» 1929 г. Стихотворения, составившие первую книгу поэта, неоднократно позднее подвергались авторской переработке. В Свод 1958 г. Н. Заболоцкий включил 17 из 22 стихотворений, причем из 1147 стихотворных строк 466 было изменено или снято, изменен был и первоначальный порядок: добавленные стихи перемежались с прежними. Однако интерес к «Столбцам» 1929 г. не ослабевает и сейчас.

Н. Заболоцкий придавал книге особое значение. И. М. Синельников вспоминает, что поэт говорил ему в 1928 г.: «Надо писать не отдельные стихотворения, а целую книгу. Тогда все становится

на свое место» («Молодой Заболоцкий. Из воспоминаний. — Журн. «Памир», 1982, № 1). «Столбцы» и была такой целой книгой, которой Н. Заболоцкий вошел в литературу. В третьем томе публикуется письмо Н. Заболоцкого к художнику Л. А. Юдину, также свидетельствующее о той роли, которую отводил поэт книге. «Столбцами» 1929 г. и открывается третья книга. Далее следуют в хронологическом порядке другие стихи, оставшиеся за пределами Свода 1958 г.

С 1927—1928 гг. Н. Заболоцкий активно участвовал в создании молодой советской литературы для детей — писал стихи, рассказы, повести. Заметное место в творческой биографии поэта занимают его пересказы-переводы и обработки произведений классической мировой литературы для детей: «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера. Пересказ «Гулливера у великанов» Дж. Свифта вышел одним изданием, но и он сыграл значительную роль. Современный исследователь творчества Дж. Свифта В. С. Муравьев пишет: «Это поразительная и в своем роде гениальная работа. Заболоцкий сохранил первое лицо рассказчика и сумел упростить язык в нужном направлении, не внося в него элементов чуждого подлиннику стиля... У Заболоцкого ребенок не просто слушает сказку о Гулливере, а играет вместе с ним, на его месте — т. е. проделывает то самое, что взрослый читатель на своем уровне и в своих масштабах. Происходит настоящее чудо — не «Гулливер для детей», а «Гулливер — ребенок». Это пока уникальный случай во всей многотрудной истории попыток отдать «Путешествие Гулливера» в детское ведение» («Путешествие с Гулливером», М., «Книга», 1972). Эта характеристика может быть отнесена ко всем произведениям поэта для детского чтения.

Особое место в поэтической биографии Заболоцкого занимают шуточные стихи, которые он сочинял к торжественным датам близких и друзей или просто чтобы повеселить себя и слушателей. Писались они в разные периоды жизни, органически примыкая к основному поэтическому руслу творчества. Они разнообразны по стилю и жанрам — здесь и шуточные письма, и послания, и басни. Поэт не придавал им серьезного значения, называл стишками и многие уничтожил, но кое-что сохранил. В архиве поэта хранится рукописный сборничек «Ксении» 1931 г., состоящий из 11 стихотворений. Отдельные шуточные стихи и послания, сохранившиеся в архиве поэта или у его друзей, воспроизводятся в томе.

Последняя, четвертая, книга первого тома включает в себя автобиографическую и критическую прозу поэта.

Тексты настоящего издания выверены по следующим источникам.

1. Автографы и копии, указанные Н. Заболоцким в завещании от 8 октября 1958 г., по которым составлен канонический машинописный Свод 1958 г.

2. Рукописный сборник «Арарат», составленный Н. Заболоцким в 1928 г. (в архиве поэта сохранилось 18 стр.).

3. Собрания, составленные Н. Заболоцким в 1936, 1948 и 1952 гг.

4. Автографы и копии: а) хранящиеся в архиве поэта, принадлежащем семье поэта, б) в государственных архивах, в) в архивах разных лиц.

5. Корректура сборника «Стихотворения 1926—1932» (хранится в архиве поэта). То же в ИРЛИ, ф. 630, № 69 (листы не полностью, но с добавлением 4 стихотворений).

6. Прижизненные издания: «Столбцы» (Изд-во писателей в Ленинграде, 1929), «Вторая книга» (Л., Гослитиздат, 1937), «Стихотворения» (М., «Советский писатель», 1948), «Стихотворения» (М., Гослитиздат, 1957).

7. Периодическая печать.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

«Арарат» — рукописный сборник Н. Заболоцкого 1928 г.

«Столбцы» — Н. Заболоцкий. Столбцы, Изд-во писателей в *Ле*нинграде, 1929.

Корр. 1933 — корректура сборника «Стихотворения 1926—1932», подготовленного Изд-вом писателей в Ленинграде в 1933 г.

Свод 1936 — рукописное собрание стихотворений и поэм, подготовленное Н. Заболоцким в 1936 г.

«Вторая книга» — Н. Заболоцкий. Вторая книга. Л., Гослитиздат, 1937.

Свод 1948 — рукописное собрание стихотворений и поэм, подготовленное в 1948 г.

Свод 1952 — то же, подготовлен в 1952 г.

Свод 1958 — то же, подготовлен в 1958 г.

«Стих.», 1948 — Н. Заболоцкий. Стихотворения. М., «Советский писатель», 1948.

«Стих.», 1957 — Н. Заболоцкий. Стихотворения, М., Гослитиздат, 1957.

«Стих.», 1959 — Н. Заболоцкий. Стихотворения («Библиотека советской поэзии»). М., Гослитиздат, 1959.

«Б. п.», 1965 — Н. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы («Библиотека поэта», Большая серия), М.—Л., «Советский писатель», 1965.

«Избр.», 1960 — Н. Заболоцкий. Избранное. М., «Советский писатель» 1960.

«Избр.», т. 1 и 2 — Н. Заболоцкий. Избранные произведения в двух томах. М., «Художественная литература», 1972.

«Лит. Москва», 1 и 2 — «Литературная Москва». Литературно-художественный сборник московских писателей. Вып. 1 и 2. М., 1956.

«Тар. стр.» — «Тарусские страницы». Литературно-художественный и иллюстрированный сборник. Калуга, «Книжное изд-во», 1961.

«Восп. о З.» — сборник «Воспоминания о Заболоцком». М., «Советский писатель», 1977.

А. Македонов, 1968 — А. Македонов. Николай Заболоцкий. Жизнь. Поэзия. Метаморфозы. Л., «Советский писатель», 1968.

А. Турков, 1981 — А. Турков. Николай Заболоцкий. Жизнь и творчество. М., «Просвещение», 1981.

ст. — стих.

стихотв. — стихотворение.

Угловыми скобками отмечены даты по первой публикации.

КНИГА ПЕРВАЯ.
СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ
1926—1933

●

Временные границы первого этапа творчества, важнейшие произведения которого собраны в этом разделе, единодушно определяются как исследователями, так и самим поэтом: 1926—1933 гг. Однако окончательный состав первой книги и ее структура формировались поэтом исподволь, на протяжении всей жизни. В письме к М. Касьянову 10.IX.1932 Н. Заболоцкий сообщает: «...Но этой зимой я надеюсь выпустить первый том, в который «Столбцы» целиком войдут. Книга уже принята к печати, и, если не будет никаких дальнейших осложнений, все будет хорошо» (см. т. 3, наст. изд.). В книгу, которая готовилась в 1932—1933 гг. и осталась в корректуре, Заболоцкий включил «Столбцы», кроме «Черкешенки» дополнив ее 9 стихотв.: «Болезнь», «Игра в снежки», «Рыбная лавка», «Бессмертие» («Сад пыток», «На лестницах»), «Самовар», «На даче», «Человек в воде», «Начало осени», «Цирк». В Книге также должен был быть новый раздел — «Деревья», куда входили «Прогулка», «Змеи», «Меркнут знаки Зодиака», «Отдых»,

«Звезды, розы и квадраты», «Лицо коня», «Деревья» («В жилищах наших»), «Обед», «Семейство художника» («Утренняя песня»), «Лодейников», «Осень», «Венчание плодами», «Битва слонов», «Искусство», «Школа Жуков», и две поэмы — «Безумный Волк» и «Торжество Земледелия». Уже в *Корр. 1933,* под воздействием критики, поэт начинает доработку — снимает отдельные стихотв., вносит правку, производит сокращения и перестановки. Взамен снятых он добавляет 3 стихотв. в первый раздел («Сохранение здоровья», «Мещане» («Время»), «Падение Петровой») и одно — во второй («Осенние приметы» («Осень»). Отказывается он и от названий разделов («Столбцы» и «Деревья»), сохранив членение на две части. Позднее, при составлении *Свода 1936* и подготовке «Второй книги», вышедшей в 1937 г., Н. Заболоцкий не только продолжает доработку текстов, но и постепенно вычленяет произв., знаменующие новый этап. 12 ноября 1937 г. в письме к В. В. Гольцеву Заболоцкий пишет о «Второй книге»: «...Она еще не целая: торчат концы старого, видны ростки нового». Такие колебания понятны, тем более что книги поэта выходят редко. Очевидно, к 1948 г. окончательный состав первой книги в основном уже сложился. Характерно, что к этому времени все стихотв. 1926—1933 гг. названы «Столбцами», сохранив разделение на две части. Впрочем, у поэта еще продолжались, видимо, колебания, и в *Своде 1952* вторая часть «Столбцов» первоначально называлась «Книгой прогулок». И только в начале 1958 г. он приходит к окончательному решению разделить «Столбцы» на «Городские» и «Смешанные» (см. «Венецианскую книжку»). Некоторые исследователи считают, что Н. Заболоцкий видел в термине «столбцы» своеобразное обозначение жанра своих ранних стихотворений (см.: Г. В. Филиппов. Поэзия Н. Заболоцкого. Этапы художественного развития. Диссертация. Л., 1968, с. 65, 89). Александр Цибулевский делает еще более смелый вывод: «Ведь «Столбцы» — не преходящее, как много может прочувствоваться под углом их зрения — достаточно выйти на улицу и оглядеться. В «Столбцах» есть «вечное и жизни и поэзии — это скорее наименование не цикла, книги или периода творчества, а целого направления, как «символизм» или «акмеизм» (Александр Цибулевский. Русские переводы поэм Важи Пшавелы... Тбилиси, «Мецниереба», 1974, с. 70—71). И. М. Синельников вспоминает, как в феврале 1928 г. Заболоцкий объяснял название «Столбцы»: «В это слово я вкладываю понятие дисциплины, порядка — всего, что противостоит стихии мещанства» («Памир», 1982, № 1, с. 61). *Корр. 1933, Своды 1936—1948, 1952, 1958,* сохранившиеся в архиве поэта, позволяют проследить поэтапно формирование первой книги II. Заболоцкого. В окончат. ред. «Столбцы» впервые опубликованы в *«Б. п.», 1965.*

ГОРОДСКИЕ СТОЛБЦЫ

Белая ночь. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред. *Невка* — рукав дельты р. Невы. *Елагин* — один из островов в дельте Невы.

Вечерний бар. — Впервые под назв. «Красная Бавария» (название пивной в Ленинграде 20-х гг., по одноименному пивоваренному заводу) в сб. Ленинградского союза поэтов «Костер», Л., 1927, в первонач. ред. *Конклав* — собрание кардиналов, избирающее римского папу. *Пикадилли* — прежнее название кинотеатра на Невском (ныне «Аврора»). *Над башней рвался шар крылатый и имя «Зингер» возносил.* — О доме на Невском (ныне «Дом книги»), увенчанном шаром, имеющим вид глобуса, поддерживаемого кариатидами, на котором было написано название фирмы швейных машин «Зингер».

Футбол. — Впервые: «Звезда», 1927, № 12, в первонач. ред.

Офорт. — Впервые: *«Столбцы».* В сб. *«Арарат»* дат. 25.I.1927.

Болезнь. — Впервые: *«Б. п.», 1965.*

Игра в снежки. — Впервые: литер. приложение к «Ленинградской правде», 1928, № 11, в первонач. ред. (См. *«Избр.»,* т. 1, с. 367.)

Часовой. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред. В сб. *«Арарат»* датировано 26.II.1927. В 1926—1927 гг. Н. Заболоцкий был на военной службе. И. М. Синельников вспоминает: «...он прочитал стихотворение «Часовой», сочиненное... на дежурстве у знамени полка. — Это будет программное стихотворение в книге, которую я сейчас готовлю». (И. М. Синельников. Молодой Заболоцкий. — «Памир», 1982, № 1, с. 61.)

Новый Быт. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред. *Свечка-пятерик.* — Пятериковой именовались церковные свечи весом в одну пятую фунта.

Движение. — Впервые: *«Столбцы».* В сб. *«Арарат»* датировано 6.XII.1927.

На рынке. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред. В сб. *«Арарат»* датировано 18.XII.1927.

Ивановы. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред. В сб. *«Арарат»* под назв. «Размышления на улице», датировано 29.I.1928.

Свадьба. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред. Поводом к написанию стихотв. явились обстоятельства свадьбы К. Н. Боголюбова. Стихотв. Заболоцкий прерывал дружеские отношения с ним.

Фокстрот. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред.

Пекарня. — Впервые: *«Столбцы»* первонач. ред.

Рыбная лавка. — Впервые: «Звезда», 1929, № 8, с незначительными разночтениями. *Архитриклин* — распорядитель пира.

Обводный канал. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред.

Бродячие музыканты. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред. *Где сквозь мансардное окошко...* — В 1925—1927 гг. Н. Заболоцкий вместе со своими земляками Н. Сбоевым и Н. Резвых жил в мансарде на ул. Красных Зорь (ныне Кировский пр-т) в д. № 73/75 в Ленинграде. Окно мансарды выходило на крышу (подробнее см. *«Восп. о З.»,* с. 42—46).

На лестницах. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* В *Корр. 1933* под назв. «Бессмертие», в *Своде 1948* — «Сад пыток», окончательно назв. определилось в *Своде 1958.*

Купальщики. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред.

Незрелость. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред.

Народный Дом. — Впервые: *«Столбцы»* в первонач. ред. *Народным Домом* именовали законченное в 1901 г. клубное театральное здание с примыкавшим к нему парком со строениями увеселительного типа (карусель, американские горы, комната кривых зеркал и т. п.). А. Турков, комментируя стихотв., напоминает о статье А. Блока «О репертуаре коммунальных и государственных театров», 1918 г. и заметке С. Дрейдена («Ленинградская правда», 1926, 5 июня).

Самовар. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Связано с замыслом, возникшим в 1929—1930 гг. на Ленингр. фабрике совкино, создать фильм на тему о мещанском быте и о борьбе с ним.

На даче. — Впервые: *«Б. п.», 1965.*

Начало осени. — Впервые: «Звезда», 1929, № 8.

Цирк. — Впервые: «Звезда», 1929, № 2.

СМЕШАННЫЕ СТОЛБЦЫ

Лицо коня. — Впервые: *«Тар. стр.».*

В жилищах наших. — Впервые: «День поэзии», М., 1965. В *Корр. 1933* и в *Своде 1936* под назв. «Деревья»; там вместо 13—15-го ст. было:

Так в равнодушном поле пустоты
Мерцают нам удобные плоды.
Где завязь опоясывает венчик —
колышется пугливый огонек,
качается, мигает и маячит,
в прозрачной мякоти блестит,
а дерево, как роженица, стонет
и точно голое — поет вверху.

Нам непонятна эта глубина...

П р о г у л к а. — Впервые: «Лит. современник», 1937, № 3. Первонач. вариант, под назв. «Начало мысли», приводился Н. Степановым во фрагменте, не вошедшем в статью «В защиту изобретательства», напечатанную в «Звезде», 1929, № 6 (хранится в ИРЛИ, ф. 109, № 369, л. 17—18), как отрывок из «Третьей беседы» рукописного сб. Н. Заболоцкого «Ночные беседы». В этом варианте ст. 21—28 читались:

Бык седые слезы точит,
стоит пышный, чуть живой.
И не так ли на истоке
мысли судорожных рек
плачет пышный и жестокий —
меч пространства — человек?
Перед ним сияют воды,
льется сумрак голубой,
и веселая природа
бьет о камень гробовой.

(Этот отрывок обнаружил в архиве Г. В. Филиппов. См. его диссертацию «Поэзия Н. Заболоцкого», Л., 1968.)

З м е и. — Впервые: *«Тар. стр.».*

И с к у ш е н и е. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* В архиве поэта А. Сергеева хранится визированный в 1956 г. Н. Заболоцким первонач. вариант начала и конца этого стихотв., делившегося на две главки. Первая гл. начиналась стихами, за которыми следовали стихи окончательного варианта после 32-го ст. и до конца:

I

Мы не выдумали смех,
он приходит словно враг,
ум его как бы орех,
не расколотый никак.
Над высокой чашкой горя,
где девичий слышен плач,
он сидит, шутя и споря
о причинах неудач:
— Положи свои ладошки,
дева, к сердцу положи,
кос червонные дорожки
на затылке завяжи.
Посмотри — мужчины ходят
одиноки по углам,
милой девы не находят —
как же это. Стыд и срам.
Полно плакать. Тише, тише.
Надевай чулок повыше,
отворяй скорее дверь,
будут радости, поверь.

Дева плачет и тоскует,
из кубышки воду пьет,
на ладошки дева дует
и ответа не дает.
А веселый искуситель
продолжает: — Ей-же-ей,
брось печальную обитель
косы рыжие развей,
начинай плясать на лавке,
расстегни свои булавки,
будь, как ведьма, хороша,
в пляске медленно кружа.

Дева быстро расстегнула
и булавки побросала,
встала милая со стула,
вся распухшая, как сало.
Стали мыши ее есть.
Смех смеялся: так и есть —
начинает только лесть,
месть кончает. Браво, месть!

В первонач. ред.:

ст. 42: Смех над холмиком летает.

Вторая гл. начиналась ст. с 1 по 18 окончат. ред., а затем было:

— Смерть, не трогай человека,
не хули прекрасный свет, —
отвечает ей калека,
бедным рубищем одет.
— В каземате у природы
бедный узник — я стою,
размышляю о погоде,
стены заступом дроблю.
А за толстыми стенами,
чувству внятный не вполне,
кто-то тихими шагами
приближается ко мне.
Друг далекий, друг прекрасный,
зову пленника внемли:
пусть рассыплется ужасный
каземат моей земли.
Все, что скрыто, позабыто,
недоступно никому,
пусть появится открыто
удивленному уму.
И над трупом всей природы,
над могилой жития
человек — дитя свободы —
бросит заступ бытия. —
Так сказав, старик поникнул,
напрягая чуткий слух,

и в ответ калеке крикнул
первый утренний петух.
Вздрогнув, выпрямились реки,
лес качнулся тяжело,
и над рубищем калеки
солнце красное взошло.

Меркнут знаки Зодиака. — Впервые: «Звезда», 1933, № 2—3. В письме к Е. В. Клыковой 29 октября 1929 г. вариант ст. 40—44:

Разум мой, уродцы эти
непонятны для людей.
В тесном поприще природы,
в нищете, в грязи, в пыли
что ж ты бьешься, царь свободы,
беспокойный прах земли?

Там же Н. Заболоцкий писал: «Первые два куска читать монотонно, как бы в полусне. Следующие два кусочка — о Разуме — с чувством, с подъемом, чуть-чуть риторично. А последний кусочек — опять монотонно-монотонно — тут успокоение, примирение, убаюкиванье, засыпанье больного человека».

Искусство. — Впервые: *«Тар. стр.».*

Вопросы к морю. — Впервые: «Лит. Грузия», 1962, № 6.

Время. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Вариант (автограф) под назв. «Мещане», датированный 1932 г., был добавлен в *Корр. 1933* (См. *«Избр.»,* т. 1, с. 375).

В *Своде 1936* стихотв. названо «Пир четырех друзей». В воспоминаниях Т. А. Липавской цитируется письмо Л. С. Липавского: «Заболоцкий, Хармс, Олейников и я решили встречаться каждое воскресенье» (*«Восп. о З.»,* с. 51). Эти встречи Липавский назвал «Клубом малограмотных ученых». В стихотв. шутливо изображено заседание клуба. Вероятно: Ираклий — Олейников, Тихон — Липавский, Лев — Хармс, Фома — Заболоцкий. (См. примеч. с. 625, 640.)

Испытание воли. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Героями этого диалога являются Евгений Львович Шварц (1896—1958), драматург, друг Н. Заболоцкого, и сам поэт. Шварц был любителем и собирателем старинного фарфора.

Поэма дождя. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* В *Своде 1948* — под назв. «Дождь» в первонач. ред., где были строки:

Системой выдуманных знаков
Весь мир вертится, одинаков,
Не мир — а бешеный самум,
Изображенье наших дум.
Чертеж недолгих размышлений,
Рисунок бедного ума,
Начало горьких преступлении
И долговечная тюрьма.

Отдых. — Впервые: *«Вторая книга».*

Птицы. — Впервые: *«Б. п.», 1965.*

Человек в воде. — Впервые: *«Б. п.», 1965.*

Звезды, розы и квадраты. — Впервые: «День поэзии», М., 1965.

Царица мух. — Впервые: *«Тар. стр.».* В бумагах Н. Заболоцкого сохранилась запись, озаглавленная «Царица мух». «Знаменитый Агриппа Ноттингеймский царицей мух называет какую-то таинственную муху, величиной с крупного шмеля, которая «любит садиться на водяное растение, называемое «fluteau plantaginé», и с помощью которой индусы якобы отыскивают клады на своей родине. «Когда вы будете иметь в своем распоряжении одну из таких мух, — пишет Агриппа, — посадите ее в прозрачный ящичек. Ее помещение надо освежать два раза в день и давать ей растение, на котором ее поймали. Она может жить при таких условиях почти месяц. Чтобы узнать направление скрытых на известной глубине сокровищ, надо, чтобы стояла хорошо установившаяся погода. Тогда, взяв ящичек с мухой, отправляйтесь в путь, постоянно посматривая и подмечая ее движения. Когда вы будете находиться над местом, содержащим золото или серебро, муха замахает крыльями, и чем ближе вы будете, тем сильнее будут ее движения. Если в недрах сокрыты драгоценные камни, вы заметите содрогание в лапках и усиках. В том же случае, если там находятся лишь неблагородные металлы, как медь, железо, свинец и пр., муха будет ходить спокойно, но чем быстрее, тем ближе к поверхности они находятся». Нечто похожее на это курьезное предание я слыхал и в русских деревнях». *Пентакль* — от пентаграммы, пятиконечного знака, которому приписывается магическая сила. *Агриппа Ноттингеймский* (или Неттесгеймский) Генрих Корнелий (1486—1535) — немецкий писатель, врач, философ-гуманист.

Предостережение. — Впервые: *«Тар. стр.».* В *Своде 1936* в первонач. ред., где ст. 6—13 читались:

среди пустынных смыслов мы построим дом
и подопрем его могучею колонной
Страдания. Оно одно короной
послужит нам. Страдание в воде —
мы воду воспоем усердными трудами,
Страдание в полуночной звезде —
звезда, как полымя, горит над головами,
Страдание коров и неприглядность птиц...

Подводный город. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* В стихотв. нашла отражение фантастическая теория происхождения народа

майя от населения затонувшей Атлантиды. Картины затонувшего города Посейдон на о. Атлантида созданы по мотивам платоновского диалога «Критий» (см.: Платон. Соч. в 3-х томах, т. 3, ч. I. М., 1971). *На трубе Чимальпопока...* — Чимальпопока (ум. в 1426 г.) — вождь текочеков, одного из племен ацтеков. *В страшном блеске орихалка...* — Согласно описанию Платона, стена вокруг Акрополя, колонны и стены храма Посейдона были покрыты породой, имевшей после золота наибольшую ценность, — орихалком, издававшим огнистое блистание.

Школа Жуков. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* В *Корр. 1933* с подзаголовком «Отрывок из поэмы».

Отдыхающие крестьяне. — Впервые: *«Б. п.», 1965.*

Битва слонов. — Впервые: «Лит. Грузия», 1962, № 6.

ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. ПОЭМА — Пролог и гл. 7 «Торжество Земледелия». — Впервые: «Звезда», 1929, № 10. Поэма полностью впервые: «Звезда», 1933, № 2-3. В архиве поэта можно установить точную хронологию написания поэмы: Пролог — самое начало 1929-го; гл. 1-я — 13 февраля 1929-го; 2-я гл. — 3 марта 1929-го; 3-я гл. — 17 февраля 1930-го; 4-я гл. — 29 сентября 1929-го; 5-я гл. — 1—3 марта 1930-го; 6-я гл. — март — апрель 1930-го; 7-я гл. — самое начало 1929-го.

Важный автокомментарий к поэме содержится в письмах Н. Заболоцкого к К. Э. Циолковскому (1932 г.). По просьбе Заболоцкого ученый прислал ему свои брошюры, изданные в Калуге. В ответном письме К. Циолковскому 18 января 1932 г. Н. Заболоцкий писал: «...Ваши мысли о будущем Земли, человечества, животных и растений глубоко волнуют меня, и они очень близки мне. В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их. Сейчас, после ознакомления с Вашими трудами, мне многое придется передумать заново... Несколько отрывков из моих работ покажут Вам — как я думал и во что верил до сих пор». Далее цитируется значительный отрывок из 5-й гл. поэмы (от ст. 27 до ст. 114). Цитирует Н. Заболоцкий и отрывок из «Школы Жуков» о превращении растений и животных. В заключение: «Скажу только, что в кругу этих тем я живу уже давно. ...В будущем надеюсь писать об этом еще». В письме 7 января 1932 г. к К. Э. Циолковскому есть еще один важный тезис поэта: «...мне кажется, что искусство будущего так тесно сольется с наукой, что уже и теперь пришло для нас время узнать и полюбить лучших наших ученых...» Однако наука, когда она оперирует такими далекими перспективами, неизбежно сливается с утопией. Выступая 28 марта 1936 г. на дискуссии по формализму в Доме писателей им. В. Маяковского в Ленинграде, Н. Заболоцкий говорил уже об утопичности замысла поэмы «Торжество Земледелия»: «В 1929 г., в самом начале кол-

лективизации, я решил написать первую большую вещь и посвятил ее тем грандиозным событиям, которые происходили вокруг меня. Я начал писать смело, непохоже на тот средний безрадостный тон поэтического произведения, который к этому времени определился в нашей литературе. В это время я увлекался Хлебниковым, и его строки:

Я вижу конские свободы
И равноправие коров... —

глубоко поражали меня. Утопическая мысль о раскрепощении животных нравилась мне. Я рассуждал так:

Вместе с социалистической революцией человечество вступает в новую эру существования своего. Вместе с человеком начинается новая жизнь для всей природы, ибо человек неотделим от природы, он есть часть природы, лучшая, передовая ее часть. В борьбе за существование победил он и занял первое место среди своих сородичей — животных. Человек так далеко пошел, что в мыслях стал отделять себя от всей прочей природы, приписал себе божественное начало.

Он мыслил так: я и природа. Я — человек, властелин, с одной стороны; природа, которую я должен себе подчинить, чтобы мне жилось хорошо, — с другой. Такое чувство разобщенности с природой прошло через всю историю человечества и дошло до наших дней, до XX века, века социальных революций и небывалых достижений точных наук. Теперь дело меняется. Приближается время, когда, по слову Энгельса, люди будут не только чувствовать, но и сознавать свое единство с природой, когда делается невозможным бессмысленное и противоестественное представление о какой-то противоположности между духом и материей, человеком и природой, душой и телом.

На другой же день после всемирной революции, — думал я далее, — человечество не может не заметить, что, уничтожив эксплуатацию в самом себе, оно само является эксплуататором всей остальной «живой» и «мертвой» природы. Человечество, проникнутое духом бесклассового общества, не может не ужаснуться, окинув разумным взглядом свою прошлую борьбу с природой, приводившую к вымиранию целых видов животных и задерживающую до сих пор развитие и усовершенствование многих видов. Человек бесклассового общества, который хищническую эксплуатацию заменил всеобщим творческим трудом и плановостью, не может в будущем не распространить этого принципа на свои отношения с порабощенной природой. Настанет время, когда человек — эксплуататор природы — превратится в человека — организатора природы.

Природа черная, как кузница,
Кто ты — богиня или узница?
Когда бы ты была богиней,
Ты не дружила бы с пустыней.
Когда б ты узницей была,
Давно бы, верно, умерла.
Природа черная, как кузница,
Отныне людям будь союзницей,
Тебя мы вылечим в больнице,
Посадим в школу за букварь,
Чтоб говорить умели птицы
И знали волки календарь;
Чтобы в лесу, саду и школе
Уж по своей, не нашей, воле,
Природа, полная ума,
На нас работала сама.

Вот в кратких чертах та утопическая концепция, которая интересовала меня 6—7 лет тому назад, когда я писал «Торжество Земледелия». Передо мной открывалась грандиозная перспектива переустройства природы, и ключом к этой перспективе была для меня коллективизация деревни, ликвидация кулачества, переход к коллективному землепользованию и высшим формам сельского хозяйства. Об этом я и хотел писать в своей поэме.

Как я теперь понимаю, уже сам замысел поэмы был неблагополучен в том отношении, что соединял воедино реалистические и утопические элементы. Получилось так, что утопический элемент нарушил в моей поэме все реальные пропорции, благодаря чему, в частности, было до некоторой степени смазано отображение классовой борьбы. Недооценка реалистической правды искусства привела к идилличности, к пасторальности поэмы, что шло вразрез с действительностью. Поэтому-то читатель, или по крайней мере часть читателей, восприняла поэму в каком-то ироническом, пародийном плане. Этому восприятию способствовали еще не изжитые формалистические приемы стиха.

А критика? Помогла она автору? Членораздельно и толково объяснила она ему, в чем согрешил он перед читателем?.. Кажется, ни над одним советским поэтом критика не издевалась так, как надо мной. И каковы бы ни были мои литературные грехи, все же подобные статьи и выступления не делают чести новой критике. Автора они еще больше дезориентируют, отталкивают от искусства» (см.: «Лит. Ленинград», 1936, 1 апреля. Сокращенное изложение по живой записи).

Следует помнить, что, как говорил Энгельс, «...формально ложное в области экономики может зато оказаться истинным с точки зрения всемирной истории». Теперь становится очевидно, что в поэзии Заболоцкого «содержался прогноз следующей, научно-

биологической, революции... в «Торжестве Земледелия», гиперболически-условной, отчасти гротесковой поэмы, Заболоцкий не только постулирует, но и поэтически обосновывает возможность осуществления в будущем мечты о новом типе «содружества» человека с животным и растительным миром» (см.: А. В. Македонов. О некоторых аспектах отражения НТР в советской поэзии. — В кн.: «НТР и развитие художественного творчества». Л., «Наука», 1980, с. 112).

Текст поэмы подвергся значительной доработке. В *Корр. 1933* воспроизводится текст первонач. публикации с небольшими изменениями в отдельных ст. и переименована 3-я гл. «Изгнанник» на «Кулак». В *Своде 1936—1948* изменения тоже незначительны. В *Своде 1952* изменены отдельные ст. и сняты в 7-й гл. «Торжество Земледелия» между 8 и 9 ст. 26 строк (см. *«Избр.»,* т. 1, с. 378).

В 1956—1957 гг. текст подвергся значительной переработке. Были изменены отдельные ст. и многие опущены.

Перепечатывая на машинке поэму для *Свода 1958,* Заболоцкий еще раз изменил название 3-й гл. на «Кулак, владыка батраков». У поэта А. Сергеева хранится копия (визированная в 1956 г. Н. Заболоцким) одной из первонач. ред. 1-й и 2-й гл. (См. *«Избр.»,* т. 1, с. 379.)

БЕЗУМНЫЙ ВОЛК. ПОЭМА. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* В *Корр. 1933* с эпиграфом из «Фауста» Гете: «Hör! Es splittern dei Säulen ewig grüner Palaste. *Goethe»* («Слушай! Раскалываются колонны вечнозеленого дворца».) в первонач. ред.

ДЕРЕВЬЯ. ПОЭМА. — Впервые: «Лит. Грузия», 1965, № 11. В бумагах Н. Заболоцкого сохранилась рукопись, относящаяся ко времени написания поэмы: «Примечания к поэме «Деревья»: 1. «Равное весу (земной) коры количество вещества может быть силою размножения создано в ничтожное, не геологическое время — если только этому не препятствует внешняя среда. Холерный вибрион и bacterium coli могут дать эту массу вещества в 1,60—1,75 суток... Один из наиболее медленно размножающихся организмов — слон может дать то же количество вещества в 1300 лет... Конечно, в действительности ни один организм не дает таких количеств». Акад. Вернадский, «Биосфера», с. 47». 2. «Враги твои собственные твои суть мнения, воцарившие в сердце твоем и всеминутно оное мучащии, шепотники, клеветники и противники божии, хулящие непрестанно владычное в мире правление и древнейшие законы обновить покушающиеся, сами себя во тьме и согласников своих вечно мучащии, видя, что правление природы во всем не по бесноватым их желаниям, не по омраченным понятиям, но по высочайшим отца нашего советам вчера и днесь и вовеки свято продолжается. Сии то неразумеюще хулят распо-

ряжение кругов небесных, осуждают качество земель, порочат изваяние премудрой божьей десницы в зверях, деревах, горах, реках и травах; ничем не довольны; по их нещастному и смешному понятию, не надобно в мире ни ночи, ни зимы, ни старости, ни труда, ни голоду, ни жажды, ни болезней, а паче всего смерти; к чему она? Ах, бедное наше знание и понятие!» Г. С. Сковорода, «Разговор о душевном мире». *Сковорода* Григорий Саввич (1722—1794) — великий украинский философ и поэт.

КНИГА ВТОРАЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ
1932—1958

●

Временные рамки второй книги определены поэтом очень широко и достаточно условно. Исследователи творчества, не оспаривая поэта, склонны период с 1945-го по 1958-й рассматривать как самостоятельный (Н. Степанов, А. Турков). В кн. *А. Македонов, 1968* творческий путь поэта делится на четыре этапа, причем исследователь даже вводит метафору и говорит о «четырех» Заболоцких. Согласно его концепции, 1948 г. делит послевоенный период надвое. В диссертации Г. Филиппова («Поэзия Н. Заболоцкого». Л., 1968) деление еще более дробно: автор считает, что с окончанием работы над переводом «Слова» (1945) завершился второй период, с 1946 и по 1956 г., включая сюда и цикл «Последняя любовь», — третий период, а поэзия последних двух лет знаменовала начало нового этапа. Интересно свидетельство Никиты Заболоцкого: «...Творческий путь отца остался незавершенным. Он прервался накануне наступления нового, я бы сказал, синтетического периода творчества Заболоцкого, который вобрал бы в себя все лучшее из периода «Столбцов» и из «классического» периода. В последних стихах и замыслах отца уже намечался характер такого пути» (*«Восп. о З.»,* с. 205). Однако, бесспорна датировка начала периода — 1932 г., причем в 1932 и 1933 гг. еще завершался первый период, а новый — рождался. Новые стихотв. приходится «отслаивать» от стихотв. первой книги. Состав и структура второй книги складывались не так трудно, как первой. По *Своду 1936—1948* видно, что уже в середине 30-х гг. стали намечаться ее контуры: возникло ее первоначальное название — «Стихотворения и поэмы. Книга вторая»; появилось деление на разделы — «Родина» и «Времена года». Однако во «Второй книге» (1937) деления на разделы нет, возможно из-за малого объема, но стихотв. даны не в хронологическом порядке («Прогулка», 1929,

«Отдых», 1930; «Утренняя песня», 1932; «Лодейников», 4932; «Лодейников в саду», 1934; «Венчание плодами», 1932; «Осенние приметы», 1932; «Начало зимы», 1935; «Север», 1936; «Весна в лесу», 1935; «Прощание», 1934; «Вчера о смерти размышляя», 1936; «Бессмертие», 1937; «Засуха», 1936, «Ночной сад», 1936; «Все, что было в душе», 1936; «Горийская симфония», 1936). В послевоенные годы Н. Заболоцкий уточнил и пополнил состав Свода новыми стихотв., сохранив деления на разделы. В сб. *«Стих.», 1948* первоначально были разделы, но позднее, когда по предложению А. Фадеева были сняты «Утро», «Начало зимы», «Метаморфозы», «Засуха», «Уступи мне, скворец, уголок» и «Ночь в Пасанаури» и второй раздел распался, название первого — Родина» — осталось как общий подзаголовок. В сб. вошли 17 стихотв.: «Горийская симфония», «Город в степи», «Великая книга», «Прощание», «Север», «Седов», «Воздушное путешествие», «Храмгэс», «В тайге», «Творцы дорог», «Урал», «Гроза», «Еще заря не встала над селом», «Я трогал листы эвкалипта», «Сагурамо», «Я не ищу гармонии в природе», «Завещание» и «Слово о полку Игореве». В *Своде 1952* опять два раздела — «Родина» и «Книга дубрав». И только, готовя в 1956 г. сб. *«Стих.», 1957,* поэт приходит к окончательному решению. На полях *Свода 1952* сохранилась его помета: «В общем хронологическом порядке с выносом вперед стихотворения «Я не ищу гармонии в природе» (как в кн. 1956 г.)». Снимаются названия разделов и вписано общее название, В последний прижизненный сб. *«Стих.», 1957* вошло 64 оригинальных стихотв., причем 26 из них были во «Второй книге» и в *«Стих.», 1948,* 23 переводных и перевод «Слова о полку Игореве». Как уже говорилось, полный и окончательный состав второй книги содержится в *Своде 1958,* где 127 стихотв., по нему и публикуются здесь все тексты.

Я не ищу гармонии в природе. — Впервые: *«Стих.», 1948.* Н. Заболоцкому переслали письмо читательницы М. Я. Варшавской, где по поводу этого стихотв. говорится: «...тут тот же современный гуманизм, что в «Старике и море» (Хемингуэй). Он не растаять в природе хочет и не подчинить ее себе, это равенство обоих, взаимное уважение и какое-то дружеское руководство ею. Я понимаю, почему это стихотворение помещено первым, оно, действительно, его credo». Н. Заболоцкий комментировал это в письме 20 февраля 1958 г.: «Человек и природа — это единство, и говорить всерьез о каком-то покорении природы может только круглый дуралей и дуалист. Как могу я, человек, покорить природу, если сам я есть не что иное, как ее разум, ее мысль? В нашем быту это выражение «покорение природы» существует лишь как рабочий термин, унаследованный из языка дикарей. Энгельс,

Вернадский, Циолковский хорошо разъяснили нам подлинную суть этого явления. Жаль, что в мою книжку не вошли многие из тех вещей, которые уточняют мой взгляд на эти вещи...» (см.: «Вопросы литературы», 1979, № 11, с. 223), (Речь в письмах идет о сб. *«Стих.», 1957.*)

Осень. — Впервые под назв. «Осенние приметы», «Известия», 1934, 18 ноября.

Венчание плодами. — Впервые: «Лит. современник», 1933, № 1 в первонач. ред. Стихотв. создавалось в 1932 г., когда Н. Заболоцкий был увлечен личностью и трудами К. Э. Циолковского, в известной ему брошюре которого читаем: «Насколько возможно добиться в этом отношении успехов и новых результатов, видно, например, из истории открытий Бербанка. Этот великий человек терпел сначала большие лишения, спал в курятнике и умер бы от истощения, если бы не нашлась добрая женщина, которая поддержала его силы молоком. Путем скрещивания растений и отбора он получил: сливу без косточек, съедобный кактус без колючек... айву с ароматом ананаса, помесь ежевики и малины с плодами 7—8 сантим...» («Растения будущего. Животное космоса. Самозарождение». Калуга, 1929, с. 4). В 1948 г. текст стихотв. подвергся существенной правке и в окончат. ред. в *«Стих.», 1957.* Первонач. читалось:

ст. 1—2:

Плоды Мичурина и кактусы Бербанка,
прозрачные, как солнечная банка;

вместо ст. 39—43:

когда для вас построены дома,
чтоб расцвели зародыши ума,
чтоб мысли в вас окрепли и кипели,
чтобы глаза на совершенном теле
открылись, чтобы длинные листы
могли владеть пером, чтоб умные кусты
могли передвигать корнями, как ногами,
чтоб из плодов вы сделались богами;

ст. 64—69:

Когда Бербанк в курятнике лежал,
исследуя плодов первопричину, —
он был Адам, который не бежал
от яблока, чтоб не упасть в пучину.
Он был Адам и первый садовод,
бананов друг и кактусов оплот...

Бербанк Лютер Бер (1849—1926) — американский селекционер.

Утренняя песня. — Впервые: «Лит. современник», 1937, № 3. В *Корр. 1933* под назв. «В семействе художника». Кроме этого стихотв., в опубликованную в журнале подборку входило еще 9 —

«Прогулка», «Лодейников в саду», «Север», «Засуха», «Начало зимы», «Вчера, о смерти размышляя», «Ночной сад», «Все, что было в душе», «Горийская симфония». В 1956—1957 гг. в стихотв. внесены незначительные изменения, в частности, в ст. 9 и 10 снято имя сына поэта — Никиты.

Лодейников. — Впервые 1-я и 2-я гл. (без разделения и в другой ред.) как отдельное стихотв.: «Звезда», 1933, № 2-3; 3-я гл. (в другой ред.) тоже как отдельное стихотв. под назв. «Лодейников в саду»: «Лит. современник», 1937, № 3; во *«Второй книге»* оба стихотв. в первонач. ред. со сноской: «Стихи «Лодейников» и «Лодейников в саду» — фрагменты к будущему циклу об этом герое»; в окончат. ред.: *«Стих.», 1957.* Рукописи первых вариантов, сохранившиеся в архиве поэта, позволяют их датировать: «Лодейников» — 1932, «Лодейников в саду» — 1934, XII; 1936, III. Стихотв. подверглись переработке, когда Н. Заболоцкий задумал поэму «Лодейников». В письме С. Чиковани 29 декабря 1947 г. он пишет: «...начал писать поэму; собираюсь ехать в Магнитогорск, чтобы пожить там и набраться ума-разума». Поездка не состоялась. Замысел поэмы остался неосуществленным. Некоторые написанные тогда стихи были поэтом уничтожены, другие вошли в 4-ю гл., а часть отпочковались в стихотв. «Урал», которое при первой публикации в сб. *«Стих.», 1948* имело подзаголовок «Отрывок из поэмы». В первонач. замысле герой стихотв. Лодейников ассоциировался с поэтом Н. М. Олейниковым (1898—1942). В *Своде 1952* в новой ред. Окончат. редактура в 1956—1957 гг.

В журнальной публикации были строки, позднее снятые:

Как бомба в небе разрывается
и сотрясает атмосферу —
так в человеке начинается
тоска, нарушив жизни меру...
...Лодейников на возвышении
сидит, поднявши руки,
и говорит: «В душе моей сражение
природы, зренья и науки.
Вокруг меня кричат собаки,
растет в саду огромный мак, —
я различаю только знаки
домов, растений и собак.
Я тщетно вспоминаю детство,
которое судило мне в наследство
не мир живой, на тысячу ладов
поющий, прыгающий, думающий, ясный,
но мир, испорченный сознанием отцов,
искусственный, немой и безобразный.
и продолжающий день ото дня стареть...
О, если бы хоть раз на землю посмотреть
и разорвать глаза и вырвать жилы!»

«Лодейников в саду» вошло в 3-ю гл. в иной ред. и с сокращением 12-ти ст. Отметим одно изменение. Первонач. ст. 23—24 читались:

На безднах мук сияют наши воды,
на безднах горя высятся леса!

Прощание. — Впервые: «Известия», 1934, 4 декабря.

Начало зимы. — Впервые: «Лит. современник», 1937, № 3, в первонач. ред. В *Своде 1948* с изменениями. Первонач. ст. 19—22 читались:

...отбросив равнодушья покрывало,
в ее сознанье, кажется, проник.
Подобно разуму, чья немощь или сила
в глазах отображаются легко.

Весна в лесу. — Впервые под назв. «В лесу», без восьмой строфы: «Известия», 1935, 1 мая. Впервые полностью: *«Вторая книга»*.

Засуха. — Впервые: «Лит. современник», 1937, № 3.

Ночной сад. — Впервые: «Лит. современник», 1937, № 3, в первонач. ред. Разночтения в журнальной публикации:

ст. 6:

Был битвой дуб и возмущеньем — тополь;

ст. 15—16:

и души лип вздымали кисти рук,
все голосуя против преступлений.

Железный Август в длинных сапогах... — С августа разрешалась охота.

Все, что было в душе. — Впервые: «Лит. современник», 1937, № 3. Это и два предыдущих стихотв. были написаны под впечатлением лета 1936 г., проведенного на Украине, в селе Прохоровка близ Канева.

Вчера, о смерти размышляя. — Впервые: «Лит. современник», 1937, № 3.

Север. — Впервые: «Известия», 1936, 11 февраля, в первонач. ред. Н. Заболоцкий придавал стихотв. важное значение, подчеркивая, что в «нем, как в зародыше, таится будущее всей работы» (см. «Лит. Ленинград», 1936, 1 апреля). В 1948 г., готовя стихотв. для переиздания, Н. Заболоцкий переработал его по замечаниям А. Фадеева. А. Фадеев писал редактору сб. Н. Заболоцкого А. Тарасенкову 5 апреля 1948 г.: «Всюду надо изъять или попросить автора переделать места, где зверям, насекомым и пр. отводится место, равное человеку. А именно: с. 19 и 20, здесь, главным образом потому, что это уже не соответствует реальности; в Арктике больше

людей, чем моржей и медведей...» (копия письма в архиве поэта). (См. *«Избр.»,* т. 1, с. 384.) В 1956—1957 гг. Н. Заболоцкий исправил некоторые стихи.

Горийская симфония. — Впервые: «Известия», 1936, 4 декабря, в первонач. ред. С незначительными изменениями в сб. *«Стих.», 1948.* В 1956—1957 гг. доработано. В окончат. ред. публикуется впервые. Замысел стихотв. возник во время первой поездки в Грузию осенью 1936 г. В письме М. П. Бажану 11 декабря 1936 г. Н. Заболоцкий рассказывал: «...был в Кахетии, в Цинандалах, в Мцхете и иных местах. Очень сошелся с грузинами, особенно с Симоном [Чиковани]. Был с ним в Гори, и дали друг другу обещание написать об этой поездке стихи. По «Известиям» Вы, может быть, знаете, что свое обещание я выполнил...» Незадолго до публикации Н. Заболоцкий сообщил С. Чиковани в письме 14 ноября 1936 г.: «Ты настаиваешь, чтобы я написал стихи о Гори. Изволь, стихи готовы, посылаю тебе список. Они возникли благодаря тебе, — читай и наслаждайся. Шутки в сторону — стихи, кажется, не очень плохие. Прошу тебя, прочти и сообщи мне, — каковы они, нет ли каких грузинских неточностей и пр. ... Теперь, дорогой товарищ, очередь за Вами. Жду твоих стихов о Гори — помни наш уговор!» С. Чиковани также сдержал слово — написал стихотворение «Гори» (1936). В переводе П. Антокольского оно вошло в сб. С. Чиковани «Стихи». М., 1939. В 1958 г. Симон Чиковани писал, что в этом стихотв. Н. Заболоцкий «выразил всю свою глубокую и нежную любовь к грузинскому народу» (см. *«Восп. о З.»,* с. 159).

Седов. — Впервые: «Известия», 1937, 24 июня, в первонач. ред. Написано под впечатлением устных рассказов-воспоминаний участника экспедиции художника Н. В. Пинегина, с которым в 1935—1938 гг. Н. Заболоцкий встречался в доме поэта А. И. Гитовича. В «Ленинградской правде» 8 декабря 1956 г., в статье «Найден дневник матроса Г. В. Линника», сообщалось, что новые материалы об экспедиции Г. Я. Седова к Северному полюсу, кроме всего прочего, позволяют определить место могилы исследователя. В связи с этим Н. Заболоцкий вернулся к стихотв., прежде всего переделав ст. 8 («Никто не знает, где лежит она...»), значительные изменения внесены в две последние строфы, сокращены многие реалии. (См. *«Избр.»,* т. 1, с. 385.)

Голубиная книга. — Впервые под назв. «Великая книга»: «Известия», 1937, 7 ноября, в первонач. ред. В *«Стих.», 1948,* с сокращениями (27 ст.). В 1956—1957 гг. изменено название и произведены новые сокращения и изменения.

Метаморфозы. — Впервые под назв. «Бессмертие»: *«Вторая книга».* Новое название впервые: *Свод 1948.*

Лесное озеро. — Впервые: «Новый мир», 1956, № 6. Замысел

стихотв. связан с прогулкой осенью 1937 г. на Глухое озеро, неподалеку от г. Луги. Создавалось в 1938 г. по дороге на Дальний Восток. В письме А. К. Крутецкому 6 марта 1958 г. Н. Заболоцкий вспомнил еще одно озеро: «Я тоже старый сердечник, так как здоровье моего сердца осталось в содовой грязи одного сибирского озера». В *Своде 1948* читалось:

ст. 26: Забыв про болезнь, про земные труды...

ст. 28: Горит, устремленное к миру иному...

Соловей. — Впервые: *«Стих.», 1957.*

Слепой. — Впервые: *«Стих.», 1957.* Поводом к созданию стихотв. послужили, по воспоминаниям родных поэта, встречи со слепцом, поющим «Лазаря» и собиравшим подаяние на станции Переделкино, под Москвой, где в поселке писателей Н. Заболоцкий жил в 1946—1948 гг.

Утро. — Впервые: «Новый мир», 1956, № 6. В *Своде 1948* датировано 16 апреля 1946 г.

Гроза. — Впервые: *«Стих.», 1948.* В *Своде 1948* датировано 3 мая 1946 г.

Бетховен. — Впервые: «Юность», 1956, № 10.

Уступи мне, скворец, уголок. — Впервые: *«Лит. Москва», 1.* В архиве поэта сохранилась рукопись (автограф), где под новой редакцией 6-й строфы можно прочесть написанные прежде, но стертые ластиком строки:

Я и сам бы стараться горазд,
Да облезли от холода перышки.
Если смолоду будешь горласт,
Перехватит дыхание в горлышке.

Читайте, деревья, стихи Гезиода. — Впервые: *«Избр.», 1960.* До исправлений 1956—1957 гг. ст. 29—34 читались:

Оставим же, глупая, старые счеты,
Враги ли, подумай, тебе педагоги?
В училище мира открылись ворота,
Идет первоклассник, урча, из берлоги.
От моря до моря, от края до края
Приветствует братия младшего брата.

Гезиод — древнегреческий поэт (ок. VIII в. до н. э.). *Оссиан* — легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в III в. Известна лит. мистификация Дж. Макферсона, приписавшего себе честь «открытия» поэзии Оссиана. *Кухулин* — легендарный ирландский вождь, герой цикла поэм Оссиана. *Березы Морвена.* — Морвен — в поэмах Оссиана владения короля Фингала. *Девятая Камена* — одна из муз, покровительница поэзии.

Еще заря не встала над селом. — Впервые: *«Стих.», 1948.*

В этой роще березовой. — Впервые: «Знамя», 1959, № 4. Никита Заболоцкий вспоминает: «В начале лета 1946 г. мы поселились под Москвой, в Переделкине, на даче писателя В. П. Ильенкова. У отца была отдельная маленькая тихая комнатка для работы на втором этаже дачи. Окно этой комнаты выходило в березовую рощу, которая в то время была настоящим лесом, так как соседние дачи стояли достаточно далеко. С раннего утра роща наполнялась голосами птиц, и иволга тоже пела» (*«Восп. о З.»,* с. 191).

Воздушное путешествие. — Впервые: «Новый мир», 1947, № 10, без 3-й строфы. Полностью: *«Стих.», 1948.* П. Антокольский вспоминал о совместной поездке с Н. Заболоцким, Н. Тихоновым, В. Гольцевым и А. Межировым весной 1947 г. в Грузию: «Заболоцкий впервые тогда летел в самолете. Это подтверждается замечательным стихотворением «Воздушное путешествие» — настолько первозданно и остро выражено здесь впечатление от полета... здесь очень явственно проступает... первое впечатление живого и страстного человека от того, что он высоко над землей и летит, черт возьми, благодаря великолепно устроенной машине» (*«Восп. о З.»,* с. 141—142). В *Своде 1948* датировано маем 1947-го, Тбилиси.

Храмгэс. — Впервые: «Новый мир», 1947, № 10. В стихотв. отразились впечатления поэта от гидроэлектростанции, пущенной в 1947 г. на горной реке Храми в Грузии. О Храмгэсе написали стихотв. и другие участники поездки в Грузию весной 1947 г. — П. Антокольский (1947), Н. Тихонов (1948), А. Межиров (1949). См. сб., сост. В. В. Гольцевым в 1953 г.: «На холмах Грузии. Грузия в русской поэзии», Тбилиси. *Плоскогорие Цалки* — плато в Триолетских горах. Там производятся раскопки древних захоронений. *Пандури* — грузинский народный струнный музыкальный инструмент.

Сагурамо. — Впервые: «Дружба народов», 1948, № 17, с двумя авторскими примечаниями: «1. *«Сагурамо»* — бывшее имение Ильи Чавчавадзе, некогда принадлежавшее Гурамишвили. Невдалеке от Сагурамо, на месте убийства Чавчавадзе, воздвигнут обелиск его имени. Ныне Сагурамо — Дом творчества грузинских писателей. 2. *И странники Гурамишвили...* — В 1724 г., гонимые турками и персами, свыше тысячи грузин вместе с царем Вахтангом VI нашли убежище в России. К ним присоединился и поэт Гурамишвили, рассказавший об этом в исторической поэме «Веды Грузии».

С 1951 г. Сагурамо — Дом-музей Ильи Чавчавадзе (1837—1907), грузинского поэта и прозаика, активного деятеля национально-освободительного движения. Позднее ст. «И странники Гурамишвили» Н. Заболоцкий несколько раз уточнял: *«Стих.», 1948* — «призраки», в *«Стих.», 1957* — окончательно: «спутники».

Ночь в Пасанаури. — Впервые: сб. «На холмах Грузия. Грузия в русской поэзии», Тбилиси, 1953. *Пасанаури* — селение на Военно-Грузинской дороге, расположенное у слияния двух рек — Белой и Черной Арагвы.

Я трогал листы эвкалипта. — Впервые: *«Стих.», 1948.*

Урал. — Впервые: *«Стих.», 1948,* с подзаголовком «Отрывок из поэмы» (см. примеч. к стихотв. «Лодейников»).

Город в степи. — Впервые: «Новый мир», 1947, № 5. В этой публикации в 3-й гл. опущены ст. 10—16, вместо них было:

в сухих волнах тяжелого песка
преодолевший, рядом с человеком,
пустыни дикие и грузные века.

В тайге. — Впервые: *«Стих.», 1948.* Н. Тихонов, цитируя строки о Комсомольске-на-Амуре, комментирует: «Да, Комсомольск — твой город, мой город, город всех, кто строит новый мир, хочет сказать поэт» *(«Восп. о З.», с. 5).*

Творцы дорог. — Впервые: «Новый мир», 1947, № 1, с подзаголовком «Поэма», в первонач. ред. из 4-х гл. Подзаголовок снят в *«Стих.», 1948,* где напечатано с изменениями и из 3-х гл., причем 3-я гл. составлена из 3-й и 4-й с сокращениями. В окончат. ред. 1956—1957 гг. снята 2-я гл. первой публикации, соответственно передвинута нумерация 3-й и 4-й и восстановлены в них вышеуказанные сокращения. В 1951 г., по просьбе композитора Н. И. Пейко, Н. Заболоцкий написал стихотворный текст для кантаты «Строители грядущего», используя 2-ю гл. первой редакции. Впервые кантата была исполнена в 1959 г. (см.: Н. И. Пейко. Строители грядущего. Кантата. М., «Сов. композитор», 1968). Естественны параллели стихотв. с автобиографической прозой «Картины Дальнего Востока» (см. с. 511), в частности: «В карьере мы обнажаем и взламываем вековечные пласты каменных пород, и странно видеть их матовую поверхность, впервые от сотворения мира обнаженную и увидевшую солнечный свет». Никита Заболоцкий вспоминает: «О своей жизни и работе на стройках отец рассказывал скудно. Помню только его рассказ о том, как однажды на работе в карьере, где добывали строительный камень, отцу пришлось лезть на высокую, почти отвесную скалу, чтобы закрепить наверху веревки, необходимые для подготовки к очередному взрыву. Приходилось всем телом прижиматься к обрыву и тщательно выбирать еле заметные уступы, куда можно было поставить ногу. И вдруг какой-то торчащий из камней корень зацепился за дужку очков, и очки повисли на одном ухе. Потеря очков в такой ситуации близорукому человеку грозила падением со скалы. Руки были заняты, и только изгибаясь всем телом, с невероятными усилиями удалось вернуть очки на свое место.

По канатам, закрепленным наверху обрыва, взбирались люди и на определенной высоте долбили в скале шпуры для взрывчатки...» (*«Восп. о З.»,* с. 186). Это стихотв. явилось первой публикацией оригинального произведения Н. Заболоцкого после долгого перерыва. 2-я гл. первонач. публикации в *Своде 1952* была отредактирована в 1956—1957 гг., а затем снята (см. *«Избр.»,* т. 1, с. 387).

З а в е щ а н и е . — Впервые: *«Стих.», 1948.* В бумагах Н. Заболоцкого сохранилась рукопись этого стихотв., где оно названо «На склоне лет», датировано 17 ноября 1947 г. в *Своде 1948* первонач. под назв. «Напоминание», которое исправлено на «Завещание».

Ж е н а . — Впервые: «Новый мир», 1953, № 10, с названием по первой строке. В связи с этим стихотв. критика говорит о возрождении в творчестве поэта «некрасовской традиции», о намечающемся синтезе этого направления со всем богатством философской и философско-пейзажной лирики, называя при этом «Прохожего», «Приближался апрель к середине», «Некрасивую девочку», «Старую актрису» и др. стихотв. (см., напр., *А. Македонов, 1968,* с. 274—279; И. Р о с т о в ц е в а . Николай Заболоцкий. М., 1976).

Ж у р а в л и . — Впервые: *«Лит. Москва», 1.* Как рассказывает Никита Заболоцкий, по поводу двух ст. «Журавлей» («А вожак в рубашке из металла // погружался медленно на дно...») свое сомнение в письме к поэту высказал доцент кафедры зоологии МГУ К. Н. Благосклонов: «Рубашку из металла еще можно принять — птица стального цвета, но чтобы птица тонула — поверить никак нельзя...» Н. Заболоцкий не мог не знать (в его поэме «Птицы» точно описан урок по анатомии пернатых), что тело птицы необычайно легко и не может потонуть в воде. К. Н. Благосклонову, который готовил тогда сборник стихов и прозы о птицах (см.: «День птиц. Стихи и проза о птицах». М., 1959), поэт предложил заменить строку новым вариантом: «Уплывал, не падая на дно». «О д н а к о , — пишет Никита З а б о л о ц к и й , — в таком виде строка не удовлетворяла его, и во всех авторских текстах стихотворение осталось без изменений. Наверно, образ тонущего журавля — погибавшего вожака, уже облаченного в рубашку из металла, представлялся ему шире, чем просто погружающаяся в воду птица...» (см.: Никита З а б о л о ц к и й . К творческой биографии Н. Заболоцкого. — «Вопросы литературы», 1979, № 11).

П р о х о ж и й . — Впервые: *«Тар. стр.».*

Ч и т а я с т и х и . — Впервые: «Новый мир», 1956, № 6.

К о г д а в д а л и у г а с н е т с в е т д н е в н о й . — Впервые: *«Лит. Москва», 2.*

О т т е п е л ь . — Впервые: «Новый мир», 1953, № 10. В архиве поэта сохранился первонач. вариант восьми заключительных ст., замененных поэтом по рекомендации А. Т. Твардовского:

Около снежных закуток
В первый весенний сосуд
Толпы бессонных малюток
Влагу в ладонях несут.

Кто вы, малютки вселенной?
Вам ли обнять суждено
То, что для жизни мгновенной
Нашему сердцу дано?

Приближался апрель к середине. — Впервые: «Октябрь», 1956, № 12.

Поздняя весна. — Впервые: *«Стих.», 1957.* Первонач. *Свод 1948,* под назв. «Весна». *Пифагорово пенье светил...* — Согласно теориям пифагорийцев (VI в. до н. э.), движение небесных тел, гармонически расположенных в сфере, вокруг Земли, подобно натянутой струне, производит благозвучие — музыку сфер.

Полдень. — Впервые: *«Стих.», 1957.*

Лебедь в зоопарке. — Впервые: *«Лит. Москва», 1.* Б. Петрушевский, последние годы знавший Н. Заболоцкого, вспоминает, что когда однажды его жена и он говорили, что никак не могут принять наименование лебедя «животным», да еще «полным грез», особенно в контексте предыдущих эпитетов — «красавица», «дева», «дикарка», «высокая лебедь», поэт вежливо, но твердо ответил: «А мне нравится. По-моему, даже хорошо». Интересно, что А. Т. Твардовский тоже не принял и даже высмеял этот образ (см. *«Восп. о З.»,* с. 288, 277).

Сквозь волшебный прибор Левенгука. — Впервые: *«Стих.», 1957, Левенгук* Антоний (1632—1723) — голландский биолог, сделавший ряд замечательных открытий; изготовлял линзы, которые давали увеличение в 300 раз, далеко превосходящие микроскопы XVII в.

Тбилисские ночи. — Впервые: *«Стих.», 1957.*

На рейде. — Впервые: «Дружба народов», 1956, № 4.

Гурзуф. — Впервые: *«Стих.», 1957.* В июле 1949 г. Н. Заболоцкий жил в Гурзуфе у Томашевских, в небольшом домике на прибрежных скалах, ул. Чехова, 7.

Светляки. — Впервые: *«Стих.», 1957.* Никита Заболоцкий вспоминает: «В июне 1949 г. Николай Алексеевич вместе с семьей несколько дней прожил в Сочи. Однажды вечером, возвращаясь домой из кинотеатра, он, недовольный тем, что ему пришлось смотреть плохую кинокартину, остановился передохнуть на обрывистом берегу моря. Пока дети ловили светлячков, летающих около кустов каких-то южных растений, он стоял поодаль у обрыва, под которым шумело море, и вдруг стал торопить всех домой, так как с моря надвигалась гроза. Казалось, он тяготился прогулкой и был

погружен в какие-то свои мысли. Вскоре было написано стихотв. «Светляки», в котором находим точное описание того момента («К творческой биографии Н. Заболоцкого». — «Вопросы литературы», 1979, № 11, с. 230).

Башня Греми. — Впервые: сб. «На холмах Грузии», Тбилиси, 1953.

Старая сказка. — Впервые: *«Тар. стр.».*

Облетают последние маки. — Впервые: «Знамя», 1960, № 12.

Воспоминание. — Впервые: *«Тар. стр.».*

Прощание с друзьями. — Впервые: «День поэзии». М., 1956. Стихотв. посвящено памяти друзей молодости — А. И. Введенского (1904—1941) и Д. И. Хармса (Ювачева; 1906—1942), творческое содружество с которыми послужило основой для создания «Объединения реального искусства» — ОБЭРИУ (ОБЕРИУ), а также Н. М. Олейникова (1898—1942), — поэтов, детских писателей, вместе с которыми Н. Заболоцкий работал в журналах «Еж» и «Чиж» в Ленинграде в конце 20-х — начале 30-х гг.

Сон. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* По признанию самого поэта, стихотв. связано с действительным сновидением, которое он якобы просто записал.

Весна в Мисхоре. — Впервые: «Дружба народов», 1956, № 4 — стихотв. «Учан-Су»; весь цикл из четырех стихотв. — впервые: *«Стих.», 1957. Кривое деревце Иуды...* — Иудино дерево (Cercis siliguastrum), родина которого Малая Азия, растет и на Южном берегу Крыма. Согласно легендам, предавший Христа Иуда повесился на дереве. В различных странах с этим связывают те или иные породы деревьев.

Портрет. — Впервые: «Новый мир», 1956, № 6. *Рокотов* Федор Степанович (1735 (?) — 1808) — художник-портретист. Портрет А. П. *Струйской* хранится в Гос. Третьяковской галерее.

«Я воспитан природой суровой...» — Впервые: «Дружба народов», 1956, № 4.

Поэт. — Впервые: «Юность», 1956, № 10. Стихотв. является поэтическим откликом на встречи с Б. Пастернаком в Переделкине.

Дождь. — Впервые: «Октябрь», 1955, № 6.

Ночное гулянье. — Впервые: «Юность», 1956, № 10.

Неудачник. — Впервые: «Октябрь», 1956, № 7.

Ходоки. — Впервые: «Дружба народов», 1955, № 11. Первонач. вариант под назв. «Хлеб» хранится в ЦГАЛИ (ф. 1494, оп. 2, ед. хр. 2).

Возвращение с работы. — Впервые: *«Стих.», 1957.*

Шакалы. — Впервые: «Дружба народов», 1956, № 4.

В кино. — Впервые: «Октябрь», 1956, № 7.

Бегство в Египет.«Впервые: *«Тар. стр.».*

Осенние пейзажи. — Впервые: *« Лит. Москва», 1.* В этой публикации второе стихотв. цикла — под назв. «Утро», третье — «Канны». В *«Стих.», 1957* названия изменены.

Некрасивая девочка. — Впервые: *«Лит. Москва», 1.*

«При первом наступлении зимы...» — Впервые: *«Лит. Москва», 2.*

Осенний клен (Из С. Галкина). — Впервые: С. Галкин. Стихи. Баллады. Драмы. М., 1958. Из всех многочисленных переводов, выполненных Н. Заболоцким, только это стихотв. поэт включил в свое собрание. У С. Галкина стихотв. названия не имеет. Наиболее расходится с оригиналом первая строфа, которая в подстрочнике читалась:

Подойди сюда и с близкого расстояния (стоя вблизи)
Ты оглядись:
Как это дерево летним вечером,
Спокоен будь (покой храни).

Галкин Самуил Залманович (1897—1960) — еврейский советский поэт и драматург.

Старая актриса. — Впервые: *«Лит. Москва», 2.*

О красоте человеческих лиц. — Впервые: «Новый мир», 1956, № 6.

Где-то в поле возле Магадана. — Впервые: «День поэзии», М., 1962, без 17—20-го ст.; полностью: *«Б. п.», 1965.*

Поэма весны. — Впервые: *«Тар. стр.».* В том же 1956 г. Н. Заболоцкий перевел «Майские элегии» Ивана Франко. Между «Поэмой весны» и элегиями Франко можно заметить некоторую связь; глубоко пессимистическому восприятию весны в элегиях Н. Заболоцкий как бы противопоставляет радостное мироощущение своего лирического героя (см.: Иван Франко. Майские элегии. Перев. Н. Заболоцкого. — «Новый мир», 1956, № 8).

Последняя любовь. — Впервые отдельные стихотв. цикла «Чертополох»: *«Лит. Москва», 2;* «Последняя любовь»: «Москва», 1958, № 2; «Морская прогулка» и «Встреча»: *«Стих.», 1959;* весь цикл, десять стихотв., впервые: *«Избр.», 1960,* где стихотв, «Чертополох» без 17—21-го ст. В архива поэта сохранилась рукопись, где два стихотв. объединены общим названием «Две встречи», каждому из которых предпосланы эпиграфы из «Войны и мира» Л. Толстого (первому — из второго тома, часть первая, гл. VII, второму — из четвертого тома, часть четвертая, гл. XV). Стихотв. «Встреча» — второе из них. Первое см. с. 430. К стихотв. цикла как бы примыкают: «Кто мне откликнулся в чаще лесной?..» (1957) и «Ласточка» (1958). В названии цикла содержится пере-

кличка со стихотв. «Последняя любовь» Тютчева. И. Эренбург отметил своеобразную перекличку цикла с финалом «Дамы с собачкой» А. П. Чехова (см.: И. Эренбург. Перечитывая Чехова. М., 1960, с. 15).

Противостояние Марса. — Впервые: «Новый мир», 1956, № 10.

Гурзуф ночью. — Впервые: «Знамя», 1959, № 4.

Над морем. — Впервые: «Новый мир», 1957, № 12. Осенью 1956 г. Н. Заболоцкий жил в Гурзуфе, в доме Б. В. Томашевского (Крымская, 19), в доме, *«прижатом к поверхности горы».*

Смерть врача. — Впервые: «День поэзии», М., 1957, под назв. «Врач». Стихотв. написано под впечатлением заметки «Подвиг сельского врача» («Правда», 1957, 8 марта). Заметка хранится в архиве поэта.

Детство. — Впервые: «День поэзии», М., 1957.

Лесная сторожка. — Впервые: «Москва», 1957, № 5.

Болеро. — Впервые: «Москва», 1957, № 5. «Болеро» Мориса Равеля, французского композитора (1875—1937), любил слушать Н. Заболоцкий. Г. Маргвелашвили вспоминает, как однажды он вместе с С. Чиковани и А. Мсжировым был у Заболоцких на Беговой, едва ли не последний раз. «Это совпало с трудной полосой в личной жизни Николая Алексеевича. В тот день настроение и состояние Николая Алексеевича было драматически напряженным. Николай Алексеевич начал проигрывать пластинку с записью «Болеро» Равеля. Мы все сидели за столом. Пластинка проигрывалась до конца, а Николай Алексеевич все ставил ее заново, и так несколько раз, нам же казалось — без конца. И сам по себе бесконечный круговорот равелевского ритма, круговращение «скудного и печального» «напева волынки», трагически подчеркнутое вдруг на наших глазах Николаем Алексеевичем, создавали атмосферу, до такой степени накаленную внутренне, что выхода, казалось, из этого замкнутого круга не было. Этот выход нашел сам Николай Алексеевич, вдруг откуда-то незаметно доставший книжку Бунина и от начала до конца прочитавший нам, завороженным, околдованным, потрясенным, небольшой рассказ «Ида». И так же, как «Болеро», эта «Ида» приобрела какой-то дополнительный щемящий и пронзительный смысл, то есть не приобрела, конечно, а открыла таящуюся в себе до поры силу — будто некий светильник включили в сеть с удвоенным вольтажом. Как передать это непередаваемое чтение?.. Пусть напишет об этом стихи Межиров...» (*«Восп. о З.»,* с. 170).

Птичий двор. — Впервые: *«Избр.», 1960.*

Одиссей и сирены. — Впервые: газ. «Литература и жизнь», 1959, 20 марта. В основу стихотв. положен эпизод из поэмы

Гомера «Одиссей», когда герой, возвращаясь домой на о. Итаку, встречается с сиренами, которые его соблазняют.

Это было давно. — Впервые: *«Избр.», 1960.* В основу сюжета стихотв. положен действительный эпизод из жизни поэта, о котором он рассказал в письме к сыну, Никите Заболоцкому, 6 июня 1944 г. из Алтайского края.

Казбек. — Впервые: «Новый мир», 1957, № 12.

Снежный человек. — Впервые: *«Избр.», 1960.* Стихотв. является своеобразным поэтическим откликом на появившиеся тогда сообщения о якобы обнаруженных следах «снежного человека». В архиве поэта сохранилась рукопись с пометой: «1-й вариант», где еще отсутствуют 4-я, 6-я и 7-я строфы.

Одинокий дуб. — Впервые: «Новый мир», 1959, № 4.

Стирка белья. — Впервые: «Знамя», 1959, № 4, где опущены ст. 17—20. Полностью *«Б. п.», 1965.*

Летний вечер. — Впервые: «Новый мир», 1959, № 4. В сб. *«Стих.», 1959* под назв. «Первый вечер на Оке».

Гомборский лес. — Впервые: «Новый мир», 1957, № 12. Осенью 1950 г. Н. Заболоцкий был в Грузии. С. Чиковани предложил ему совершить поездку в Кахетию через Гомборский перевал. Участница этой поездки Е. В. Заболоцкая вспоминает: «Все мы, Симон Иванович, жена Леонидзе Ефимия Александровна, Николай Алексеевич и я, вышли из машины около перевала в буковом лесу. По ярко-синему небу ползли лиловые тучи, серые стволы буков высоко поднимали к небу свою лимонно-желтую листву, а внизу переплетался кустарник, пылая всеми оттенками красного и желтого. Шли мы не больше получаса, наверное, меньше. Николая Алексеевича не тяготила, как обычно, эта прогулка. Лицо его светилось чистотой, выражало восторг, и он без обычной замкнутости делился своими впечатлениями». Со слов других участников поездки известно, «что одинаково ослепленные и оглушенные красотой здешней природы, два поэта, по азартному предложению Заболоцкого, заключили пари или договор — написать об этом чуде стихи. Николай Алексеевич опередил Симона примерно на год — «Гомборский лес» подписан пятьдесят седьмым, а «Переход через Гомборы» С. Чиковани пятьдесят восьмым годом»; перевод этого стихотв. позднее сделан А. Межировым (см. рассказ Г. Маргвелашвили, *«Восп. о З.»,* с. 170).

Сентябрь. — Впервые: «Москва», 1958. № 2. В стихотв. автор рисует поэтический образ дочери Натальи.

Вечер на Оке. — Впервые: «Новый мир», 1957, № 12. В сб. *«Стих.», 1959* под назв. «Второй вечер на Оке».

«Кто мне откликнулся в чаще лесной?..» — Впервые: «Москва», 1958, № 2. См. примеч. к циклу «Последняя любовь».

Окарина — глиняный или фарфоровый музыкальный инструмент, род флейты.

Гроза идет. — Впервые: газ. «Литература и жизнь», 1959, 20 марта. Летом 1937 г. Заболоцкий жил в Луге, около озера Омчино. Во время сильной грозы вблизи дачи, где он жил, молния ударила в сосну, опалила хвою, надвое расщепила ее и ожгла. Через двадцать лет возник этот образ кедра.

Зеленый луч. — Впервые: «Новый мир», 1959, № 4. Когда летом 1953 г. Заболоцкий жил в Доме творчества ССП в Дубултах, он часто гулял по берегу моря. Однажды он и А. Гидаш (1899—1980, венгерский поэт и прозаик) наблюдали фантастическое нагромождение облаков на закате, опускающееся в море солнце и вдруг увидели блеснувший зеленый луч.

У гробницы Данте. — Впервые: «Новый мир», 1959 № 4. Осенью 1957 г. И. Заболоцкий в числе делегатов от Союза писателей был в Италии на встрече советских и итальянских поэтов, организованной по инициативе Итальянского общества дружбы с Советским Союзом. В Равенне он посетил могилу Данте Алигьери (1265—1321). В итальянской записной книжке Н. Заболоцкого 13 октября 1957 г. есть запись: «У могилы Данте. Венок. «Когда я умер, я познал... глядя... Далеко от Флор[енции], кот[орая] для меня мать, кот[орая] меня мало любила». (Два слова разобрать не удалось.) Два последних стиха эпитафии на надгробии Данте, написанной по-латыни, в переводе на русский язык читаются:

Здесь покоюсь я, Данте, изгнанный с родной земли,
Которого родившая его Флоренция лишила материнской любви.

Городок. — Впервые: *«Избр.», 1960.* Последние два года жизни Н. Заболоцкий подолгу жил в Тарусе. Н. Степанов вспоминает: «В этом тихом, маленьком городке на берегу Оки, окруженном лесами, стоящем вдалеке от железной дороги, сохранилось спокойствие, утраченное в подмосковных местах... Николай Алексеевич снимал в Тарусе две комнаты с террасой на улице Карла Либкнехта, немощеной, по-деревенски заросшей травой, почти на вершине холма... Сидя на открытой террасе, Николай Алексеевич мог долго смотреть на хлопочущих во дворике кур, шутливо посмеивался над красавцем петухом... Больше всего привязался он к небольшой мохнатенькой собачке с бородкой... В Тарусе Н. А. Заболоцкий поселился после первого инфаркта и потому вел малоподвижный образ жизни. Здесь, в Тарусе, рождались стихи Заболоцкого о русской природе, навеянные окскими далями, просторами полей и лесов, сдержанной красотой русского пейзажа... «Птичий двор», «Стирка белья», «Летний вечер», «Вечер на Оке», «Гроза идет», «Городок», «Подмосковные рощи», «На закате» не только были

написаны в Тарусе, но и навеяны ее природой, тихой жизнью городка, далями приокских пейзажей» (см.: «Памяти Н. А. Заболоцкого». — *«Тар. стр.»,* с. 307, 308).

Ласточка. — Впервые: *«Избр.», 1960.* См. примеч. к циклу «Последняя любовь».

Петухи поют. — Впервые: «Знамя», 1959, № 4.

Подмосковные рощи. — Впервые: «Знамя», 1959, № 4.

На закате. — Впервые: «Новый мир», 1958, № 12, под назв. «Закат».

Не позволяй душе лениться. — Впервые: «Новый мир», 1958, № 12, с назв. по первой строке.

Рубрук в Монголии. — Впервые отдельные стихотв. цикла: «Начало путешествия», «Дорога Чингисхана», «Монгольские женщины» в газ. «Литература и жизнь», 1959, 21 июня. Полностью впервые: *«Избр.», 1960.* В рукописи вслед за текстом помещались авторские примечания: *«Рубрук* — Вильгельм де Рубрук (Рубруквис), монах ордена миноритов; в 1253 г. по поручению французского короля Людовика IX ездил в страну древних монголов, о чем оставил любопытные записки. *Итиль* — Волга. *Танаид* — Дон. *Ко-ан* — половец. *Мокша* — племена финского происхождения. *Каракорум* — древняя столица монголов». В более раннем варианте рукописи в примечаниях еще было: *«Гоги и Магоги* — мифические народы, населяющие северные страны. *Плиний* — римский писатель I века, автор «Естественной истории»; *«Ом, мани, падме кум»* — привет, сокровище в цветке лотоса — буддийская молитва». В архиве поэта сохранился автограф — перечень его стихотв., где рядом с назв. «Рубрук в Монголии» помета: «цикл». Источником для поэта послужили книги: Вильгельм де Рубрук. Путешествие в Восточные страны; Иоан де Плано Карпини. История монголов (Из серии «Библиотека иностранных писателей о России»). СПб., 1911. Интерес Н. Заболоцкого к истории проявлялся и в оригинальном творчестве, и в переводческой работе. К 1938 г. относится и замысел поэмы «Осада Козельска», посвященной осаде этого древнерусского города в 1238 г., во время нашествия Батыя. В письме к Е. В. Заболоцкой из Алтайского края 11 января 1944 г. поэт писал: «О стихах «Осада Козельска» — вещь незаконченная. Закончены только две первые части. Третья часть не написана вовсе. Сколько помню — кончается вторая часть скорбными строфами о защитниках города, павших во время осады. Сохранились ли эти черновики?» Черновики не сохранились, сохранились переписанные набело две части поэмы (автограф), но позднее, в 1948 г., автор их уничтожил. Предполагается, что сохранившийся стихотворный отрывок «Собор, как древний каземат...» является наброском к ненаписанной третьей части поэмы (см. примеч. к это-

му стихотв.). Одновременно, в 30-е гг., Н. Заболоцкий переводит «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, «Заздравный тост» Григола Орбелиани, Важа Пшавелу и начинает работу над «Словом о полку Игореве». В этом ряду следует, очевидно, оценивать и переводы из сербского эпоса, и замысел перевести «Сказание о Нибелунгах». В 50-х гг. возникла мысль о переложении былин. Академик Д. С. Лихачев писал Н. Заболоцкому: «...желаю Вам полного успеха в Вашем большом, патриотическом замысле. Пусть «Ваши былины» будут самыми русскими, самыми народными, сохранят в себе всю свежесть полей и пашен Руси, пусть их любят и дети и взрослые. Я уверен, что Вам удастся эта книга» (письмо от 24.I. 1953; архив поэта). Из этого замысла поэт успел осуществить только переложение былины «Исцеление Ильи Муромца» (см. примеч., с. 640, а также статью Н. Заболоцкого «О необходимости обработки русских былин», с. 557, и примеч. к ней, с. 644. Подробнее о замысле поэта см.: Никита Заболоцкий. О замысле Н. А. Заболоцкого создать переложение русских былин. — В кн.: «Из истории русской советской фольклористики». Л., 1981).

Начало путешествия. — Король Франции Людовик IX (1214—1270), отправивший в Монголию минорита Рубрука, был назван Святым за крестовые походы на Ближний Восток, в которых завоевательная политика сочеталась с распространением католицизма, с миссионерством. После неудачного похода в Египет Людовик IX возобновил попытки приобщения монголов к христианству и, через общую веру, вовлечения их, как союзников, в крестовые походы, с чем и была связана миссия минорита Рубрука (р. между 1215 и 1220 — ум. в 1293). Помимо попыток приобщения язычников и буддистов к христианству, миссия ставила своей целью изучение природы и быта монголов. По ходу своего многотрудного путешествия Рубрук вел подробные записи. *Еще дымился древний Киев...* — В 1240 г. Киев был разорен и сожжен Батыем.

Дорога Чингисхана. — *Он гнал коней от яма к яму...* — Ям, согласно толкованию Рубрука, — «лица, расставленные от одного древнего перехода к другому, для приема послов, потому что во многих местах среди гор дорога тесна и пастбищ немного». *Еще дымились цитадели из бревен рубленных капелл...* — Речь идет о деревянных крепостных стенах русских монастырей (капелла — церковь). *Гиперборейский интернат...* — Гиперборей — у древних греков название мифических людей, населявших север.

Движущиеся повозки монголов. — *Онон* — река в Забайкалье; сливаясь с Иногдой, образуют Шилку, один из притоков Амура. *Керулен* — река, впадающая в озеро Далайн.

Рубрук наблюдает небесные светила. — *Кол-*

звезда — Полярная звезда. *Идут небесные бараны, шагают Кони и Быки....* — Имеются в виду названия зодиакальных созвездий (китайские). *И пусть хоть лопнет папа в Риме...* — В 1245 г., когда монголы наиболее угрожали спокойствию Европы, Лионским собором было решено послать к хану миссионеров, которые должны были войти с ним в мирные отношения и попытаться обратить его в христианскую веру. Две миссии были посланы папой Иннокентием IV в 1246 г. Одну из них возглавлял францисканец Плано Карпини. Отчет о его поездке и составил книгу «История монголов». Путешествие Рубрука было продолжением политики папы.

Как Рубрук простился с Монголией. — *Несториане* — принадлежа к византийскому христианству, являлись приверженцами учения патриарха Нестория (ум. ок. 450), отклонившегося от основного догмата. Несторианство получило распространение в странах Азии.

КНИГА ТРЕТЬЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ,

НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

●

В отличие от двух предыдущих, составленных самим поэтом, третья книга формировалась позднейшими публикациями наследия Н. Заболоцкого из стихотв., которые по тем или иным причинам остались за пределами основного корпуса собрания. В строгом отборе поэта отразилась суровость самооценок взыскательного мастера, требовательного к себе и ответственного перед читателем. Однако Н. Заболоцкий, разумеется, предвидел и понимал, что со временем публикаторы его произведений нарушат (и в определенных пределах вправе будут это сделать) эту столь четко им выраженную авторскую волю. Уже в *«Б. п.», 1965* возник раздел произведений, не включенных автором в основное Собрание. Он состоял из 15 стихотв. и «Исцеления Ильи Муромца». Подготовитель текстов и автор вступительной статьи и комментариев А. Турков обращал тогда внимание на личную и творческую судьбу поэта, на те обстоятельства, в которых он жил и работал. Абстрагироваться от этого нельзя, так же как не следует все-таки забывать, что *Свод 1958,* на который принято ссылаться, был *рукописным,* и состоял он из 175 оригинальных стихотв. и трех поэм, причем 66 из них и две поэмы так и не увидели свет при жизни автора, а еще 22 стихотв., составивших в 1929 г. «Столбцы», и поэма «Торжество Земледелия» (1933) ни разу тогда не переиздавались, Н. Степанов

вспоминает, что, подготавливая этот Свод за несколько месяцев до смерти, Н. А. Заболоцкий уже чувствовал, что это его последняя надежда осуществить свою мечту об издании *«полного* собрания своих произведений» (см. *«Восп. о З.»,* с. 107). Поэтому вполне естественно и правомерно желание дополнить основной корпус Собрания стихотв. и поэм Н. Заболоцкого, который он сам подготовил к изданию, третьей книгой стихотворений разных лет, оставшихся за пределами этого собрания. Тем более что за прошедшие четверть века творческий путь Н. Заболоцкого и его творческое наследие открылись нам в новой исторической перспективе, соответственно изменившимся представлениям о роли самого поэта и о месте его поэзии. В 1972 г. в двухтомнике избранных произведений Н. Заболоцкого (М., «Художественная литература») аналогичный раздел вырос более чем вдвое — 32 стихотв., поэма «Птицы», фрагмент «Пастухи» и переложение былины — «Исцеление Ильи Муромца». За прошедшие десять лет стало очевидно, что раздел нуждается в дальнейшем расширении. Прежде всего стал вопрос о воспроизведении «Столбцов» 1929 г. Будучи первой книгой поэта, «Столбцы» имели принципиальное значение и сыграли большую роль в его личной и поэтической судьбе. Одновременно эта книга стала событием литературной жизни конца 20-х гг., вокруг нее разыгрывались критические бури. Естественно поэтому, что любая работа о творчестве Н. Заболоцкого и поныне не может миновать споров о «Столбцах», более того, в статьях о поэзии 20-х гг. тоже трудно миновать эту тему. Однако тот самый читатель, к которому так или иначе обращается критик, о самой этой книжке Н. Заболоцкого имеет весьма туманное представление — «Столбцы» давно уже стали библиографической редкостью, а изучение и сопоставление разных редакций и вариантов, разумеется, является привилегией специалистов. И еще одно немаловажное обстоятельство. По свидетельству Н. Степанова, которого связывала с Н. А. Заболоцким многолетняя дружба, поэт, как правило, не переделывал уже завершенных произведений, и лишь под давлением особых и трудных обстоятельств он отступал от этого принципа: «Поскольку стихотворения «Столбцов» и поэма «Торжество Земледелия» вызывали неизменно острые нарекания, Ник[олай] Ал[ексеевич] переделал многие строки «Столбцов» (см. *«Восп. о З.»,* с. 107). Вслед за «Столбцами» 1929 г. в третьей книге идут в хронологическом порядке другие стихотворения, оставшиеся за пределами основного корпуса. Относительно аналогичного раздела в двухтомнике 1972 г. третья книга пополнилась рядом стихотв. «раннего Заболоцкого». Затем идет раздел шуточных стихотв. Шутливые стихотв. были одной из форм общения с друзьями и близкими. С одной стороны, это связано с характером Н. А. Заболоцкого, который, будучи чело-

веком сдержанным и сосредоточенным в себе, всячески избегая какой бы то ни было аффектации, открытого душеизлияния и прямого изъяснения чувств и поэтому часто скрывал свои чувства под покровом иронии, шутки, гиперболизации. С другой — в кругу друзей, особенно в кругу «обериутских» друзей юности поэта, шутка, шутливое стихотворное послание, пародия, экспромт — все это было *литературой.* Здесь зачастую сохранялись и «депонировались» образы и ситуации. Особую роль играла пародия, служившая средством литературной полемики. Л. Гинзбург показывает, что у Н. Заболоцкого «пародия и словесный гротеск должны были, в частности, накрепко забить вход в символизм». Разбирая одну из пародий Заболоцкого — «Драматический монолог», она приходит к важному выводу, что именно в шуточных стихах поэт «считал возможным открыто и прямо говорить от первого лица». «В серьезных стихах того же времени авторское «я» спрятано. Оно присутствует только как лирическое сознание, как отношение к миру. Это тоже, очевидно, был способ освобождения от «стародавних культур», от их носителей — всевозможных лирических героев, вообще от обычных форм выражения авторского сознания» (см. *«Восп. о З.»,* с. 123, 131). Завершает третью книгу небольшой раздел произведений для детей. В детской литературе Н. Заболоцкий работал, с разной степенью интенсивности, около десяти лет, начиная с 1927—1928 гг. В. Каверин отмечает сложную взаимосвязь детской поэзии Н. Заболоцкого с его творчеством, которую никак нельзя «вынуть». Для его поэзии в целом характерно «детское зрение», и без этой зоркости были бы невозможны его поэтические открытия, его «выходы» в «иное поэтическое сознание» (см, *«Восп. о З.»,* с, 116, 117).

«СТОЛБЦЫ» 1929 ГОДА

Поскольку цель перепечатки — знакомство широкого читателя с первой книгой поэта, то ее структура, порядок расположения стихотв. и тексты точно воспроизводятся по изданию «Столбцов» 1929 г. Необходимый комментарий читатель найдет в примеч. к «Городским Столбцам», с. 604. Исключение составляют пять столбцов («Море», «Черкешенка», «Лето», «Пир», «Фигуры сна»), которые входили в «Столбцы», но позднее Н. Заболоцкий их исключил из «Городских Столбцов», — комментарии к ним даются здесь.

Море. — В сб. *«Арарат»* датировано 4.XI. 1926. В *Своде 1948* правка ст. 5 и 38. После *Свода 1948* в собрания автором не включалось.

Черкешенка. — В сб. *«Арарат»* было озаглавлено «Столбец о черкешенке», датировано 30.I.1927. Ст. 13 и 21 имели там разночтения. После *Корр. 1933* в собрания автором не включалось.

Лето. — В сб. *«Арарат»* датировано 27.VIII.1927. В *Корр. 1933* правка ст. 1 и 9. После *Свода 1948* автором в собрания не включалось.

Пир. — В *Корр. 1933* сняты ст. 25—32, правка ст. 8, 9, 27 (окончат.), 49 (промеж.). В *Своде 1948* правка ст. 6, 10, 12, 23, 33, 41, 47—49 (окончат.). Позднее в собрания автором не включалось.

Фигуры сна. — В *Корр. 1933* правка ст. 20 и 22. После *Свода 1948* не включалось автором в собрания.

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

Сердце-пустырь. — Впервые: «Звезда», 1978, № 11. Публикация К. Грищинского и Г. Филиппова «Так они начинали... О студенческом журнале «Мысль», о Н. Брауне и Н. Заболоцком». Стихотв. воспроизводилось в публикации из машинописного студенческого журнала «Мысль», Л., 1921/22 уч. год, хранится в архиве педагогического института им. А. И. Герцена, Ленинград. Печат. по публикации в «Звезде».

Disciplina Clericalis. — Впервые: «Лит. Грузия», 1969, № 4. Автограф сохранился в архиве Т. А. Липавской, передан ею в архив поэта. Печатается по рукописи. *Disciplina clericalis* — духовный устав; с дополнительными оттенками смысла — духовное учение, вероучение, духовное наставление (толкование А. Македонова).

Дуэль. — Печатается впервые по рукописи, сохранившейся в архиве Т. А. Липавской и переданной ею А. Македонову. *...лазоревую незабудку Новалиса...* — Новалис (Фридрих фон Харденберг; 1772—1801) — немецкий писатель-романтик. Главное произведение Новалиса, неоконченный роман «Генрих фон Офтердинген», пронизано стремлением к мистической любви. «Голубой цветок», поискам которого посвятил свою жизнь герой романа, символизирует квинтэссенцию идеальных устремлений человеческого духа.

Восстание. — Впервые: журн. «Русская литература», 1966, № 3. Публикация и комментарий А. Александрова. Печат. по автографу, переданному Т. А. Липавской в архив поэта.

Баллада Жуковского. — Печат. впервые по рукописи сб. *«Арарат».*

«Пошли на вечер все друзья...» — Печат. впервые по автографу (подготовил к изданию А. Александров), переданному Т. А. Липавской в архив поэта. Представляет собою экспромт, об-

ращен к Хармсу. Тексту предшествует запись: «Даня, жалко тебя будить — ты спишь с большим аппетитом. Я ухожу. Прощай. Видишь — что я тут наделал... Н. З.». Стихотв. в духе поэтики «Столбцов». *Данило* — Д. Хармс. *Сашка, Шурка* — А. Введенский. *Дева Там, Тамара Алексанна* — Тамара Александровна Мейер, жена А. Введенского, позже жена Л. Липавского. *Кепка* — собачка Д. Хармса. *Горфункель* — вымышленный персонаж (см. о нем: «*Восп. о З.»,* с. 77—78). (См. примеч. с. 634.)

Поход. — Впервые: газ. «Ленинградская правда», 1927, 13 ноября. Печат. по первой публикации.

Поприщин. — Впервые: литературное приложение к газ. «Ленинградская правда», 1928, № 2. Печат. по первой публикации.

Руки. — Впервые: литературное приложение к газ. «Ленинградская правда», 1928, № 5. Печат. по первой публикации.

Мечты о женитьбе. — Печат. впервые по машинописному тексту, визированному Н. Заболоцким. Архив поэта А. Сергеева.

Падение Петровой. — Впервые: *«Избр.», т. 2.* Стихотв. было добавлено Н. Заболоцким 15 августа 1933 г. в *Корр. 1933* (ИРЛИ, ф. 630, № 69).

Обед. — Впервые: литературное приложение к газ. «Ленинградская правда», 1928, № 8, без восьми последних ст. Печат. по *Корр. 1933.* Архив поэта.

Сохранение здоровья. — Впервые: журн. «Чудак», 1929, № 22. Печат. по *Своду 1948,* но с восстановлением 3-й строфы, которая там опущена. Варианты этого стихотв. под назв. «Прогулка на лыжах» публиковались в журн. «Ленинградский динамовец», 1931, № 6, и в детском журн. «Еж», 1933, № 2—3.

Детство Лутони. — Впервые: «День поэзии», М., 1969. Как и при первой публикации, печат. по *Своду 1948.*

Солдатская песня. — Впервые в 23-м альманахе «Поэзия, 1978». Публикация Е. Биневича, который записал эту песню со слов Э. С. Паперной, поэтессы и переводчицы, запомнившей ее еще в начале 30-х гг., когда она работала в редакции детского отделения ГИЗа. По свидетельству Э. С. Паперной, эту песню, написанную Н. Заболоцким, распевали хором в редакциях «Ежа» и «Чижа» в начале 30-х гг. Печат. по первой публикации.

Осень. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Как и при первой публикации, печат. по *Корр. 1933.*

[Пастухи]. — Впервые: «День поэзии», М., 1968. Как и при первой публикации, печат. по авторской машинописи, хранящейся в архиве поэта. В последний вечер перед смертью Н. А. Заболоцкий говорил жене, что задумал написать трилогию поэм: «Поклонение волхвов», «Смерть Сократа» и «Сталин». Рукопись публикуемого фрагмента, написанного поэтом в начало 30-х гг., лежала в папке с

работами последних месяцев. На письменном столе остался лист бумаги с записью: «1. Пастухи, животные, ангелы. 2...» Второй пункт остался незаполненным. Есть основания предполагать, что публикуемый фрагмент должен был войти в поэму «Поклонение волхвов», возможно, мог стать ее началом.

Птицы. ПОЭМА. — Впервые: «Москва», 1968, № 8, с другой редакцией заключительной строфы. Жанр и дата написания определяются по письму к Е. В. Клыковой 15 марта 1933 г., где Н. Заболоцкий писал: «Пишу вторую поэму «Птицы»...» (см. т. 3 наст. изд.). Первая поэма — «Деревья», датирована тем же годом. Первоначально публиковался текст из архива Н. Степанова. Этот текст следует отнести ко времени, близкому созданию поэмы. В ней автографическая правка Н. Заболоцкого; под заголовком посвящение: «Памяти моего отца»; вычеркнуты некоторые строки, исправлена последняя строфа. Публикуемая в наст. изд. рукопись более позднего времени. В ней уже учтены исправления, которые есть в архиве Н. Степанова, но нет посвящения и заключительная строфа оставлена в первом варианте. В промежуточном варианте поэмы ст. 207—215 читались:

Ходит сон по дворам... Земля моя, мать моя, знаю
твой непреложный закон. Не насильник, но умный хозяин
ныне пришел человек, и во имя всеобщего счастья
жизнь он устроит твою. Знаю это. С какою любовью
травы к травам прильнут! С каким щебетаньем и свистом
птицы птиц окружат! Какой неистленно прекрасной
станет Природа! И мысль, возвращенная сердцу, —
мысль человека каким торжеством загорится!

Праздник Природы, в твое приближение — верю.

Кузнечик. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Печат., как и при первой публикации, по *Своду 1948.*

Начало стройки. — Впервые: «Новый мир», 1972, № 12. Рукопись хранится в архиве Н. Степанова, принадлежащем сейчас Л. К. Степановой. Печат. по первой публикации.

Пир в колхозе «Шрома». — Впервые в альманахе «Год XXXI», М., 1948. В сб.: Николай Заболоцкий. На двух Арагвах пели соловьи. Тбилиси, 1975, без 15-й и 16-й строф. Печат. эта публикация.

«Мир однолик, но двойственна природа...» — Впервые: «День поэзии», М., 1968, с опечаткой в ст. 8. В *Своде 1952* помещено последним и названо — «Заключение». Печат. по *Своду 1952,* но без названия.

Песня дождя. (Подражание Симону Чиковани). — Впервые: «День поэзии», М., 1969. Как и при первой публикации, печат.

по авторской машинописи, архив поэта. Представляет собою сокращенный вариант вольного перевода с грузинского стихотв. Симона Чиковани «Под дождем». В письме к С. Чиковани 28 августа 1953 г, Н. Заболоцкий писал: «Твои стихи о дожде — прелесть. Я переводил их с наслаждением. Посылаю переводы. Есть в них и вольности, но в целом я доволен. Сообщи мне свои замечания» (см. т. 3 наст. изд.). В письме речь идет о стихотв. «Летний дождь», «Дождь идет» и «Под дождем». Переводы первых двух были напечатаны (сб. С. Чиковани. Стихотворения. М., 1957), а третье не удовлетворило С. Чиковани и было напечатано в раннем переводе С. Спасского.

«Когда бы я недвижным трупом...» — Впервые: *«Б. п.», 1965,* Как и при первой публикации, печат. по авторской машинописи, архив поэта.

«Медленно земля поворотилась...» — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Как и при первой публикации, печат. по авторской машинописи, архив поэта.

«Во многом знании — немалая печаль...» — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Как и при первой публикации, печат. по авторской машинописи, архив поэта.

«Разве ты объяснишь мне — откуда...» — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Как и при первой публикации, печат. по черновому наброску (возможно, стихотв. начато в 1957 г. и не окончено), архив поэта.

Две встречи. 1. — Впервые: «День поэзии», 1969. Печат., как и при первой публикации, по авторской машинописи, архив поэта, где это стихотв. включало в себя (под цифрой 2) стихотв. «Встреча» (см. примеч., с. 626).

Ненастье. — Впервые: «Москва», 1957, № 5. Печат. по первой публикации.

Голубое платье. — Впервые: «Москва», 1957, № 5. Печат. по первой публикации. Эпиграф из стихотв. Н. Бараташвили (1817—1845) «Цвет небесный, синий цвет...» в переводе Б. Пастернака.

Венеция. — Впервые: «Лит. газ.», 1958, 18 января. Печат. по первой публикации (авторская машинопись в архиве поэта). Это и следующее стихотв. связаны с поездкой Н. Заболоцкого в Италию (см. примеч., с. 629). В записной книжке поэта 18 октября читаем: «Венеция. На пароходике по Каналь-Гранде. Пл[ощадь] Св[ятого] Марка, голуби. Узкие улицы, мал[енькие] магазины с хрусталем, стеклом, кожей. Узкие крутые лестницы. Отель «Albergo patria tre rose». S. Marco, 905 Venezia. Площ[адь] Св[ятого] Марка. IX—XI вв., голуби. Собор, вид на Мостик вздохов. Рядом «пьомбо» [1]. Мост в

[1] Пьомбо — тюрьма времен средневековья, теперь музей.

Венецию от материка около 4 км. 222 пролета. Рядом автострада. Мост оканчивается у небольшой площади Пьяццале Рома. Здесь оставляются машины. Пересаживаемся на вапоретто. Венеция — посреди вод лагуны на 118 островах. Вместо улиц 160 больших каналов и множество мелких «рио», 212 тыс. жителей, не считая туристов. Позади за домами сеть узеньких улочек «калли». Каналь-Гранде имеет форму «S», делит город на две части, через него три моста. Большинство палаццо продано богачам и пустует. Сюда хозяева съезжаются в осен[ние] месяцы на сезон. 19 [октября] 10 ч[асов]. На гондоле. Парох[одик] — вапоретто. Дворцы, ступени в воде, сушится белье, цветы на балконах, гондола стукается на углах кирпичных стен. Жил Марко Поло, Рио Малибро. Медленно. Окрики гондольера «Оль!». Ставни. Зеленая мутная вода. Порт у кам[енных] Львов Венеции. Выезжаем на Каналь-Гранде. Понте де Риальто (мост), на нем магазины. Длина Каналь-Гранде 4 км. Моторн[ая] лодка с овощами. Кружевные карнизы и портики балконов. Нос гондолы как шея черного лебедя. Меерия. Черное здание Трибунала. Свернули с Кан[аль]-Гранде в узенький. Цвет домов розовый, серый, желтый. Облезлая штукатурка, потеки плесени на камнях. Железн[ые] решетки нижних окон. Зеленая плесень, Непрерывно мостики. Внизу склады для угля и дров. Гербы на гондоле. Черное лакированное. Медные дельфины на гондоле. Гондольер кричит: «О!», «Ой!» Церковь св. Моисея. Гондолы подъезжают к самому отелю. Опять Каналь-Гранде, Санта-Мария-делла-Салюте. Это бассейн Сан-Марко. Здесь дворцы нарядные. Здесь Верди написал «Риголетто» — «Джустиньян». Вот и площадь Сан-Марко. Полчаса ездили. Башня Сан-Марко с золотым ангелом. Дворец Дожей. Две колонны: на перв[ой] св. Теодор — патрон Венеции, на второй зел[еный] бронз[овый] лев. Палац[цо] Дожей с канала необычно красив. Башня Часов (XV в.). Мавры бьют в колокола. Пристали к пристани у Дожей. Направо за каналом остров Сан-Джорджо».

Случай на Большом канале. — Впервые: «Лит. газ.», 1958, 18 января. Печат. по первой публикации. Авторская машинопись в архиве поэта.

Тбилиси. — Впервые: «Лит. Грузия», 1958, № 5, под назв. «С каждым годом город краше» (название дано редакцией журнала)» Написано к юбилейной дате города (1500 лет). *Горгасал* — Вахтанг I (V в.), царь Картли, по преданию, основатель Тбилиси. Печат. по первой публикации. Авторская машинопись в архиве поэта.

Счастливый день. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* В архиве поэта авторская машинопись, где первонач. назв. — «Открытие» — зачеркнуто. Печат. по первой публикации.

На вокзале. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Печат. по первой публикации. Авторская машинопись в архиве поэта.

Генеральская дача. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Печат. по первой публикации. Авторская машинопись в архиве поэта.

Железная старуха. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Печат. по первой публикации. Авторская машинопись в архиве поэта.

После работы. — Впервые: «День поэзии», М., 1969. Печат. по первой публикации. Авторская машинопись в архиве поэта.

«Собор, как древний каземат...» — Впервые: «День поэзии», М., 1968, где публиковалось по рукописи (автограф) архива Н. Степанова. Печат. по первой публикации. Установить точную дату написания отрывка не удалось (см. примеч. к «Рубруку в Монголии», с. 630).

Исцеление Ильи Муромца. — Впервые: *«Б. п.», 1965.* Печат. по первой публикации. Авторская машинопись в архиве поэта. Работу «по воссозданию целостных текстов русских былин» Н. Заболоцкий задумал в 1951 г., изучал материалы, сопоставляя разные варианты записей. 28 марта 1951 г. им была составлена докладная записка на имя председателя ССП «О необходимости мероприятий по составлению «Свода русских былин». Записка в ССП направлена не была, сохранилась в архиве поэта. В 1952 г. Н. Заболоцкий обращается в Детгиз с предложением составить свод русских былин (см. с. 557).

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Полезно ли человеку писать?..» — Впервые в воспоминаниях Т. Липавской (см. *«Восп. о З.»,* с. 46—54). Сверено с автографом, переданным в архив поэта. Шутливый диалог, написанный стилизованным почерком, в середине 20-х гг. был подарен поэтом Т. А. Мейер-Липавской. На квартире Липавских (Л. Липавский (1904—1941) — детский писатель и критик, псевдоним Л. Савельев) в Ленинграде в начале 30-х гг. часто собирались А. Введенский, Н. Заболоцкий, Н. Олейников, Д. Хармс. Среди серьезных разговоров о поэзии, науке и философии здесь всегда звучали шутки и стихотворные экспромты.

Предсказание погоды. — Впервые: журн. «Чудак», 1929, № 34. Печат. по первой публикации.

Из сборника «Ксении». — Рукописный сборник включает 11 стихотв., переписанных рукою Н. Заболоцкого печатными буквами. Обложка украшена виньеткой, на шмуцтитуле и заднем форзаце рисунки художника Соколова, о чем свидетельствует его автограф («П. И. Соколов рисовал в пивной 21 марта 1931 г.»). На-

звание восходит к традиции древних греков и римлян, которые именовали так короткие стихотв. в форме эпиграмм и афоризмов, первым назвал так свой сборник застольных эпиграмм Марциал, римский поэт. Сб. «Ксении» сохранился в архиве Заболоцкого. Стихотв. этого сб. и стихотв., публикуемые по автографу, сохранившемуся у Г. Д. Левитиной (секретарь журн. «Еж» и «Чиж») и в 1957 г. подаренному ею Н. Заболоцкому, относятся ко времени работы его в редакции: сначала сотрудником, затем заведующим приложениями к журн. «Еж», а с января 1931 г. и частично 1932-й — заведующим редакции «Чижа». Очевидно, просматривая сб., поэт перечеркнул в тексте 4 стихотв., одно из которых («Неудачная прогулка») здесь воспроизводится. Вспоминая о тех годах, как правило, подчеркивают особую «атмосферу шутки, розыгрыша, царившую» в редакциях этих журналов (см. восп. Н. Степанова, И. Андроникова в сб. *«Восп. о З.»*). Серьезность, сдержанность и обстоятельность Н. А. Заболоцкого, которыми он отличался с юности, не мешали ему принимать активное участие в общем веселье. Естественно, что лишь малая часть этих шуток и экспромтов тогда записывалась, но и из того, что было зафиксировано, сохранилось немногое. Художник редакции Генрих Левин рассказывал, что у него была клеенчатая тетрадь, куда он записывал стихотворные экспромты Н. Заболоцкого. К сожалению, тетрадь пропала в блокадном Ленинграде. Тем более ценны и интересны сохранившиеся сб. «Ксении» и автограф, подаренный Г. Д. Левитиной (архив поэта). Здесь публикуются 6 шутливых стихотв. из сб. «Ксении»: Неправильное богатство, Что такое стишки, Раздражение против В. (обращено к поэту А. Введенскому), Неудачная прогулка. — Впервые: «Вопросы литературы», 1978, № 9. Бесполезная ученость, Уединение философа. — Печат. впервые.

Отвращение к Богеме, Польза от молитвы, На расстояние между мной и Шварцем, Улетание Олейникова от нас, Покупка жене шубы, цикл «Красота Груни». — Впервые: «День поэзии», М., 1982. На получение зарплаты, Воспоминание о бане, Вопрос Левину. — Печат. впервые. Эти стихотв. из автографа, подаренного Г. Д. Левитиной Н. Заболоцкому. *Груня* — Г. Д. Левитина.

«У некой дамочки с изъяном был роток...» — Впервые: «Вопросы литературы», 1978, № 9. Печат. по первой публикации. Написано в середине 30-х гг. Авторская машинопись в архиве поэта.

Г-же Екатерине Ивановне Шварц (урожд. Обуховой)... — Впервые: *«Избр.», т. 2.* Печат. по первой публикации. Ав-

тограф в ЦГАЛИ, ф. 2215, оп. 1, ед. хр. 319. Стихотворное послание написано к 31 мая — дню рождения Е. И. Шварц. *...ровно двадцать лет назад...* — в 1928 г.; в этот день на квартире Ю. Н. Тынянова она познакомилась с Е. Л. Шварцем.

Счастливец. — Печат. впервые но автографу (архив поэта).

«Мне жена подарила пижаму...» — Впервые в воспоминаниях Никиты Заболоцкого (*«Восп. о З.»,* с. 200). Печат. по первой публикации. Автограф в архиве поэта.

Наш праздник. — Печат. впервые по авторской машинописи, написано в 1952 или 1953 г., архив поэта. Персонажи реальны.

Похвальное слово о Колином телосложении. — Впервые: «День поэзии», М., 1982. Басни Пишмашинка и автор, Коля и блоха («Невоздержанный едок»), Догадливая курица. — Печат. впервые. Эти стихотв. печат. по автографам Н. Заболоцкого из архива Н. Степанова. Обращено к Н. Степанову, литературоведу и критику (1901—1972), близкому другу Н. А. Заболоцкого. Н. Степанов вспоминает: «Он охотно писал шуточные стихи, в которых давал волю самому безудержному и вместе с тем милому юмору. Таковы его... «Записки аптекаря» или шуточные басни, преподносимые мне обычно в день рождения как исследователю Крылова» (*«Восп. о З.»,* с. 105).

Из записок старого аптекаря. — Впервые: «Вопросы литературы», 1978, № 9, с пропусками. Печат. по авторской машинописи, архив поэта.

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хорошие сапоги. — Впервые книжкой: Н. Заболоцкий. Хорошие сапоги. М., Госиздат, 1928. Печат. по первой публикации.

Сказка о кривом человечке. — Впервые: журн. «Чиж», 1933, № 8. Печат. по первой публикации.

Как мыши с котом воевали (Сказка). — Впервые: журн. «Чиж», 1933, № 10. Печат. по первой публикации.

Мистер Кук Барла-Барла. — Впервые: журн. «Чиж», 1935, № 1. Печат. по первой публикации. Написано к силуэтам художника Л. А. Юдина: на первом изображен рассерженный индюк, на втором — индюк, запряженный в повозку, в которой сидит мальчишка и погоняет его кнутом. С художником Л. А. Юдиным у Н. Заболоцкого было взаимопонимание в вопросах искусства. Н. Заболоцкий хотел, чтобы Л. Юдин сделал обложку «Столбцов» (см, письма к Л. А. Юдину, т. 3 наст. изд.).

О том, как мы на трамвайном языке разговаривали (Шутка). — Впервые: журн. «Чиж», 1935, № 1, без подписи. Авторство Н. Заболоцкого засвидетельствовано Н. В. Гернет, которая тогда заведовала редакцией «Чижа», и Е. В. Заболоцкой. Печат. по первой публикации.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
ПРОЗА

●

Четвертую книгу составила проза поэта. Впервые раздел прозы начал формироваться в *«Избр.», т. 2.* Теперь раздел дополнен.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Автобиография. — Впервые: «Советские писатели. Автобиографии», т. 3, М., 1966, с сокращением конца, где давалась библиография работ Н. А. Заболоцкого. Написана для отдела кадров ССП. Печат. по первой публикации.

Ранние годы. — Впервые: *«Тар. стр.».* Печат., как и при первой публикации, по рукописи, архив поэта. Земляки Н. А. Заболоцкого по Уржуму Л. А. Польнер и М. И. Касьянов отметили некоторые неточности в тексте: фамилия учителя рисования Ларионов, а не Логинов; отчество учителя русского языка не Савельевич, а Сидорович; фамилия ученика не Ливанов, а Лифанов.

Картины Дальнего Востока. — Впервые: *«Избр.», т. 2.* Первонач. текст был переслан Н. Заболоцким из Алтайского края, в письме к Е. В. Заболоцкой 21 апреля 1944 г. Позднее, около 1956 г., Н. Заболоцкий перепечатал рукопись на машинке, внеся при этом в текст незначительные изменения. Печат., как и первая публикация, по отредактированной авторской машинописи, хранящейся в архиве поэта,

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

О сущности символизма. — Впервые: «Звезда», 1978, № 11. Публикация К. Грищинского и Г. Филиппова «Так они начинали... О студенческом журнале «Мысль», о Н. Брауне и Н. Заболоцком». Печат. по первой публикации.

Общественное лицо ОБЭРИУ. Поэзия обэриутов. — Впервые: «Афиши Дома печати», Л., 1928, № 2. Печат. по

первой публикации. А. Македонов пишет: «Две ее первые и наиболее важные части — «Общественное лицо ОБЭРИУ» и «Поэзия обэриутов» — были написаны, по свидетельству И. В. Бахтерева, Н. Заболоцким» (см.: *А. Македонов, 1968,* с. 36). Молодой Заболоцкий был горд, что товарищи по ОБЭРИУ поручили ему написать декларацию. Рукопись (автограф) Н. А. Заболоцкий подарил своему земляку Н. Сбоеву, — она погибла во время блокады в Ленинграде.

Рабле — детям. — Впервые: «Лит. Ленинград», 1935, 14 октября. Первонач. рукопись сохранилась в архиве поэта. Печат. по первой публикации.

Глашатай правды. — Впервые: «Известия», 1937, 27 июля. Печат. по первой публикации.

Шота Руставели и его поэма. — Впервые: журнал «Костер», 1938, № 1. Печат. по первой публикации.

К вопросу о ритмической структуре «Слова о полку Игореве». — Впервые: «Вопросы литературы», 1969, № 1 (с комментариями Д. Лихачева и Н. Степанова), где Д. Лихачев писал: «Статья Н. Заболоцкого — это не только свидетельство о том, как понималось «Слово...» большим советским поэтом, но она имеет и самостоятельное научное значение». Печат., как и при первой публикации, по авторской машинописи из архива поэта.

О необходимости обработки русских былин. — Впервые (не полностью в примечаниях к былине «Исцеление Ильи Муромца»): *«Избр.», т. 2,* с. 295—296. Этот текст был послан Н. Заболоцким в Детгиз как заявка на составление «Свода русских былин». Начатый в 1953 г. перевод полного текста поэмы Руставели отвлек Заболоцкого от работы над былинами, но и в последующие годы он не оставлял мысли вернуться к этой работе.

Давид Гурамишвили (К 250-летию со дня рождения поэта). — Впервые: «Новый мир», 1955, № 10. Печат. по первой публикации.

Мудрость Руставели. — Впервые: «Лит. газ.», 1958, 8 мая, с сокращением. Без сокращения: «Б. п.» (Малая серия), Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре. М.—Л., «Советский писатель», 1966. В архиве поэта есть две авторские машинописи: первоначальная, с пометами, и вторая, отредактированная для газетной публикации. Печат. полный текст первонач. рукописи.

Заметки переводчика. — Впервые: «Молодая гвардия», 1956, № 3. Печат. по первой публикации. В архиве поэта сохранились записи, не включенные им в «Заметки переводчика»: «На Западе говорят: стихи непереводимы. Неправда. Нельзя перевести на другой язык версификацию стиха, но душу стиха — то, ради чего стих создан, — можно перевести на любой язык мира, ибо все поэты мира пользуются одним и тем же инструментом разума и сердца.

Пушкин называл переводчиков почтовыми лошадьми просвещения. Мы не назовем их скоростными самолетами, но признаем, что они истинные друзья дружбы народов и делают свое скромное дело успешно и добросовестно.

Не пытайся переводить поэта, которого не любишь и не уважаешь. Неискренняя поэзия изобличает себя раньше, чем думают многие.

На Пленуме Союза писателей Грузии один критик негодовал по поводу того, что кто-то из переводчиков грузинский шаири перевел ямбами. Критик рекомендовал вменить переводчикам в обязанность переводить шаири только хореическим размером. Этот маленький Аракчеев, видимо, полагал, что переводами стихов у нас занимаются отставные унтер-офицеры и фельдфебели.

Почему мы не переводим силлабические стихи силлабикой? Потому что мы не Симеоны Полоцкие, а наши читатели не похожи на читателей Симеона Полоцкого.

Ригорист в области стиля так же опасен, как безрассудный анархист, который валит в одну кучу обломки всевозможных стилей и воображает, что творит нечто новое.

Переводчик сочетает в своем лице черты писателя и ученого. Но пусть черты ученого будут скрыты в глубине, а черты писателя явственно проступают наружу!

Блохи водятся и в белой и в черной шкуре. Если ты выловишь их из черной шкуры, этим ты не сделаешь ее белой. Но и белую шкуру приятно иметь без блох.

Сочиняя шутливый стишок в доме отдыха, я сказал:

— Как жаль, что нет рифмы к слову «начисто».
— Есть, — сказал деятель эстрады, — качество.

Мы вступаем в мир новых рифм. Но для перевода классиков они не годятся: печать времени лежит и на рифме».

От переводчика. — Впервые: журн. «Дружба народов», 1958, № 1. Печат. по первой публикации. Эта статья предваряла публикацию «Главы из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». В январе 1958 г., перед началом декады грузинского искусства, Н. А. Заболоцким текст был прочитан по радио. Радиопередача студией «Мелодия» посмертно записана на пластинку. *В этом году я закончил новый полный перевод Шота Руставели...* — В 1957 г. вышло первое издание полного перевода поэмы (М., Гослитиздат, 1957). Перевод был начат 22 ноября 1953 г., в основном закончен 16 июля 1955 г. Первое издание поэмы в переводе и обработке для юношества Н. Заболоцкого вышло в Детиздате, М.—Л., 1937.

Мысль — Образ — Музыка. — Впервые: «Лит. газ.», 1966,

23 июня, в первонач. ред. Эта и следующая статьи написаны осенью 1957 г. перед поездкой в Италию (см. примеч. к стихотв. «У гробницы Данте», с. 629), как текст возможного выступления. В записной книжке Н. А. Заболоцкого 11 октября запись: «В 9.50 прибыли в Рим и сразу поехали во Флоренцию, где в о-ве Ит. — СССР собрание и диспут на тему об оптимизме и пессимизме. Мое выступление». В архиве поэта хранятся два варианта авторской машинописи, первоначально озаглавленные: «Как на мой взгляд нужно писать стихи». В них незначительные разночтения, вызванные авторской редактурой. Отредактированную рукопись Заболоцкий взял в Италию. Позднее внес исправление в первоначальную рукопись: заменил название и третье слово формулы — Мелодия, на окончательную редакцию: Мысль — Образ — Музыка. В Италии, на заседании, посвященном теме «Поэзия и современность», профессор Анжело-Мариа Риппелино сообщил: «...Заболоцкий утверждает, что избыток техники губит стихи. Заболоцкий говорит о своей формуле «МОМ» (Мысль — Образ — Музыка), говорит о продуманной, созданной в труде и поту поэзии, о необходимости по десять часов не отходить от письменного стола, о том, что читателю нельзя давать ничего приблизительного, сырого, недоделанного» («Спор о поэзии». — Журн. «Иностранная литература», 1958, № 1, с. 213). Печатается текст отредактированной рукописи.

[Почему я не пессимист]. — Впервые: «Лит. газ.», 1966, 23 июня, в первонач. ред. В архиве поэта хранится два варианта авторской машинописи. Второй, отредактированный текст, Заболоцкий взял в Италию, где в ходе заседаний возникла дискуссия об оптимизме и пессимизме в поэзии, в связи с чем Заболоцкий внес следующие изменения в статью: зачеркнул название «Почему я не сторонник абстрактной поэзии», зачеркнул первую фразу седьмого абзаца: «Это слово не абстрактно, потому что оно есть продукт живого, не абстрактного мира». Вместо заключительной фразы был абзац: «Холод одиночества и абстракции пугает меня. Мне по-человечески жаль художника, отделившего себя от мира искусственной стеною. Холодное солнце абстракции не греет его душу, и горькая радость уединения питает его творчество безжизненными соками. Мы — дети мира. Мы — в мире, и мир — в нас. И в этом заключается высокое удовлетворение поэта». Печатается текст в окончат. ред.

«Литература должна служить народу...» — Впервые: «Советские писатели. Автобиографии», т. 3, М., 1966. Автограф хранится в архиве поэта. Печат. по первой публикации.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ
СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ

1926—1933

ГОРОДСКИЕ СТОЛБЦЫ

СМЕШАННЫЕ СТОЛБЦЫ

КНИГА ВТОРАЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1932—1958

КНИГА ТРЕТЬЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ,

НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

«СТОЛБЦЫ» 1929 ГОДА

1

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОЗА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

Заболоцкий Н. А.

З-12 Собрание сочинений: В 3-х т. — М.: Худож. лит., 1983. — Т. 1. Столбцы и поэмы 1926—1933; Стихотворения 1932—1958; Стихотворения разных лет; Проза. Предисловие Н. Степанова; Примеч. Е. Заболоцкой, Л. Шубина. 1983. — 655 с.

В первый том Собрания сочинений Н. А. Заболоцкого (1903—1958) вошли четыре книги: «Столбцы и поэмы» (1926—1933), «Стихотворения» (1932—1958), «Стихотворения разных лет, не включенные автором в основное Собрание»» «Проза».

З $\frac{4702010200\text{-}181}{028(01)\text{-}83}$ подписное **Р2**

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

Том первый

Редактор
О. НОВИКОВА
Художественный редактор
Е. ЕНЕНКО
Технический редактор
Е. ПОЛОНСКАЯ
Корректоры
Г. КИСЕЛЕВА
и О. НАРЕНКОВА

ИБ № 3030
Сдано в набор 23.07.82. Подписано к печати 04.05.83. А-07970. Формат 84X108 1/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44+1 вкл. = 34,49. Усл. кр.-отт. 34,49. Уч,-изд. л. 28,7+1 вкл.=28,74. Тираж 50 000 экз. Изд. № III-790. Заказ 536. Цена 2 р. 40 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», ГСП, 107882, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.